ТОЧКА ОПОРЫ

повести
и
рассказы

Лениздат

Ирина Борисова
Павел Кренев
Дина Макарова
Александр Новиков
Олег Носов
Захар Оскотский
Александр Плахов
Владимир Рекшан
Антон Савенков
Александр Скоков
Анатолий Степанов
Анатолий Стерликов
Евгений Туинов
Виктор Харченко
Акмурат Широв
Николай Шумаков

повести
и
рассказы









Лениздат · 1982

84.3Р7
Т64

Т64 **Точка** опоры: Повести и рассказы./Сост. Е. В. Кутузов. — Л.: Лениздат, 1982. — 351 с.

В традиционный сборник прозы вошли повести и рассказы начинающих литераторов Ленинграда. Среди них — участники XVI конференции молодых писателей Северо-Запада.

Т $\frac{4702010200-231}{М171(03)-82}$ 188—82 84.3Р7



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Один из театров, в котором обычно ставят оперы и балеты, пригласил «Канделябр» выступить у себя. То ли предполагался чей-то юбилей, то ли нет, но звали выступить перед работниками театра. А что такое «Канделябр»? Это, я вам скажу, нечто особенное.

— Мы сыграем перед накрахмаленными тенорами и седокудрыми дирижерами,— сказал Николай Гречихин, высокий, стройный шатен двадцати двух лет, и глаза его лихорадочно заблестели.— Нам предлагают принять бой по самому большому счету. Я приму его, и мы выиграем. А?

Мишка Плугов — брат Сереги и Вовки Плугова и собрат Гречихина по «Канделябру»—чихнул в ответ, кашлянул и высморкался.

— И когда? — спросил он.

— Через три дня. Я позвоню и скажу, что мы согласны.

— Позвони, конечно,— сказал Мишка, достал пипетку и бутылочку с нафтизином.

Таким образом, Гречихин согласился выступить в Оперном, а Мишка через день слег от простуды, а вместе с ним и Володя.

Тогда-то Гречихин и пригласил Леху Ставицкого сыграть вместе с ним. Пригласил он и Орехова. А Орехов — сущий громила! Длинноногий, жилистый. Спортсмен, одним словом! Но не только спортсмен, но и барабанщик приличный. Орехов и Ставицкий знали репертуар Гречихина назубок да и аккомпанировали вполне профессионально. Постоянно с Гречихиным играли братья Плуговы. На рыжих брательников молилась вся Академия художеств. Брательники молились на ритм-блюз и хад-рок, а Николай больше всего на свете хотел играть джаз.

«Ничего,— подумал Гречихин, когда Орехов расплылся в радостной улыбке,— просто я выложусь до конца. Плуговы, конечно, эффектные братья, но там будет важна музыка, и только. Вот я и выложусь».

Такой гнилой осени давно не случалось...

История о том умалчивает, почему автобус не повез «Канделябр» дальше Конюшенной. Пришлось аппаратуру тащить на плечах, благо тех, кто пролез в автобус, оказалось довольно много.

Старушка-администратор отпрянула от дверей, когда увидела вошедших Гречихина, Серегу Плугова, Орехова, Ставицкого и остальных.

Коротконогий носач с глянцевыми щеками и нагуталиненными штиблетами сбежал по лестнице вниз.

— Пожалте-пожалте,— сказал он Гречихину, смешно сутулясь и делая жест рукой в сторону лестницы.— Осторожно,— предупреждал он каждого, когда они поднимались.— Ступеньки истерлись. Как-никак почти двести пятьдесят лет! Кто только не пел здесь, не танцевал!

«Чего-то сегодня мы споем?» — подумал Гречихин.

Они оказались в широком фойе, почти зале, по обе стороны которого находились буфеты. На белых скатертях стояли фужеры и рюмки разного роста. Куверты сверкали огнями люстры, отраженными, кроме того, в огромных золоченых зеркалах, в паркете, который сверкал не хуже кувертов и зеркал. Сверкала осетрина, замшеловатые тела пирожных, одутловатые бутылки шампанского горели пробками, укутанными серебряной фольгой... Сверкало все!

Пятнадцать человек в неказистой одежде — в этих банальных теперь джинсах, свитерах, цветных рубашках, полувоенных ботинках, цыганских юбках, косынках, в россыпях бус — пятнадцать молодых архитекторов и архитектрис своим видом омрачили резную позолоту зала. Носач страстно шептал, показывая в черные провалы коридора:

— Идет торжественная часть. Готовьтесь-готовьтесь! Вот здесь... Вот сюда... Ставьте на пол, не бойтесь. У вас еще целый час. Готовьтесь.

2

...В нашем распоряжении целый час, и, значит, есть время объясниться.

Орехов и Ставицкий знали Гречихина еще по школе,

Еще в седьмом классе они пробирались в актовый зал и пытались изобразить что-либо похожее на музыку. Под музыкой имелся в виду рок-н-ролл.

Кого только они не копировали тогда!

Имена звучали как фуга!

Бил Хелли — старина Бил, толстяк с завитком волос на лысеющей голове, и Фатс Домино, и Чибби Чекер, и Литл Ричард, и — без сомнения! — дивный красавчик Элвис, противоестественный красавчик Пресли с кривой усмешкой, в золотом пиджаке, поющий хрустальным голосом «май дарлинг онли кис ми...».

Потом Гречихин, Орехов и Ставицкий вместе бредили битлами, но настоящим музыкантом стал только Гречихин. Тогда и появились братья Плуговы.

Серега играл на басе, Володя — на барабанах, Мишка — на гитаре или рояле, когда Гречихину хотелось самому поимпровизировать на шестиструнке. Кроме того, Серега на удивление лихо дул в губную гармошку. Все вышло естественно. На той репетиции, когда родилось название, Орехов и Ставицкий присутствовали как зрители.

— Надо придумать неожиданное,— сказал Николай, собрал ноты и закрыл крышку рояля.— Нужно что-то чисто городское, петербургское... Какой-нибудь «Невский проспект», «Эрмитаж». Черт знает что придумать!

— Понимаю. Может быть, «Ржавый и большой гонг»? — подал голос Серега Плугов.— Супергруппа! «Ржавый и большой гонг»! Понимаешь?

Неизвестно, кто первый сказал про «Канделябр», да это и неважно, поскольку такой рок-группы теперь нет и больше не будет. Это точно!

Все у «Канделябра» обычно получалось вот как.

Некто из какого-нибудь высшего учебного заведения, энтузиаст, преодолев все преграды, приглашал их выступить на институтском вечере. Администрация не предполагала, что здание института подвергнется таким испытаниям: толпы неистовых поклонников «Канделябра», собравшиеся со всего города, хлынут в студенческие коридоры.

Некто, пригласивший «Канделябр», будет и сам несколько растерян подобным поворотом событий.

Но на его месте потом оказывался другой, который устраивал бум в следующем учебном заведении.

Секрет бума прост. Гречихин написал сам несколько «рокешников» и слова к ним, а для той поры это, надо

сказать, являлось новостью. Все пели битлов и ролингов, «Крим» и «Прокл Харум», самые умелые пытались копировать «Джезро Тал» и старались сорвать голос, подражая трагическому тенору Немена...

3

Где-то в утробе театра слышались глухие аплодисменты.

А здесь, возле буфета, Гречихин командовал приготовлениями.

Уже установили акустику, поспешно размотали провода, пыльные змеи которых опутали стойки и усилители, светящиеся красными и зелеными огоньками передних панелей.

Гречихин раздал каждому по нотной тетрадке, куда переписал накануне репертуар.

— Ты только счет давай. А так все в порядке,— сказал Орехов.

— Я вас прошу — не врите! — сказал Гречихин.

— Мы ведь с тобой тысячу раз играли,— сказал Ставицкий.

— Гармония и ритм! Гармония и ритм! И больше ничего,— волновался Гречихин.

Серега Плугов курил, сидя на подоконнике, с одной из архитектрис.

— Гармония и ритм! Гармония и ритм! — упрашивал Николай.

Большая наглость с его стороны брать в Оперный хоть и добросовестных, но посредственных музыкантов. Это все равно что дать вперед ладью гроссмейстеру или попытаться обчистить карманника. Так мне думается. И Гречихин так думал. Ему было несладко от таких мыслей.

Он установил «вельтмайстер» — чудесный немецкий электроорган — под прямым углом к роялю. Попробовал педаль громкости. Взял аккорд. В люстрах задребезжали хрусталики. Гречихин поднял крышку рояля и пододвинул «журавль» микрофонной стойки. Крикнул Сереге, чтобы тот покрутил ручку усилителя. Леха Ставицкий отошел к противоположной стене.

— Леха, рояль слышно?

Аккорд в нижних октавах. Пассаж тридцать вторыми. Снова задребезжали хрусталики.

— Слышно! Кайфово!

Второй микрофон Николай поставил так, чтобы можно было играть на рояле и петь одновременно. Гречихина колотило. Он нервничал...

Когда прошел час, из стеклянной двери, быстро семеня короткими ножками, появился глянцевый носач. Он испуганно вращал глазами.

— Все! Кончилось! Идут! Минут через двадцать нужно начать!

Он наклонился над роялем и протянул Гречихину конверт, на котором было ярко отпечатано «8» и слово «марта». В руках конверт хрустел обворожительно. В конверте чувствовались явные деньги.

— Сто рублей. Как и договаривались. Прошу постараться. Пришли сегодня многие послушать ваш оркестр, ансамбль... — Последнее слово он произнес без мягкого знака, и получилось «ансамбл».

— Маэстро!

Носач увидел появившегося в дверях седенького старичка во фраке, белой манишке, белой же бабочке, но старичка бодрого еще, несмотря на склеротические жилки и дряблый подбородок.

Носач бросился к старичку и, поддерживая его за руку, увлек за столик.

— Маэстро! — слышалось из-за столика.— Вы говорили сегодня блестяще, замечательно... эти конкистадоры... Мария Павловна... буффонада... Маэстро!

Опыт у Гречихина уже имелся достаточный. Он знал, что раскачать можно любую аудиторию. Почти любую. Можно морщиться и вспоминать мощного Баха, прозрачного Вивальди и Перголези, но ритм есть ритм. От ста пятидесяти ватт тоже никуда не денешься. Если гитарист, форсируя звук, берет высокую ноту и подтягивает пальцем струну, а «вельтмайстер» поет нечеловеческим голосом, то пробирает до костей.

Однако Гречихин решил победить вчистую. Одним мастерством своим. «Сперва следует играть вкрадчиво. Пусть их затянет. Пусть они переговариваются между собой и звенят фужерами. Вон их сколько за столиками, сколько прохаживается между зеркал. Куда они от меня денутся?..»

— Раз-два, раз-два-три-четыре,— дал счет Николай и стал играть на рояле быстрый блюз в тональности «фа».

Насколько обуревало честолюбие Николая, настолько плевал на все Серега Плугов. На него и без того молились архитектрисы и кто только мог. Сереге жизнь нравилась без мудрствований: он ведь гениально играл на басе.

Если говорить про Орехова, то Орехов дал клятву не подводить Гречихина, и теперь руки его, вооруженные палочками, бегали по барабанам и тарелкам. Бухал тактовый, звякал «чарльстон».

Причмокивала гитара у Лехи Ставицкого, сладко рычала, бормотала сдержанно. Леха разглядывал зал, где сидели за столиками или прохаживались примы и кордебалет. Лауреаты выпячивали грудь. Вместе с примами полноватые тенора пили шампанское, заедая конфетами. Багровели баритоны и басы, набрасывались на осетрину. Сколько лысин, шевелюр, бакенбардов, усов, париков и шиньонов можно было узнать в этом историческом фойе, спланированном бог весть сколько лет назад.

Маэстро продолжал сидеть рядом с глянцевым носачом, а когда Гречихин закончил быстрый блюз, Леха услышал, как склеротический старичок неожиданным басом, бодрым и густым, как горный мед, обратился к буфетчице:

— Бутылочку «абрау», мила-ая!

Когда шампанское принесли, маэстро ловкими пальцами сорвал фольгу и выстрелил пробкой. Шампанское низверглось на скатерть, за соседними столиками засмеялись, захлопали. Маэстро взял у буфетчицы поднос и направился к оркестру, прихватив шампанское и фужеры.

— Па-азвольте вам от руководства театра,— обратился он к опешившему Гречихину.

Маэстро поставил поднос на «вельтмайстер», подмигнул Николаю и удалился.

— Не снобы... за Марию Павловну...— слышалось из-за столиков. — А вот и Абрау Иванович пришел... Ах, простите... Абрам Иванович, а не Абрау...

— Налетайте, мужики! — обрадовался Серега при виде шампанского.

— Что? Что такое? — отрываясь взглядом от барабанчиков, спросил Орехов.

Так как Орехов и Леха Ставицкий замешкались, то им шампанского не хватило. Конечно же! Серега поделился с архитектрисами.

— Сережа... Сереженька... Сергунек... Серж... Серый... Серега... — смеялись архитектрисы.

А Гречихин думал, как на подношение реагировать. Можно обидеться, обрадоваться, остаться безразличным,

Как? Какой-то смысл в этом есть? Какой? Может, над ними смеются? А если смеются, то... что?

Николай встал из-за «вельтмайстера» и вывернул в усилителе ручку громкости почти до конца.

— Да ты офонарел! Мы их сейчас по стенам размажем,— ужаснулся Серега.

— На всякий случай. Кто их знает, что это шампанское означает.

— Пускай еще несут.

— Мы сюда зачем приехали?

Гречихин жаждал боя, а не шампанского. Он не хотел все превратить в хохму, потому и вывернул ручку усилителя... Не получил он в детстве музыкального образования. Дар его тогда не обозначился. Другие мальчики и девочки, которых воротило от гамм и сольфеджио, ходили с нотными тетрадями... Слишком длинная история — про то, как он обучался игре... А теперь случилось, он вторгся в мир профессионалов: он посмел, имел основания к тому. Но никто, кажется, не воспринимает их — его! — всерьез...

4

Пускай Орехов держит ритм, а на Серегу Плугова все молятся. Обратим более пристальное внимание на Гречихина, а в особенности на Леху Ставицкого. Ведь именно на них посматривают и их обсуждают за дальним столиком две девушки, две молодые женщины — чуть декольтированные, чуть узнавшие жизнь, две подружки. Одна—светловолосая, с лицом, можно сказать, стремительным, с голубыми глазами — большими и светлыми; на шее возле мочки уха, украшенной агатом, темнела родинка величиной с двухкопеечную монету. У подружки светловолосой, наоборот, лицо южнорусское, кость покрепче, чувствуется будущая стать и неторопливость. Глядя на нее, вспоминались украинская ночь, теплые хлеба, рушники и лисняки... Обе стройные, высокие и возвышенные. Одна — восходящая звезда, удивительная грация балета, само изящество. Другая — познавшая тайны древней культуры, приручившая старинный инструмент — арфу, сладкопевную арфу, прозрачный ручей музыки которой словно пифийский оракул...

— Какие, однако, странные. И у каждого усы как коромысло,— говорила та, что напоминала южную ночь.

— Зачем же так! Тот, который пианист, он чем-то прекрасен, Катя. Его лицо одухотворенно. Чувствуется, что в нем бродит гений,— спорила с ней светловолосая.

— Ты меня не так поняла, Лизавета. Разве я утверждаю, будто этот парень с гитарой не вызывает во мне симпатий! Он вполне музыкален...

— Все-таки я не понимаю такой музыки.

— Все это мода...

— Но о ней теперь столько говорят.

— Не стоит, Лиза. Мода! Пройдет и забудется.

— Но почему меня взволновало лицо пианиста? Оно мне кажется одухотворенным! Какая-то в нем тайна.

— Совершенно с тобой согласна. Мне тоже нравится гитарист...

А Леха Ставицкий в это время подмигивал Гречихину:

— Какие девчонки! — говорил. — Вон за тем столиком. Нам бы таких.

— Где? — машинально спросил Гречихин.

— Да вон...

Николай дал счет, и следующую композицию они врезали на все триста ватт. За столиками приуныли. Маэстро и носач молча вцепились в фужеры. Никто больше не ходил по залу, все ждали худшего. Но Гречихин играл как бог, и этого нельзя было не заметить. Он сыграл собственную песню и сам спел в микрофон: «Грязь, осенняя пора-а! Что-о ни делаешь — все зря-а!» Ну и так далее в таком же приблизительно духе.

Потом они сыграли чуть тише, но все равно громкости хватало. Николай выделывал с клавишами, чего никогда не выделывал. Он то на рояле играл, то на «вельтмайстере». То одновременно и на том, и на другом инструменте...

В перерыве между композициями он слышал, как маэстро, оглохший от полученной только что контузии, кричал носачу:

— Glissando тимпанов!.. Мария Павловна... Suut terга... Плешь чертова!

Через сорок пять минут Гречихин объявил перерыв, и Леха Ставицкий потащил его знакомиться с девчонками. Николаю было не до девчонок,— ведь он пришел сюда самоутвердиться перед музыкантами, а не в качестве ловеласа,— но Леха все равно потащил его, и через несколько минут, воспользовавшись каким-то предлогом, уже сидел в кресле за тем самым столиком, и Гречихин сидел вместе с ними.

Ставицкий кричал буфетчице: «Пирожные! Подайте конфет и мармеладу!» Он хвастался перед темноволосой Катериной тем, что приобрел комплект гладких струн «Атлантик»...

— Почему вы так громко играете? — спросили Николая.

— Что? — Гречихин посмотрел на Леху, а также на Лизу и Катерину.— Видите ли,— сказал Гречихин, осознавая в тот момент, что боя не получилось, что, скорее, дело идет к братанию, поскольку тенора с примами жуют конфеты, басы и баритоны счастливо багровеют от коньяка, маэстро несет шампанское и аплодирует, а девчонки довольны.— Дело в том...— сказал Гречихин,— понимаете, громкость лишает музыку нюансов. Она становится однозначной, воспринимается всеми однозначно. Одинаково! Она объединяет!..

— А мне показалось... Не обижайтесь. Мне показалось, что это какофония. Только не обижайтесь! И слова неловкие,— сказала Лиза.

Загрустил Гречихин.

— Наверное,— сказал он.— Но это наша музыка. Мы ее сами придумали. И это наши слова.

— Даже если вспомнить историю музыки, то мы не вспомним ничего подобного,— сказала Катерина.— Даже если говорить о Ренессансе...

— Вот именно,— сказала Лиза.— Ни в кватроченто, ни в чинквиченто...

Гречихин слушал разглагольствования девушек и думал, что его они не за того приняли. Это они могут Лехе говорить, Сереге говорить. А он не с неба свалился к ним в Оперный. Не зря он в университете учился и последние годы извел себя клавишами. Чего они ему про Возрождение вкручивают!

— А Джиовани Барда! — сказал Гречихин, ополовинил фужер с лимонадом и довольно отметил, как удивились его словам девушки, как пытается услышать, о чем идет речь, маэстро — бледный старичок, контуженный рок-музыкой.

— Ну, это слишком слабая аллегория,—ответила неуверенно Катерина.—Попытка упростить. Нельзя брать на себя такую смелость и сравнивать. Ведь это святая для музыки эпоха.

— Может быть... Конечно... Да-да-да... Истинно так,— ответил Гречихин и сдержался, не стал спорить. Главного он добился. Теперь его не станут считать простачком. Читал он про Возрождение не меньше их. Может, и больше. Может, в десять раз больше. Помнит он про венецианского князя Венозы. Как его? Карло Джезуальдо! Этот модальный экстремист, мадригалист, предтеча симфонии и убийца своей неверной жены! А эти контрапунктисты Бар-

толомео Рамиса. Ну, как они набросились на группу Джиовани Барда, тогда графа Вернийского. Потому что «бардисты» выступили против многоголосности. Для них главное — мелодия и поэзия. А композитор Галилей — известный «бардист»? Он пел сцену из дантова «Ада» под гитару. Боролись они между собой. А движение только в борьбе. Тогда и Ренессанс в музыке устремился вперед!

Но Гречихин хвастаться своими познаниями не стал. Он многозначительно молчал, довольный, что озадачил собеседников. «Вы меня за другого приняли,— думал Николай.— Вы, а не я». Он разглядывал приятные лица девушек, и они его разглядывали, и Ставицкого.

— Да он шикарный парень! — вкручивал мозги девчонкам Леха.— Что он скажет, то мы и делаем. Он должен вам понравиться. Просто вы обязаны его полюбить. Кстати, я тоже не сказал бы, что того... Я студент, сын своих родителей и своего времени, человек разных интересов и широких взглядов. Аболиционист! — вспомнил редкое слово Ставицкий. Он прочел его в одной из книжек, которую брал у Гречихина.— Так что давайте считать, будто официальная часть нашего знакомства позади, а впереди широкие перспективы и возможность дружить. Кстати,— обратился он персонально к Катерине,— как вы относитесь к дружбе? Дружба! Этот вопрос меня мучает с первого класса.

— А сейчас вы в каком? — спросила Катя.

— Сейчас? В третьем... На третьем курсе.

Лиза повертела в руках фужер, поставила его на скатерть. Рядом в зеркале ее двойник сделал то же. Она откинулась в кресле и спросила Гречихина:

— И кто же из вас Джиовани Барда?

— В том-то и дело. Не знаю кто.

5

Еще как старался, надеялся. Думал громкостью пронять. Да поздно. Долго собирался, высиживал за столиком, намекал насчет своей учености Гречихин. Теперь играй не играй, толку не будет.

Тенора обнимались с басами, целовались, прощали обиды. Их жены смеялись громкими ртами. Кордебалет растанцевался на общественных началах. К Лизе и Катерине подсели щекастые верзилы в широченных галстуках. Гречихин почувствовал вдруг обиду: Словно ткнули подло кулаком в живот, а не ожидал. Перехватило обидой дыхание. Явилось удивление задрапированное:

«Кто они мне? Обычные девицы. Лиза симпатичней Катерины. Ренессансом кичатся. Пьют кофе глоточками. Набор слов и жестов. Хороший тон. А более того?»

«Канделябр» упражнялся в квадрате который раз. Ставицкий разошелся после знакомства, наяривал на гитаре, ловко массировал гриф и нравился, как умел.

«А более того? — думал Гречихин, тюкая аккордами на «вельтмайстере». — Более того есть что? Или нет?.. Соль-соль-соль-фа-а-а!.. А что должно быть более того?.. До-о-о!.. Более чего? Сам-то я более чего-нибудь? Может, гораздо менее! Может, по пояс тому! Чему? Тоже сплошь слова и жесты... Вот играю рок-н-ролл, грохочу посреди барокко. Жесты!.. Жесты — фа-фа-до-о-о! Дурь в башке — нет прозрачности. Холодной прозрачности. В первых числах октября. Когда в Павловском листопад! Более. Менее. «Нет места в мире мне средь рыжих муравьев, я коконом мучным с рождения одет...» Кто галстуки придумал? Наверное, Галстук. Макинтош придумал Макинтош. Манжеты придумал Манжет. Лацканы — Лацкан. Трусы — Трус. А Галстуки? Галстук был турком, пил кофе по-турецки, разгуливал в феске небритый. А что Бетховен придумал? «Лунную». А Моцарт? Сальери. А я что? «Нет места в мире мне средь рыжих муравьев...» Нет прозрачности! Нет павловского листопада!.. Черт! Куда, куда я заехал, куда залепил! Не в ту ступень залепил! Вторую ступень прохлопал... Черт! На втором такте въеду в минор... Вон, Леха головой крутит. Думает, что он соврал. Орехов, знай, колотит, Серега наяривает... Вот она, вторая ступень! Маленькая ступенька! Не первая, не последняя. Вторая. Ступенечка надежды... А Серега-то наяривает. Сереге что? Великий Серега! Ни более того, ни менее. А Лиза-то с Галстуком разговаривает. Какой там турок! Викинг! Рюрик, Труворт, Синеус!.. А Серега-то, Серега! Точечный дом, небоскреб-билдинг. Кондотьер бронзовый. Донателло! Усы рыжие!.. Вот так, так! До-о-о! В третью ступень теперь. Я ли не Гречихин! Шестьдесят четвертым проскачу, тридцать вторыми, четверть держи! Держу, держу, синкопой, восьмушечки-восмушечки, затакт!.. Еще раз в квадрате! «Ешь ананасы, ешь маракасы, очередь в кассе, рябчиков жу-у-удо-о-о!!!» Без лажи теперь... К фигам Донателло... Вторая ступень... Лиза лучше, куда там!.. Педаль до упора... Регистр... Восьмушечки, вы мои миленькие. Как орешки — хрум-хрум-хрум... Восьмушечки меня любят, я люблю восьмушечки... Куда Орехов гонит! Это ему не рекорд! Медленней, медленней, медленно-до-о-о!.. Куда! Бам-бум-бум-бам!!!»

6

Гречихин сидел на подоконнике, а на пианино играли романс. Полная тетя пела красивым голосом про зимнюю ночь и лошадей. Лошади были толстые, откормленные, все скакали вперед по заснеженной равнине наперегонки с луной. Романс заканчивался аплодисментами. «Мне бы хоть раз поколотили, как ей»,— позавидовал Гречихин. Аккомпаниатор вынул пальцы из клавиатуры и подмигнул Гречихину. Одним глазом он все время щурился, им и подмигивал. На нем тоже висел галстук. «Все они тут в галстуках»,— язвил мысленно Гречихин.

Аккомпаниатор подвинулся к Николаю вместе со стульчиком. Будто стульчик прирос к месту одному.

— Музыка! — воскликнул он.

— Я видел, как лошади скачут. Похоже,— сказал Николай.

— Не ёрничайте, молодой человек. Как вас зовут?

— Николай!

— Никогда не надо ерничать, Коля. Эти пустые забавы не для вас. У вас талант. Я слышал. Я видел. Я знаю.

— У многих талант.

— Не у всех такой, как у вас. Вам бы подучиться. Окунуться в музыкальную среду. Меня зовут Георгий Ксенофонтович. Фамилия — Москалев.

«Ладно, что не Геродотович»,— подумал Гречихин.

Георгий Ксенофонтович светился глазами. Губы у него были как два лезвия. Георгий Ксенофонтович гладил галстук. Он говорил, широко раскрывая рот.

— Коля, вы могли бы черт те что. Я слышал. Я знаю.

— А что вы мне предлагаете?

— ...Но для этого нужно много трудиться. Работать и работать, и себя не жалеть. Ни в коем случае не жалеть себя!

— Я себя не жалею. Что-то вы мне предлагаете?

— ...И когда пройдут годы лишений, затворничества... Я не боюсь этого слова! Не разменивайте себя на случайные эмоции. Ничего случайного! Станьте скопидомом! Складывайте, прячьте в маленький сундучок души! Вы должны попробовать, иначе потом окажется поздно. Станете требовать сочувствия у друзей — его не будет... Но — я возвращусь — если пройдут годы затворничества, то придет день, и вот эти стены,— Георгий Ксенофонтович выразительным жестом предложил Гречихину осмотреть стены фойе,— эти стены содрогнутся от оваций.

— Что вы мне предлагаете конкретно?

— Звоните. Звоните мне. Заходите ко мне запросто! В любой день. Утром, днем, вечером. Ночью, черт возьми. В любую погоду. Мы поговорим о вас, мы все организуем. Я тоже был молод. И вы тоже будете не молоды.

У Георгия Ксенофонтовича обнаружилась в руке визитная карточка.

«Георгий Ксенофонтович Москалев»,— прочитал Гречихин на русском и английском языках. Телефон прочитал. Покрутил в руках. В карман спрятал.

— Спасибо,— сказал.

Сказал, не зная, зачем приходить, зачем звонить. Зачем приходить утром, днем, вечером, «ночью, черт побери». Приятно было. Кого-то заинтересовал, кто-то слушал, проникся.

— Спасибо,— сказал Гречихин.— Я позвоню через два дня или зайду.

Гречихин заметил, что Ставицкий опять вертится вокруг столика, где сидели Катерина и Лиза. Галстуки куда-то отвалили. Николай тоже хотел пойти к столику, пока поют романсы, но Галстуки снова появились, и он остался возле пианино.

Георгий Ксенофонтович погрузил пальцы в клавиатуру. Из нее он извлек звук. Тетя запела.

7

Через два дня Гречихин снова оказался на Невском. Он старательно убеждал себя, что должен купить какую-то книжку. Он прошелся по всем магазинам старых книг, где любители букинистической продукции шептались с продавщицами, и долго рылся в засаленных журналах, крутил в руках уцененные «Аналитики» Аристотеля, ковырялся в полке с тонкими, бережно нарезанными ломтиками поэтических книжек. Гречихин действительно выбрал что-то, заплатил мелочь в кассу. Аппарат затарахтел и отрыгнул чек.

Николай вышел на Невский, а Невский всегда красавец. Он красавец порочный — слишком уж красив и щедр. Именно так подумал Гречихин, прошел по примыкающей улочке, оказался возле Оперного. Будто случайно. Будто случайно старого приятеля встретил: «Ах, какая неожиданность! Вот так встреча. Ты как здесь?.. И я случайно. Тесен мир».

Помялся с минуту у дверей, по сторонам поглядел — на холодный, прозрачный ноябрь, притаившийся в голых вет-

вях сквера, в преющих лоскутьях листьев, сваленных в круглую кучу на газоне, в недвижимой голубизне неба, шорохе шин, безветренном дне, заглавных буквах афиш, в пальто и шарфах, сменивших плащи. Гречихин помялся с минуту возле дверей Оперного и вошел туда.

Тихо в театре днем. «Может, сразу не искать Москалева? — думал Николай. — Кто его знает, кто он такой. Тогда праздник был, вот он демократию и развел. А сейчас ввалюсь фамильярно — испорчу все. Лучше — невзначай. Как бы прогуливался. Шел мимо — дай зайду! И зашел».

По ковровой дорожке Николай сделал несколько шагов. Остановился у первой двери. Дверь простая, без таблички. Ручка белая, пластмассовая. С трещиной. Понравилась дверь Гречихину. Он открыл ее.

За дверью находилась комната, похожая на кабинет. В кабинете — стол. Перед столом — стул. На сиденье из кожзаменителя отпечатались ягодицы недавнего посетителя. За столом сидел мужчина, с желтоватой лысиной в полчерепа. От дверей мужчина виден по пояс. Он словно произрастал из стола. Крупные плечи, торс и тонкие кисти рук. Розовые щеки побриты заподлицо.

— Входите,— сказал.— Садитесь.

Деваться некуда. Николай сделал как приказали. Он старался смотреть прямо в глаза хозяину кабинета. Глаза круглые, с большими зрачками. Лицо у мужчины моложавое, виски седые.

— Вы хотите работать? — спросил он.

Николай замялся, но выдержал взгляд. Попросту растерялся. Он пожалел, что галстуков не носит. Иначе б галстук гладил, было бы куда руки деть.

— Даже и не знаю,— ответил.— Я бы хотел...

— Учитесь?

— В университете. Исторический.

— Могу предложить место постановщика.

— Постановщика?

— А что вы думали! Оклад, правда, небольшой. Девяносто рублей. Но вы же не прима-балерина!

— Какая же я балерина.

— Сразу видно, что не балерина. Значит, постановщик...

— Мне посоветовал зайти Георгий Ксенофонтович.

— Кто?

— Георгий Ксенофонтович Москалев.

Мужчина заулыбался, провел рукой по лысине.

— Что вы мне голову морочите, молодой человек. Ай-ай-ай! Занятого человека отрывать. Если Москалев вас

рекомендует... Вот вам записочка.— Мужчина черкнул на бумажке несколько крючков. — Пройдете в театр. Он где-то там. Может, на сцене. Всего хорошего, товарищ постановщик.

Из кабинета Гречихин вышел ошарашенный. Не совсем понял — что же произошло? Какой из меня постановщик, думал. Чего такого я тут понаставлю. На пианино поиграть я могу, но ставить! Таинственный Георгий Ксенофонтович! А может, ради хохмы... Сперва стажером на подхвате. Подучусь. Постановщик — звучит! Неужели не справлюсь? Почему — нет? Я ведь все схватываю на лету. Чем черт не шутит. Николай Гречихин — постановщик Оперного. «Успех молодого постановщика!» «Молодой постановщик делится планами на будущее!» «Смена поколений в Оперном!» «На днях в Оперном состоится премьера!» «Анонс! Анонс!..»

По коридору, шатаясь от тяжести, шел человек с дорийской колонной. Он перехватил ее за талию, словно борец. Видны только ноги в разбитых ботинках и руки. На руках вены — голубые веревочки.

Гречихин смотрел с любопытством. Вот повседневное таинство. Кулуары. Гречихин тоже таскал «вельтмайстер» сотни раз. Таскал и акустику, и усилители.

В сумраке коридора показалось огромное кресло с резной спинкой. Его нес юноша. Нес бережно. Тот, кто был с колонной, остановился, опустил ее на паркет. Подошел к колонне юноша, поставил кресло, сел. Из-за колонны юноше сказали:

— Театр начинается не с вешалки. Это уж слишком — с вешалки! Старик любил утрировать. Театр начинается с декораций. Я так думаю. С нас начинается. Забудем кресло или эту греческую радость, забудем фанерное море или еще что... Какой будет театр? Никакого театра не получится! Плохой театр будет!

Юноша бледнел от восхищения. В пристальных глазах огоньки. Гречихин с умилением смотрел на него, с умилением слушал речь, обращенную к юноше. Остановился, замер возле стены, чтобы не мешать.

Но вот появился и говоривший. Сделал шаг в сторону, встал на цыпочки. Заглянул в окно, что-то увидел там, сощурился. Это был Георгий Ксенофонтович.

— Молодой человек,— обратился он к сидящему в кресле.— Искусство требует труда. Оно требует в данное время вашего физического труда. Вы потрудитесь на его благо, и оно вам отплатит сторицей. Помните меня! Театр начинается не с вешалки! Он с нас начинается. Да-да!

С нас! С постановщиков! Ибо! — Георгий Ксенофонтович гордо откинул голову, поправил синий халат, рукав которого был испачкан мелом.— Ибо какой бы стал театр без постановщиков сцены. Никакого театра б не получилось. Получился бы плохой театр!..

Георгий Ксенофонтович поплевал на ладони и снова обхватил колонну. Юноша встал, поднял кресло.

— Нут-ка! Оп-ля, Виктор! Молоток, Витя! Покандыбали, Витька! Нам еще таскать и таскать.

А Гречихину в тот момент показалось, что внутри него какой-то неведомый регулировщик открыл все кингстоны и кровь, разом изменив свой ток, хлынула к лицу, которое стало спелым, как яблоко «джонатан».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

8

Крепко ударили морозы. В одну ночь стала Нева, но снег не выпал. Деревья в садах, казалось, удивлялись такой зиме,— удивленно разводили руки ветвей. Кое-где еще виднелась трава, а по радио предупреждали о гололеде.

Лехе Ставицкому выступление в Оперном даром не прошло. Он встречался с арфисткой чуть ли не каждый день, и дела его в Политехническом, и так запутанные, запутались еще больше. Неотвратимо надвигалась сессия. На лекциях Леха рисовал в тетрадке Катины глаза, Гречихина уверял, что надоела ему эта мура — и Политехнический, и суета гитарная. В Оперном его знали теперь дирижеры, администраторы и даже пожарник.

Но Леха был парень компанейский. Первого декабря он позвонил Гречихину. Позвонил утром, поскольку Николай тоже свой исторический присутствием не больно-то жаловал. Пылились учебники и пособия. Курсовая работа о Кючук-Кайнарджийском мире лежала недописанная, оборвалась на самом интересном месте.

Гречихин несколько раз ходил в академию поиграть с Плуговыми.

Плуговы любили погрохотать от души, слабо переносили репетиции, полагаясь на дар божий. А у Николая вдруг пропало желание усмирять буйных братьев. Он сидел за «вельтмайстером» и безразлично слушал, как Серега измывается над натуральным ладом, а Володя норовит продырявить пластик барабанов,

Потом он и на репетиции перестал появляться. С утра упражнялся в стихосложении — кто, кроме него, напишет слова к песням? Потом мычал эти песни под клавиши. Бросал это дело. Начинал гонять гаммы. Гонял их часами. О чем только не размышлял над гаммами. Вспоминались Георгий Ксенофонтович и юноша в кресле, вспоминалась Лиза, которая по всем показателям явно превосходила Катерину, вспоминалось ее красивое лицо в окладе золотистых волос. Вспоминалась не поймешь почему, поскольку желания увидеть ее снова не возникало. Если и возникало, то все равно оно было не таким, какое описывают в подобных случаях — куда-то рваться, потеряв приличие, свистеть под окнами, лезть по водосточным трубам только для того, чтобы увидеть профиль за занавеской...

И первого декабря Гречихин мычал песни, гонял гаммы и вспоминал. После оставил это занятие, завалился в кресло с книжкой. Ноги забросил на подоконник.

По жесткому карнизу скакал воробей. Рядом нервно прохаживался голубь, стараясь спихнуть воробья грудью. Голубь страшно переживал, что воробей стащил у него крошку, что наверняка еще стащить захочет и стащит. А крошек — не лето — наперечет. Хватит ли?

Голубь страдал неврозом. А воробью было плевать. Он хоть и выглядел дурашливо, но ушлости ему занимать не приходилось.

Николай так и не успел прочитать ни строчки, как зазвенел, завозмущался телефон. Это Ставицкий жаждал поговорить.

— Николай, у меня для вашей светлости сюрприз,— сказал он.

— Тебе бы трепаться,— ответил Гречихин.

— Какое там трепаться! Подходи к... э-э... ну, к без пятнадцати семь и узнаешь. Желателен пиджак.

— Куда подходить и зачем?

— К Гостиному. А зачем — не скажу. Сюрприз.

Николай подумал — идти, не идти? Может, сходить? Изображу перед родителями активную студенческую жизнь.

— Ладно, приду.

— Вэри, вэри, кайфово! Договорились!

...Они встретились около семи.

Леха заявил сразу:

— В Оперный идем. Сегодня премьера. Катерина играет на арфе сложную партию. Ей в первый раз доверили!

Надо думать, что Николай проклинал театр за последнее время не один раз. Он чуть руками не замахал, отка-

зываясь. Ставицкий хмыкнул неопределенно, засунул руки в карманы.

— Я в тебе, Коля, уважаю друга детства и музыканта,— произнес с удивлением. Такой реакции не ожидал Леха. Не знал он и никто на свете не знал о том, как Гречихин устраивался постановщиком, как Георгий Ксенофонтович, философствуя, тащил колонну.— Твой университет меня не волнует,— сказал Ставицкий.— Потому я думаю — ты варежку не разевай. Лиза — это балерина, а не какая-нибудь вертлявая джазменша. Просто я тебя не понимаю.

Гречихин ежился в легкой курточке на рыбьем меху. Мороз щипался и лез за шиворот.

— Не могу же я на части разорваться,— сказал Николай.

— На какие такие части ты разрываешься? — Леха удивился, потому что Гречихин любил разрываться на части. Сам об этом сто раз говорил.— Чего это ты сегодня словно укушенный?

Прохожие, деревенея от холода, спешили по тротуарам. Какая-то чудачка в валенках и грязноватом переднике торговала мороженым. Отдельные удивительные школьницы приобретали у нее заиндевевшие картонные стаканчики с пломбиром и шли дальше, размахивая портфелями.

— Я учусь на историка,— ответил Гречихин.— Это факт. Я играю с Плуговыми, хотя должен играть джаз. А играть с ними — это одни скандалы. Тоже факт. К тому же я патологический спорщик. Если мне еще ухаживать за балериной, я разорвусь — это точно.

Леха Ставицкий совсем не понимал Николая Гречихина, стоя вместе с ним возле метро. Ох уж эти неуловимые нюансы души. Есть замечательная девушка, есть классный парень. Почему бы им не встречаться? А там видно будет. На счет себя Леха уже почти решился. Недавно он познакомился с Катериниными папой и мамой. Похоже, Леха им понравился. Они люди ненавязчивые, тихие, немолодые. Папа пишет статьи в журналы, а мама — педиатр. На дочь, на арфистку свою, не надышатся, так что, кажется, Леха почти решился.

— Так мы идем или нет? — спросил он Гречихина.

— Да ну к бесу эти представления!

— Ясно. Значит, идем... Лиза сегодня танцует. Да очнись ты! Стоишь как водяная крыса!

Гречихин посмотрел пристально на Ставицкого.

— А как она стоит? — спросил угрюмо.

— Как, как! Стоит себе... Идем быстрее.

На Невском сумерки. А сумерки на Невском — это желтый, голубой, шумный гвинейский полдень во время пламенного праздника. Правда, Гречихин и Ставицкий на это не обратили внимания. Просто они прошли в театр. Гречихин тащился понуро. Лехе улыбались администраторы, электрики, лауреаты. Снова сверкали люстры, зеркала, паркет. В буфете Лехе улыбались буфетчицы.

Леха освоился до такой степени, что имел право пройти в ложу, утонуть в кресле, оценивать небрежно публику и посмеиваться над Гречихиным. Они как бы поменялись ролями. Сложно сказать, как выглядит водяная крыса, но Гречихин представлял собой жалкое зрелище.

«За чьи идеалы воюю? — думал он.— Так ли начинается жизнь? Не в тупике ли она в самом начале? Пожалуй... Вот счастливый Леха рядом — простой честный парень, а у меня только выверты. Вот на сцене происходит сказочное действо: убегает занавес, завитые мужчины с мощными бедрами вьются вокруг фарфоровых девушек, и среди них та, которая, это если не врать себе самому... Проще соврать. Страшно разбудить себя, поскольку всегда смеялся над потерявшими координацию друзьями — влюбляющимися, страдающими и, главное, теряющими оттого главное в жизни — цель. Ведь только цель определяет жизнь мужчины. Без цели он — ничто, тряпка, пустое место».

Чувствуется, что Гречихин по утрам упражняется в ямбах и амфибрахиях, что наслышан о цезурах и клаузулах.

Кто рассудит Гречихина? Жизнь ли? Случай ли? И так он смотрит на сцену, и по-другому. И думает, думает: «Может, должно все быть, как у этого мощного дяди, который красиво разводит руками, оттягивает носок и скачет на виду у публики в желтом трико. Уверенными жестами он отгоняет силы тьмы и несчастий от фарфоровой девушки в венке из белых лилий. Как страдала она без него! Как искушали ее темные силы. Но вот пришел он, сильный мужчина с ясным лицом, проскакал вокруг нечисти, и девушка спасена, и не увянут лилии, и счастливы оба...»

В антракте Леха бегал за кулисы к арфистке, а Гречихин шатался в фойе возле буфета. Он приобрел себе газированной воды и конфету в шуршащей обертке. Он все время одергивал пиджак, ему казалось, что галстук душит, а запонки неприлично сверкают на манжетах поддельными камнями. «Вот как, оказывается,— думал Гречихин, прохаживаясь вдоль зеркал и удивляясь своему уны-

лому лицу.— Одурел окончательно с этими Плуговыми. Лапоть! С балериной поговорить по-человечески не могу».

После антракта на сцене снова происходило действо, а Леха подтрунивал над Гречихиным. Снова силы тьмы уступили, и снова понял Николай, что он в тупике, а жизнь только начинается, но поди в ней разберись.

Именно в тот момент, когда добро начало торжествовать, Леха наклонился к Гречихину, улыбаясь так, как просто не может, не должен улыбаться порядочный человек в присутствии взгрустнувшего друга.

— Слышь,— сказал.— Я тебе сообщу по секрету, но только ты пока никому не говори.

— Зачем ты мне скажешь? Чтобы я мучился чужими секретами?

— Все равно... Она не отказалась.

— Кто?

— Катерина.

— От чего не отказалась?

— Да ты что? От руки моей не отказалась!

Николай посмотрел на руки Ставицкого. «Для музыканта,— подумал,— могли бы и поизящнее быть. Чего она в его руках нашла?»

9

По улочкам носился ветер — мимо роскошных ансамблей города, обгоняя желтоглазые троллейбусы. Он тащил по небу бледные облака, которые обволакивали предновогоднюю игрушку луны и звезды.

— После выступления очень устаешь,— сказала Лиза популярному музыканту Николаю Гречихину, когда они, пройдя по Садовой, свернули в переулок.

Впереди весело щебетала арфистка и похохатывал Леха.

— Верно,— и согласился Николай и удивился, как это у него просто получилось — согласиться.

А она ему:

— Даже это не назовешь усталостью,— сказала, идя рядом в изящной шубе, изящных же сапожках и вязаной шапочке.— Это и усталость, и блаженство одновременно, и удовлетворение собой.

Тогда он ей:

— Верно,— сказал.— Не назовешь усталостью. Со мной такое часто бывает.

— Наверное, такое со всяким случается. Дело не в том, каким искусством ты занят.

— Верно. Дело не в искусстве.

«Чего это я заладил? — подумал Николай, сердясь на себя.— Слов, что ли, других нет? Еще подумает, что я увалень какой-нибудь, охламон». Но чем больше он думал о том, чем бы поразить Лизу, тем меньше приходило на ум, а точнее — совсем не приходило. Он так и шел, односложно соглашаясь со всем, что бы ему ни сказали. Чем, по каким статьям Лиза превосходит Катерину, тоже было неясно. Сомнений не возникало — превосходит. Но чем? Это раздражало, поскольку Гречихин любил ясность. Может, он и мучился больше других, потому что до всего допытывался. «Не спорю хоть, как ненормальный»,— тем и утешал себя.

Они еще долго шли по холодным бесснежным улицам.

— Мир из движений соткан,— говорила Лиза.— Движения способствуют рождению мысли. Может, не все ладно в мире оттого, что человек не умеет правильно двигаться. А танец — это самое лучшее движение. В танце человек добр, а если и зол, то только на то, что не может танцевать, и зло его становится злее...

— Верно,— говорил Гречихин.

Танцевать он не умел совершенно.

Они прошли по Садовой до площади Мира, свернули в переулок, прошли мимо доходных домов поздней постройки. Потом Лиза показала на тяжелое здание с несимметричными окнами и узкими балконами через этаж.

— Мой дом,— сказала.

«Верно»,— хотел сказать Гречихин, но не сказал, осекся.

Дом приближался стремительно. Они замедлили шаг, но все равно он почти бежал им навстречу. Вот и широкие двери, две ступеньки возле дверей.

— Ну,— Лиза улыбнулась решительно.— Теперь я дома.

Тогда ей Гречихин:

— Дом замечательный,— сказал, собираясь с духом.

Не такой уж он был увалень. Вообще-то он нравился девушкам и знал это.

— Верно. Дом неплохой. Мама, пожалуй, из театра пришла уже. Она в Драматическом гример.

— Замечательная мама.

— Верно. Откуда ты знаешь?

Тут случай и подвернулся. Иногда находило на Гречихина — только держись. Комплименты, бывало, из него так и сыплются.

— По дочери определил,— сказал,

Лиза засмеялась, словно засмеялась девочка, которой новую ленту подарили.

— Откуда вдруг такое красноречие?

— Не такой уж я увалень,— прихвастнул Гречихин и приосанился.— Просто настроение последнее время... Да и зима дурацкая. Хоть бы снег выпал.

— Хорошо бы.

«Все-таки женщины незатейливы,— думал перевоплотившийся Гречихин.— Мучаешься, пытаешься привлечь внимание своими душевными терзаниями, сложностью своей натуры. Но оказывается, выдай шуточку, сваргань комплиментишко... Успех полный!»

Пока Николай рассуждал, разговор погас. Гречихин молчал, молчала Лиза. Они стояли молча, молча улыбались. Ветер басил в переулке. Прохожие испарились.

Гречихин опять растерялся. Завертелись в голове посторонние мысли. Они вертелись и вертелись, сшибая все на своем пути. Николай не гнал их. Оказалось, что так себе шуточка, не сработала, нужно говорить еще что-то: остроумное, непринужденное. Беседу вести, как партнершу в вальсе. А Гречихин танцевал плоховато, в вальсе вообще не ориентировался. Но рядом стояла балерина, которую он вызвался проводить. Какой уж тут вальс! Тут совсем не вальс. Стоит рядом, а смотреть невыносимо на матовое лицо, на выбившуюся прядь, на чуть приоткрытые, влажные губы...

— Холодно,— сказала Лиза.— Так холодно. Не замерз?

«Ага,— подумал Гречихин беспомощно.— Не могу же я выглядеть дураком. Если провожать вызвался, то как-то себя проявить должен. Кто-то мне говорил — лучше всего себя зарекомендовать грубым гунном. Правда, у меня все как-то по-другому складывалось раньше. Но может быть, все-таки гунном?..»

— Холодно?! — воскликнул Гречихин.— Знаешь, как надо греться?

— Как?

Тут бы Гречихину и заключить балерину в первое объятие. Он так и собирался сделать, но вместо этого закричал:

— Надо двигаться! Прыгать, бегать!

Николай стал подпрыгивать на месте. Он радостно примасничал, а Лиза смотрела снисходительно. Гречихин скакал самозабвенно, доскакался до того, что поскользнулся, грохнулся на одно место, которое хотя и называется мягким, но и его ушибить можно...

Лиза старалась не смеяться, но не смеяться было невозможно. Но все же ей удалось погасить прилив хохота и сочувственно поинтересоваться — как, мол, Коля приземлился-ударился? Ведь снега нет, а асфальт жесткий.

Николай же чуть не рехнулся от стыда. Отступать было некуда. Если гунном — так грубым. Неуклюжим. Ярым.

Он вскочил, подхватил Лизу за локти и приподнял. Она была легкая — легче шубы. Она вскрикнула от неожиданности. Гречихин снова поскользнулся. Может, и специально поскользнулся. Они упали вместе — Гречихин и балерина. Мгновение лежали не двигаясь. Тогда Николай и сподобился чмокнуть балерину в губы. Получилось это неожиданно. Возможно, только для него неожиданно, возможно, что это лишь фантазия. Но если б Гречихин любил соврать, то и тогда б не заявил на все сто, будто поцелуй оказался взаимный. А Николай, по возможности, старался жить без вранья.

Нос щекотала пахнущая весной, чужая прядь волос. Николай до боли чувствовал, насколько она чужая. «Всегда только так,— промелькнула мысль.— Сперва спровоцируют, а после чувствуешь себя дураком. Расхлебывай теперь».

Они поднялись, и тогда Гречихин:

— М-да,— пробубнил.— Играю не в той тональности.

Она встревоженно:

— О чем ты? — спросила.

— Да вот говорю — мое соло, а я сорвал его.

Еще более встревоженно и серьезно:

— «...вы хотите приписать себе знание моих клапанов»,— сказала.

Образовалась пауза. Прозвучала долгая пауза, заполненная ветром. Луной. Холодом.

— И что теперь? — спросила.

Она глядела по-прежнему настороженно.

«Откуда у нее такие серьезные глаза? — подумал Гречихин.— Что за человек я? Ничего не выходит».

— Теперь домой пойду,— сказал.

— Конечно! Да-да. Поздно... Холодно.

Между словами снова пауза с ветром.

А что дальше? Ну, что-то... Пошел Гречихин.

10

Молодость родителей Николая досталась войне. Зрелые годы были заполнены до предела — учились, затягивая потуже пояс, работали, воспитывали... Старость еще не при-

шла, но уже слышались ее шаги. Сын вырос способный, современный, а значит — строптивый. До некоторых пор все гладко шло: сын учился и теперь учится — университет! — на пианино умеет играть. Правда, мелодии не совсем привычные...

Но в последнее время начались сбои. Какая-то шестеренка в механизме отношений сломалась. Перестали друг друга понимать. Отец стал выискивать в прессе статьи о молодежи, находил. Ничего они не объясняли. Мать вздыхала и печалилась.

— Что за ужасная музыка! — сказал отец, когда Николай лопал на кухне картошку прямо со сковородки.

— Она не ужасная,— ответил.— Ты не понимаешь ее.

— Не понимаю! Всегда понимал, а теперь не понимаю. Я когда-то на скрипке играл и понимал все.

— Скрипка годится для утильсырья.

— Что ты произносишь? В нашей семье всегда играли на скрипке. У тебя нет ничего святого! И у таких, как ты!

— Да почему же нет? — возмутился Николай.— Мы создадим свою музыку.

— Нет у вас ничего своего! Что у вас свое? Мы прошли войну!

— В этом ты прав. Но я не виноват, что твой сын, а не брат.

— Что он говорит такое?!

Мать только вздыхала. Мыла чашки.

Николай ушел в комнату и включил магнитофон. Тихо-тихо в динамиках ликовали валторны. Это была не та музыка, о которой отец говорил. Это была любимая музыка Николая. Он слушал валторны и вспоминал фотографию. Свою фотографию в шестилетнем возрасте. Мальчик в панамке возле Ростральной колонны. Еще он вспоминал, какие чужие у Лизы волосы — наичужайшие! Тон у отца тоже чужой, когда говорит так. Разве ему трудно говорить по-другому? Подойти, как раньше потрепать за плечи и сказать шутливо: «Дерзай». И ничего больше. Разве так трудно? Ведь что за ерунда — музыка. А музыка — это только колебание воздуха и воздухом колебание наших перепонок. А там, где нет воздуха? А на Луне? Значит, музыка более относительна, чем все остальное. Чем что?.. Чем моя матроска, панама и отцовское «дерзай». И отчужденность ее волос?..

Валторны пели. Они походили на павлинов — такие же пестрые и удивительные.

Ночь пришла.

Лиза спала и ворочалась во сне.

Гречихин бодрствовал...

11

Вечером двадцать шестого декабря податливая толпа принимала форму эскалатора. Гречихин на эскалаторе, окоченевший, плыл вниз. Лиза плыла вверх. Они увидели друг друга. У нее лицо вздрогнуло от радости. Гречихин — слов не придумал — странно взмахнул рукой. Лиза плыла вверх. Он — вниз. Какое-то мгновение почти рядом.

— Гастроли... — крикнула. — Целые две недели.

— А?!

— Желаю счастья... Новым годом.

— Что, что?..

— Омск... Новосибирск...

«Плывет вверх,— успел подумать. — Все выше, и выше, и выше».

— И тебе здоровья,— сказал ей. Себе сказал, потому что она не услышала.—Что?

Со всех сторон люди. Рядом полковник в папахе с кокардой. Обмороженные уши горели, как два светофора. Рядом круглая тетка с сетками. Рядом у небритого мужчины «кролик» задом-наперед. Рядом дылда спортивный с лыжами. Ему хоть бы что. «Что б его...»

А она вверх уплыла...

В ночь на первое января свечи зажгли, а не лампочки. Елка растопырила иголки, одураченная бижутерией украшений. Не ведала, что скоро осыплется. Леха доказывал Орехову, что мускулы — это еще полдела. Орехов пытался гнуть медные пятаки, так и не согнул. Но все девушки заволновались и стали требовать танцев. Леха швырялся в танцующих горстями конфетти, попал знакомой Орехова в лицо. У нее потекли глаза. Гречихин отсиживался в кресле и пил шампанское. В кресле и заснул. Проснулся в три часа, когда все убежали на улицу с бенгальскими огнями. Вопили и катались с горки. Серебряный шпиль елки упирался в потолок.

Седьмое января. Дворцовый мост. Горбатые льдины, поперченные мусором, застыли беспорядочно. Трамваи сту-

чали по рельсам. Скользили грузовики. Воротники подняты, шарфы в пол-лица, носы красные у прохожих — сопливые. Петропавловка — золотые грани оледенения.

Гречихин шел по Дворцовому. Лиза рядом шла.

— Какие были гастроли! — восторгалась. — Встречали как! Как играла Катя на арфе!.. Как я танцевала! Какие цветы подносили! А ты?

Впереди, около Зоологического музея, очередь. Живым хочется на чучела посмотреть. Живым приятно мерзнуть, зная, что чучелам никогда мерзнуть не придется.

— Я? — ответил Гречихин. — Нормально я.

— Как людям нужно искусство! — сказала. — Как его ценят! Откуда зимой в Сибири цветы? Ты не знаешь, откуда у них цветы?

— Нет,— ответил. — Если б мне подносили, я бы спросил откуда.

— Можно с ума сойти! — сказала. — Тюльпаны! Большие тюльпаны. Красные, желтые бутоны... Лица у людей счастливые.

— Георгий Ксенофонтович с колонной ходит? — имитировал голос Лизы студент Гречихин.

— Какой Георгий Ксенофонтович? — удивилась Лиза.

— Москалев ваш.

— Да! Ты знаешь его? Откуда ты знаешь?

— Старый приятель.

— Все я говорю да я. А ты как? Что же это я одна говорю? Как у тебя?

— У меня... Да нормально у меня.

«Почему это у нее такая нахальная прядь? — подумал. — Такая золотая и нахальная. Мороза не боится. На мороз наплевать ей. И такая чужая. Снега бы в город, снега...»

В кафетерии студенты галдели. В университетском кофейном подвальчике. Вокруг больше пиво пили, а Гречихин и Лиза кофе потягивали. От тепла хотелось смеяться и жевать пирожки. За спиной читали плохие стихи, но всем нравилось.

— Сессия на носу,— сказал Гречихин.

— На носу? — засмеялась в ответ.

— На нем самом,— сказал.

— Как же это она умещается? — спросила.

— Умещается,— ответил. — У меня нос большой.

— Ты больших носов не видел. Говорят, у меня тоже большой нос.

— У тебя-то нос! Жалкая лесть. Разве у тебя нос! И не нос вовсе — носик.

Дымились чашечки с кофе. Кто-то за спиной, осмелев от пива, стал говорить, что стихи дрянные.

Одиннадцатого января Катерина испекла пирог. Леха прикидывался помешанным и слопал три четверти пирога. Пирог был с яблоками и просился в рот. Николай взял кусочек, но не знал, как откусить. Начинка норовила вывалиться... Целый вечер ругали морозы.

Пятнадцатого января Гречихин заявился в Оперный днем. В буфете продавали «БТ». Лиза сказала, что спектакль отменили... Долго шли по Садовой молча. Приближался дом с балкончиками и парадная дверь... Мама работала гримером в Драматическом и возвращалась поздно. Забыли включить свет. Часы с боем и Свиридов по радио... Как будто выросли крылья у Гречихина. Как будто обрубили потом. Пришлось возвращаться одному, коченея... Павлины-валторны пели в динамиках. Отец норовил поспорить. Откуда он мог знать, что у Николая сегодня были крылья... Валторны все пели. «Какие золотые волосы у нее,— думал Гречихин. — Как в них сладко утонуть».

...Ночь пришла.

Гречихин спал, ворочаясь во сне. Отец кухню шагами мерил. Плутал в облаках дыма.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

12

Не дай вам бог когда-нибудь оказаться в Академии художеств. Если все-таки художества вас привлекают непреоборимо, побывайте там, но только упаси вас заблудиться в каменных коридорах, лестницах, анфиладах, арках. Недаром передвижники покинули это здание, хотя такие милые и домашние мастерские только здесь. Из коридора, по-гвардейски тяжелого, попадаешь в уютные и камерные рисовальные классы. Тени Куинджи, Крамского, Шишкина!

Все-таки, мне кажется, стоит простить братьев Плуговых и пришлого Гречихина за то, что не кричали им «бис» и «браво», а просто кричали и вопили от восторга, особенно когда септдоминантой заканчивали Плуговы и Гречихин рок-н-ролл. В академии стены дрожали на их выступлениях.

Впрочем, что теперь об этом вспоминать! Стоит про-

стить этих юнцов. Стоит их простить! Тем более что делу этому, слава тебе, пришел конец...

— Ты сорвал нам заработок и аншлаг в Железнодорожном и Авиационном,— сказали братья, когда Гречихин опоздал на репетицию.

Он месяц не показывался у Плуговых, а за этот месяц многое изменилось.

— Еще ты сорвал нам премьеру в Педагогическом и в Горном,— сказали братья, сматывая провода и свинчивая микрофоны.

— Ты не пришел в Медицинский в среду,—сказали братья, пока Гречихин курил возле «вельтмайстера».

— По-нашему, это хамство и свинство,— сказали братья, хмурясь и потряхивая рыжими кудрями.

— Обстоятельства,— ответил Гречихин.

Хотя он мог бы рассказать, что такое па-де-де, и о том, как счастлив в женихах Ставицкий. Он мог бы поведать, какие сомнения мучили его этот месяц. И что балерина для него все равно как лакмусовая бумажка. Ведь Лиза удивительна и красива. Умная собеседница, и много прочих у нее достоинств. Но Гречихин испытывает себя. Тогда с ним станет все ясно. «Пора уж определиться».

— Нас на бабу променял,— прочитал мысли Гречихина Серега Плугов.

— Точно-точно,— согласился Володя Плугов, а Гречихин не ответил ничего.

В «циркуле» — полузале-полукоридоре, где они тогда репетировали, гулял сквозняк. Он прохаживался по каменному полу с еле заметной мозаикой, по растрескавшимся стенам, пробегал под двери. За окнами в январском небе еле горела бляха зимнего солнца. Ветер раскачивал деревья и антенны на крышах.

— Вы же знаете, мне эта рок-музыка поперек горла стоит,— сказал Гречихин, накурившись возле «вельтмайстера».

— За своего прикидывался,— горько вздохнул Серега.

— Оскара Питтерсена изображает,— сказал Володя.— Прямо-таки Глена Миллера...

— Да ну его к собачьим чертям! — суммировал общее мнение Мишка.

Гречихин подумал, что, видимо, интересные черти мерещатся собакам. Но одно дело конуровая собаченция на цепи — хранительница двора, неизбалованный друг. Разве такие же черти приходят ей на ум, как какому-нибудь белому пуделю, накрученному на бигуди, кормящемуся из корейского фарфора, страдающему подагрой и тахикарди-

ей? Не может быть, чтобы всем собакам являлись одинаковые черти!

— ...Пускай забирает свой «вельтмайстер», микрофон и стойку к собачьим чертям! — решили братья. — Может, Сашка Негрейводы — мало не хуже его сыграет. Вряд ли он один такой в городе — Гречихин.

Братья помолчали. Они долго молчали, успокоились. Потускнели их рыжие шевелюры.

— Хотя играли мы с ним здорово,— сказали братья и улыбнулись. — Давали прикурить! Не одно учебное заведение изувечили. Может, еще он пожалеет, может — нет. Попрощаемся, что ли, по-дружески, фиг с ним. Питтерсен так Питтерсен. Ну, не смертный грех. Не нравится ему рок-н-ролл. Что ж теперь? Дурной у человека вкус — вот и все. Будь здоров, Николай Гречихин — замечательный ты наш руководитель. Не судьба...

Вышел Гречихин на бесснежную улицу, заскользил по леденцам прошлых луж мимо меншиковского особняка, что заставил Двенадцать коллегий встать перпендикуляром к Неве, заспешил Николай Гречихин, взволнованный, замерзший, решивший совершить давно задуманное, но откладываемое до лучших дней, заспешил на исторический факультет.

Он поднялся на второй этаж по знаменитой лестнице, вошел в прокуренный коридор. В коридоре дымили однокурсницы.

— Гречихин! — восхищенно возмутились они.— Ты чокнулся, наверное! Ты, наверное, свихнулся и очумел. Мы, ни черта не зная, третий экзамен сдаем, а ты где-то болтаешься. Еще несколько дней, и плясать запишемся под твое пианино. Мы так и сделаем, но ты-то, ты! Наверное, чокнулся, наверное! Экзамены за тебя сдавать кто станет? Может, у тебя дядя есть, который сдаст? Или же Пушкин вместо тебя явится, или Кукушкин какой-нибудь? Гречихина же выпрут, девочки. Вот сейчас в деканат войдет — его и выпрут, чокнутого...

— Спокойно, студентки,— сказал Гречихин, проходя мимо Древней Греции и Древнего Востока. — Смертельного трюка не будет, и барабанной дроби не понадобится,— сказал Гречихин, проходя мимо Средних веков и Нового времени. — Несравненные, красивые вы мои студентки,— сказал Гречихин, остановившись перед дверью деканата. — Я уйду, как говорится, в мир иной,— сказал он, сверкая холодной улыбкой.

Девушки замерли. Они вздохнули и выдохнули. А Гречихин решил бросить университет — и бросил.

13

Дома еще ничего не знали. Николай упустил из виду, что предстоит объяснение. Только теперь подумал об этом. Он сидел перед телевизором и листал газету. Отец тоже листал. Они обменялись газетами, и мать позвала ужинать.

Отец на кухне заявил, что обойдется бутербродами.

— Закалка молодости,— похвастался, нарезая батон.— Нынешнее гурманство не приветствую.

— Ты же директор, а не студент,— сказала мать.

— Ты о каких студентах мне говоришь? — нахмурился отец, обнаружив три глубокие складки на лбу. — Ты не говори мне о них. Если о тех, какими были мы с тобой, то я и сейчас студент. Мы не думали с тобой: вкусно — невкусно. Над учебниками ночи высиживали, постирушки к тому же всякие, пеленки... А вкалывали как!

Николай забрасывал в рот пельмени и слушал. Мать радовалась, что ужин без спора обходится. По радио говорили о мартеновских печах. Отец долго размешивал сахар, молчал, вспоминал что-то. Николаю вдруг стало жалко родителей. Он решил не рассказывать про университет как можно дольше. Намолчавшись, отец спросил:

— Ты, Коля, лучше объясни: Кючук... как его? Кайнарджийский ты уже заключил? Какая нам с него выгода вышла? Пантикапей нам теперь? А?

— Без меня обошлись,— ответил Николай и испугался. «Как бы соврать поубедительней. Сколько лет живу — врать по-человечески не научился».

— Ну уж и без тебя,— не поверил отец.

— Элементарная компиляция,— сказал Николай. —Курсовая работа.

— Не ерничай,— сказал отец. — Никогда не надо ерничать. Не одобряю. Каждый здравый человек должен осмыслить опыт предыдущих поколений. — Отец повысил голос. Голос его переливался, насыщенный всеми возможными оттенками. — Чем больше мы станем осмысливать, тем меньше глупости будет на земле.

Отец расправил плечи и замолчал.

— Ты классовый подход не учитываешь,— сказал Николай.

— Это я не учитываю! — отец рассмеялся. — Я его знаешь как учитываю. Я его с винтовкой в руках учитывал. И с лопатой в руках учитывал. Как говорится, «наш ответ Чемберлену».

Мать вытирала полотенцем вымытые тарелки. Она складывала их в настенный шкафчик.

— Ладно тебе хвастать,— сказала. — Спроси лучше, как у сына в университете дела. Сессия уже началась? — спросила она Николая.

— Началась,— ответил он.

— Вот я и говорю! Много экзаменов завалил? — спросил отец шутливо. — С этой музыкой, наверное, завалил не один.

Отец вытащил из пачки сигарету и чиркнул спичкой.

— Чего не отвечаешь? — спросил. — Завалил небось парочку.

— Да нет,— Николай заерзал на табуретке и закашлялся. Слезы выступили от кашля.

— А на сколько сдал? — спросил отец.

— Я их не сдавал,— неожиданно для себя ответил Николай. Он ответил и испугался. «Ах,— подумал,— лучше теперь, чем тянуть кота за хвост».

— Вот я и говорю,— не понял отец. — Завалил.

Он насторожился, отложил сигарету в глиняную пепельницу. Мать перестала вытирать тарелки и обернулась. По радио играли на гармошке и пели веселыми голосами солдаты.

— Да нет же. — Николай смотрел прямо перед собой на матовую поверхность стола. Он разглядывал царапину на столе, похожую на линию жизни его ладони.

— Да нет,— сказал он. — Я не сдавал их вовсе.

— То есть почему? — спросил отец и замер. — Мать, ты не в курсе?.. То есть почему? — еще раз спросил отец.

— Потому что я не хочу их вообще сдавать.

Отец фыркнул и завертелся на табуретке.

— У твоего сына жар,— обратился он к матери. — Он заболел. Я от него другого и не ожидал.

Отец вытащил из пепельницы сигарету и зажег спичку. Он держал ее в руке, пока пламя не обожгло пальцы. Он снова зажег и снова не прикурил. Мать молчала. По радио пели хором.

— Да перестаньте вы в самом деле! — Николай встал и облокотился на холодильник. — Я был почти историк, а музыка была моим хобби. Понятно? Вот! Хобби переросло хобби и становится профессией. По крайней мере, я так хочу. А история станет хобби. Кючук-Кайнарджийский мир и без меня подпишут! Это очень просто, то, что я говорю сейчас.

Отец чиркал спичку за спичкой, мешал ложечкой в пустой чашке и снова чиркал.

— Мать,— сказал он,— наш сын — волосатик! Он был любительским волосатиком, а теперь хочет стать профес-

сиональным. И это наш сын! — Отец отодвинул чашку и наконец затянулся дымом. — Мать, у нас нет больше детей? Почему у нас нет другого ребенка? Почему у нас нет девочки?.. — Неожиданно лицо у отца прояснилось. Он почти засмеялся, отбрасывая движением головы назад жидкие волосы. — Наш сын захотел в армию. — Почти закричал:— Я читал про это! Городская молодежь из интеллигентных семей решает изведать трудностей, уходит из институтов... Да? Это верно?

— Нет. — Николай, видимо, так и не научится красиво врать. Не дается ему эта наука. Как ни пробовал, не давалась.

— Нет,— сказал он,— я хочу стать музыкантом.

Николай ушел в свою комнату.

— Ха-ха-ха! — доносилось ему вслед. — Он музыкантом стать захотел! Для него скрипка — утиль. Он музыкант! Хоббн у него, а?!

Из своей комнаты Николай слышал, как мать успокаивала отца, как стучали аптечные склянки. Это она отсчитывала семнадцать капель.

14

Зачем нам бродить в потемках женской души? Сочинительство — дело мужское. А что они в женщинах понимают? Хотя Леха Ставицкий думал по-другому. Он продал гитару — свою маленькую «Иолану», чешскую красавицу с двумя звукоснимателями и вибратором. Для возлюбленной парочки вполне хватит и арфы, решила Катерина. На том и порешили. По настоянию Лехи подобрала Катерина на этой самой арфе «Рок вокруг часов», что в какой-то степени разнообразило ее репертуар и дало Лехе новый повод для восторгов. Еще Леха продал усилитель и все, что у него имелось по музыкальной части. На полученную сумму приобрел Ставицкий свадебную тройку и два изумительных колечка. Он пригласил Гречихина и Орехова на торжество, а также множество друзей, в том числе и Лизу.

Дела у Ставицкого в Политехническом как-то сами по себе образовались. Сессию он сдал на удивление сокурсникам успешно. Даже стипендию стал получать.

Второй месяц горожане проклинали Цельсия и те минус двадцать, выше которых не поднимались ртутные ниточки в термометрах. Скучно повторять про ветер, но и его горожане проклинали. Про такой мороз и бесснежье ничего не помнили старожилы. Спрос на изящную обувь

стремительно падал. Живущие на нетрудовые доходы граждане погрустнели. В ход пошли валенки и тулупы.

Но в белой «Волге», опоясанной лентами, с прилепленным на капоте и начинающим синеть от стыни розовым пупсом из пластмассы, в машине, которая неслась от Дворца бракосочетания, было жарко от поздравлений, шуток и предчувствия скорого застолья. Не зря Мендельсон колдовал над своей партитурой.

— Желаем тебе, Алексей, всего и тебе, Катя! — желали новобрачным.

— Чтоб каждый год по мальчику!

— Как мальчика назовете?

— Колькой назовем,— смеялся Леха. — В честь Гречихина — старого товарища, друга, а теперь и свидетеля.

— Чтоб каждый год по Кольке! Чтоб много маленьких Колек каждый год!

— Согласен!— смеялся с другими Николай.— Как можно больше.

— Может, ты и родишь? — смеялась Катерина, краснея от шуток и счастья, поправляя фату, чем-то похожую на скомканное крыло стрекозы. — А почему не девочку?

— Э-э, нет! Это уж вы сами с усами...

Гречихин чуть не лопался от смеха. Он радовался за друга искренне. Он бросил университет и ушел от Плуговых, и вообще-то ему приходилось несладко последнее время, Но мы пришли в этот мир не для того, чтобы жрать пирожные. Именно так думал Гречихин. И следует с ним согласиться, поскольку это совершенно справедливое мнение. Но если говорить про данный момент, то радовался он больше всех и потому, что рядом с ним, даже не рядом, а очень даже вплотную, сидела Лиза... Два раза в Оперном отменяли спектакли, и два раза у Гречихина выра- стали крылья... Что между Гречихиным и Лизой происходило? Происходило между ними не поймешь что... Но суть не в этом, а в том, как удивительно мчаться в праздничной «Волге» среди смеющихся к праздничному столу рядом с замечательной балериной, сложность отношений с которой скорее хороша, чем — нет. Вспомним о пирожных и поймем Гречихина...

Был первый тост. Лехин отец — потомственный корпусник с Судостроительного — произнес его. Мол, чтобы любовь не убывала, чтоб дому перещеголять полную чашу и вообще приблизительно «ура!».

Звенел хрусталь. За первым тостом — второй, пятый,

десятый. Кричали «горько!», считали, сбиваясь со счета, и снова кричали.

«Бог Гимене-е-ей!» — пел дядя арфистки, и его бас ураганом пронесся над салатами, конфетными вазами, всколыхнул масляную лагунку с сельдью, спружинил о стену и полетел обратно.

Леха был счастлив, Катерина счастлива, и Гречихин, который сидел рядом с Лизой и ухаживал за ней. Зная про этикет, предлагал разную вкуснятину, от которой она больше отказывалась, так как жизнь юной балерины подразумевала диету. Но все ж шампанское, от которого так сладко кружится голова, было выпито...

...Начались танцы...

Если на сцене Гречихин — бог, то в самых обычных танцульках — школяр. Скован и неумел. Тем более с балериной. Оттого что знал об этом, легче не становилось. Лиза чувствовала его неловкость, старалась подделаться под Гречихина, стать такой же скованной и неумелой. Она сказала:

— Катя сегодня особенно красива, правда?

Он сказал:

— Она сегодня диво — Катерина. И Леха замечателен.

— И у него замечательные родители,— сказала.

— Да, я знаю их, то есть они меня, с детских лет. Они правда замечательные,— сказал.

— Хорошо, что так вышло,— сказала.

Вокруг переминались танцующие, только «молодые» сидели во главе стола, а их родители обсуждали на кухне, подавать или не подавать горячее.

— У них все замечательно,— сказал Гречихин. — Я бы тоже хотел ухаживать за тобой по-настоящему.

— Мне бы это понравилось.

— Я знаю. То есть, черт, я не то сказал. Это слишком приятное занятие — ухаживать за тобой. Мне нужно держать себя в черном теле.

— Зачем это?

Гречихин посмотрел, как расфуфыренная дылда Орехов лихо кружит полную блондинку в шелковом платье.

— Если я не буду в черном теле,— сказал Гречихин,— я размякну и не смогу ничего добиться. Если мне теперь ничего не добиться, то, значит, я себя перечеркнул. Из-за этого университета у меня сложности дома. Я специально сделал так, чтобы не оставалось запасного выхода. Ты понимаешь мою мысль?

— Понимаю. Но стоило ли?

Все танцевали и казались счастливыми. Конечно, и Гречихин вместе со всеми. Он говорил, его понимали. Хотя это и не важно, поскольку он и сам себя не больно-то понимал. Просто не мог высказаться. Высказаться приятелю, пусть и старому приятелю,— это одно, а высказаться, держась за талию удивительной балерины, чувствуя рукой тепло ее тела, находясь рядом с ней в доверительной близости под видом танца,— это, уж извините, совсем другое.

— Поздно теперь говорить,— говорил Гречихин. — В детстве я зачитывался до кошмарных сновидений — латы, короли, аутодафе! А теперь мне без этих клавишей жизни нет. Человеческой жизни нет. Понимаешь меня? Я слишком втянулся. Я ничем другим заниматься не хочу.

— Понимаю,— засмеялась Лиза грустно. — Ждать мне теперь твоих ухаживаний...

— Нет! Я буду за тобой ухаживать! Обязательно буду. Но ты понимаешь, о чем я говорю?!

Счастливые молодые сидели во главе стола и рассуждали о том, как бы сосватать Гречихина за Лизу. Заодно и Орехова за блондинку. Замечательные бы вышли пары, говорили они и любовались друг другом. Мы б дружили семьями, ходили б в гости. Всегда нужны хорошие друзья...

15

А тем временем за окнами что-то назревало. Черная вата облаков стала гуще. За ними скрылась луна и мерцающий колодец неба. Ветер из последних сил гнул деревья, затем стих. В ледяных лужах, в скучных двойниках неба, которые стали темнее облаков, больше не отражались звезды. Установилась зябкая, забытая тишина. Но мороз по-прежнему развешивал иней на стволах, затягивал узорами стекла. За теми окнами, где происходила свадьба, кричали «горько!», там было жарко. С будоражащими воображение запахами яств, перемешиваясь в воздухе, носились благовония духов всех «шанелей» мира. Это был буйный праздник запахов!

С кухни мамы принесли горячее, и гости хвалили розовую, поджаристую с боков индейку, принесенную в огромной шкворчащей латке. Из латки торчали потемневшие культи индюшечьих ног.

— Сашке! — кричал Леха Ставицкий. — Пусть восполнит калории. Он спортсмен и барабанщик. Он прыгун. Кормите Сашку! Ольга, Орехов на твоей совести!

— Ах, вы еще и прыгун! — восхищенно смотрела на Орехова белокурая Оля. — Какой вы, однако... Дайте я за вами поухаживаю...

После индейки продолжились танцы. После танцев Гречихин сел за пианино. Он взял аккорд и забыл все разом. Он забыл про свадьбу, про университет, про Плуговых, про неприятности дома, про то, что душит галстук и рядом стоит девушка, за которой можно и не ухаживать по-настоящему, поскольку она сама так сказала, но именно поэтому он ухаживать станет, хотя, возможно, и нет. Гречихин понял, что долго плутал по буреломам и чащам, но теперь наконец вышел на дорогу и что дорога эта его — он уверен — и с нее теперь он вряд ли собьется. Впрочем, для начала не мешало бы выйти из леса, чтобы увидеть горизонт. Гречихин счастливо понял, осознал это, но и это забыл. Он просто играл, просто радовался, глядя на неукротимый табунок своих пальцев, несущийся от верхних октав к нижним. Он играл долго, вдохновенно; играл классику — всевозможных Моцартов, Шопенов и Шубертов, играл джаз удивительных чернокожих гениев, по просьбе присутствующих играл какие-то детские песенки. Все играл и играл до тех пор, пока в комнате не раздался шум, пока не осознал, что шум — это крики гостей, что гости кричат, поздравляют друг друга, а около пианино давно никого нет.

Все толпились возле окон. Кому не удалось подойти вплотную, становились на цыпочки. Все ахали и рассыпали поздравления. Гречихин встал и опустил крышку пианино. Во главе стола на месте невесты сидел Саша Орехов, а рядом с ним сидела полная блондинка.

— Снег, Коля! Я уже смотрел,— сказал Орехов. — Падает снег. Два месяца не было снега, а теперь настоящая зима.

Николай подошел к окну, возле которого шумели гости. Жилистый очкарик с черными бакенбардами криво улыбался и что-то говорил Лизе. С неба падали огромные звезды снежинок. Это был звездопад. Земля уже покрыта снегом наполовину. Как будто разорвали огромное письмо под названием «зима», разорвали на мелкие части, и теперь они падают не спеша.

«Если снег, значит, станет теплее,—подумал Николай.— Когда идет снег, мороз не бывает сильным».

И действительно, ему стало теплее. И проще. Как зиме. В привычном белом одеянии...



В Красноярском аэропорту поздним вечером, заболтавшись в буфете с чудаковатой старухой, Перцухов отстал от своего самолета.

Когда самолет заходил на посадку, ему вдруг сделалось плохо. Никаких болей в сердце, никаких болей нигде, но «мотор» неожиданно пошел вразнос, вена на горле бешено трепыхалась, под черепной коробкой палило огнем...

В его возрасте шесть часов беспосадочного перелета — не пустяк, но, может, и обошлось бы, если бы он не клюнул на соблазн покрасоваться перед Густомесовым в форменном костюме.

С Густомесовым, поселковым доктором, он столкнулся в областном аэропорту возле справочного. Доктор уже возвращался в Еропол из отпуска, Перцухов же только летел на материк. На правах денежного человека он пригласил Густомесова в ресторан.

В вестибюле, когда Перцухов снял плащ, маленький суетливый доктор с черным арбузом в сетке изумленно выпучился на него. На Перцухове был форменный костюм работника гражданской авиации, великолепно сшитый, цвета июньской голубизны, с золотыми пуговицами, погончиками. Подойдя к трюмо, Перцухов солидно поправил галстук, медленно расчесал на пробор белесые волосы и, увидав у себя за спиной рябоватое докторское личико под пегим выгоревшим беретом, веско обронил:

— Положено... Радист взлетной полосы.

— Нашивки золотые вроде бы только у летного состава? — заинтересовался было доктор.

Распространяться Перцухов не стал, твердо пресек расспросы:

— Положено мне...

Коротышка доктор, с трудом волоча арбуз, заторопился вслед за радистом по лестнице.

— Чего с ним таскаешься?— Перцухов насмешливо глянул на докторский арбуз. У Густомесова, как и у него самого, не было семьи, оба считались холостяками в поселке.

— Санитарке везу... Малец у нее не был еще на материке, понятия не имеет, что такое арбузы.

— Делать тебе нечего,— заметил свысока Перцухов.

Густомесов рассматривал его с любопытством.

— Совсем уезжаешь или прилетишь?

— По обстоятельствам... Поживу в деревне, есть там у меня дельце одно. Может, и насовсем останусь... На месте решу.

— Естественно,— согласился доктор,— какая-никакая родня, на старости присмотрят...

— С деньгами за мной везде присмотрят,— усмехнулся Перцухов. — Да там, собственно, уже никого и нет, все перемерли. В прошлом году последняя тетка, у которой я рос...

Засидевшись с доктором в ресторане, Перцухов едва не прозевал свой рейс, но благодаря летной форме все же прорвался к самолету, и там, возле трапа, у него оторвали контрольный талон. Дежурная пытливо заглянула ему в лицо — от Перцухова разило спиртным,— но все-таки пропустила.

Все шесть часов полета он сладко проспал, но при снижении его турбинка неожиданно забарахлила. Он озадаченно пощупал пульс, сунул руку за борт пиджака, помассировал мышцы... Глянул в черный иллюминатор на далекую россыпь огней и, повернувшись к соседке, занятой вязанием шарфа с самого взлета, обронил солидно:

— Да-а... Дело швах.— И, начальственно выпятив губы, прикрыл глаза.— Шалит турбинка...

Бросив под язык таблетку валидола, он лег удобнее в кресле, сомкнул веки. Под фюзеляжем отчетливо стукнуло, машина выпустила шасси.

Кто-то коснулся плеча Перцухова.

— Простите,— тревожно пролепетала соседка. — Что-то серьезное? — Перепуганные ее глаза уставились в черную дыру иллюминатора.

До Перцухова только теперь дошло. Он едва не расхохотался, но что-то принудило его сохранить на лице значительную мину и выдержать покровительственный тон.

— Думаю, дотянем,— повременив с ответом, басовито изрек он.

Несмотря на аритмию, жжение в голове, он на миг погрузился в дивное, волшебное блаженство. В эту минуту

в глазах пассажирки он, причастный к авиации, был окружен ореолом таинственности, могущества, и это странным образом услаждало, успокаивало его. Возлежа с закрытыми глазами, упиваясь моментом, Перцухов не видал, как его соседка, охваченная тревогой, знаками подозвала бортпроводницу. Бортпроводница скрылась за шторой, через минуту оттуда быстро вышел бортинженер, сунулся к иллюминатору по левому борту, по правому, внимательно осмотрел солидную фигуру Перцухова...

Когда подъехал трап и пассажирам на время заправки самолета предложили погулять, Перцухов заторопился на свежий воздух. К нему подошли бортинженер и второй пилот и попросили пройти с ними. Его повели в служебное крыло аэровокзала. Второй пилот скрылся за дверью кабинета и тут же снова выглянул, приглашая Перцухова войти.

— Документы,— кратко потребовал седой квадратнолицый мужчина с четырьмя широкими угольниками на погонах.

Трясущимися пальцами Перцухов извлек из бумажника удостоверение, протянул его через полированный стол. «Подумаешь, преступление,— думал он,— на одну нашивку больше-меньше, золотые или серебряные», но это мало помогало ему.

Раскрыв удостоверение, мужчина пробежал по нему глазами, глянул исподлобья на Перцухова, на его нашивки. Перцухов потупил взгляд.

— Какие у вас были основания поднимать на борту панику?

Перцухов окончательно растерялся, губы у него задрожали, лицо скривилось в жалкой улыбке.

— Это недоразумение... Меня неправильно поняли, у меня с сердцем было неважно...

Мужчина пристально смотрел ему в лицо.

— Вы нетрезвы?

— Почему? Абсолютно трезв... Немножко с вечера...

Мужчина вернул ему удостоверение.

— Надо бы ссадить вас, тем более что с сердцем у вас не в порядке...

Посадку еще не объявляли. Перцухов поднялся на второй этаж в кафе. Валидол решил больше не глотать, а по старому опыту вышибить клин клином. Да и нервишки расслабить... Благополучно же он выкрутился из такой передряги!

Перцухов взял нарезанный с сахаром лимон, порцию сайры и трехсотграммовую подарочную бутылку коньяка.

Сайра что-то не понравилась ему. Какая-то темная, усохшая. Слегка поковыряв ее вилкой, пошел с блюдцем обратно к стойке.

— На вашем месте эту порцию я бы клиенту не предложил,— сказал он с достоинством, ставя блюдце перед буфетчицей.

— Это почему же? — вскипела та.

— По-моему, кто-то ее уже пробовал...

— К вашему сведению, я не консервирую, а только раскладываю!

Перцухов тонко усмехнулся.

— Вашу раскладку я и имел в виду.

— Да возьмите, возьмите свои тридцать пять копеек!— с раздражением закричала буфетчица и в сердцах брызнула мелочью по стойке.

Перцухов спокойно собрал деньги, подождал, пока она не швырнет блюдце на заставленный немытой посудой поднос. Он медлил, не отходил.

— Вообще-то надо бы сюда направить санэпидстанцию,— солидно проговорил он, осматривая через стойку буфет. — По пищеблоку свободно разгуливает кот. А если он бациллоноситель?

На пороге двери в подсобное помещение сидел котик с белой мордочкой, серый, в рыжеватых подпалинах,— словом, трехшерстный...

— Зря вы на нашего котика грешите,— ласково заговорила за спиной Перцухова старушка посудомойка, катившая тележку с грязной посудой. — К пище он не подходит, здоровый... Галина Григорьевна, покажите товарищу документ.

— Я ему покажу документ!

Перцухов солидно прошел к своему столу, сел. В этот момент трехшерстный котик вздумал приласкаться к буфетчице: выгнул спину, бочком потерся о ее ногу. И тут же, мелькнув в воздухе, шмякнулся на пол на виду у всего зала.

Старушка, подкатив тележку к перцуховскому столику, остановилась:

— Нехороший ты человек, сынок, недобрый... Вот скажи, пожалуйста, зачем ты с ней так? За эти тридцать пять копеек теперь она моему котику житья не даст...

Перцухов сбросил с себя начальственную осанку: такие простосердечные старушки нравились ему, он держался с ними на равных.

— Да я, мамань, брякнул так, от фонаря... Стопочку выпьете?

— А что у тебя? Капли датского короля? Ну налей чуть-чуть, десять капель. Простят Василисе Корнеевне, весь день в воде брызгаюсь. — Она устало присела на край стула, сгорбленной спиной к стойке, и взяла стопку красной от воды и соды рукой. — Ты местный или летишь куда?

— В отпуск, мамань...

Старушка покачала головой.

— Что творится на свете... Аэропорт забит, вокзал забит... Раньше я на вокзале работала, и едет народ, и едет. Царица небесная! Билетов нету, лезут в вагон без билетов, всем надо быстрей. Ты вот тоже, наверно, нервничаешь, ждут там, поди, тебя...

Перцухов горько усмехнулся.

— Ждут... Не знаю, что там осталось от деревни. Старики вымерли, молодые в городе. Я и сам первый раз за семнадцать лет...

— Понятно... Материнские слезы для вас вода. Я тоже своего восьмой год не вижу. В Мурманске скитается. Сорок лет, все в глазах не прояснило. Собралась, решила, поеду сама. Пишет: приедешь — завербуюсь на Сахалин. Я понимаю, понимаю, почему он не хочет. Вот если бы он жил кум королю, а я бы приехала да подивилась на его жизнь, какой он начальник...

— Я — сирота,— глухо обронил Перцухов, прикрывая ладонью покрасневшие глаза. — С шести лет по родственникам. А сейчас совсем никого, все померли — и тетя Лизка, и тетя Клавдя, и дядя Никанор...

— Едешь-то к кому?

Придавленный воспоминаниями, Перцухов убито пожал плечами.

— Еду по делу, дело есть, Василиса Корнеевна... Я не бессовестный, я помню, что сделали родственники для меня. Пацаненком пригрели, а ведь самая голодовка была, перебивались кое-как... Потом тоже не легче было. Должен я помянуть, отблагодарить их? Приеду, закажу всем металлические оградки, привезу из города раковины, в мастерской сделаю заказ — пирамидки, памятники, денег хватит у меня... Ни у кого таких могил в Кирюшове не будет!

Василиса Корнеевна, пригорюнившись, внимательно смотрела ему в глаза:

— Поздненько ты спохватился...

— Чего поздненько? — обидно вскинулся Перцухов.

— Смотрю на тебя, мой — как две капли воды — такой же щедрый. Помру — прилетит, спохватится, как с горы скатится. Поставит памятник... А при жизни вспомнил

ты про них, этих теток своих, хоть раз послал платок рублевый?

— Нужен был им этот платок... Последнее время жили в достатке.

— Пустая твоя затея, лучше бы и не летал... Поставишь сейчас памятники и не вспомнишь никогда... А так нет-нет да и кольнет сердце: нехороший, мол, я человек.

Перцухов сидел насупившись.

— Быстро вы рассудили — хороший, плохой...

— Какой же ты хороший, если семнадцать лет глаза не показывал?

— Не было возможности, работал, не под дубами же гужевал...

— Ладно уж, вольно тебе говорить, а мне слушать...

Перцухов ушел из кафе не в духе, с растравленным сердцем направился в справочное. Девица в справочном изумленно воззрилась на него: самолет уже выруливал на взлетную полосу.

Переоформив билет, он не пошел в гостиницу, снова потащился в кафе, его влекло к старушке.

— Бывает, не горюй,— сказала ему Василиса Корнеевна. — Можешь переночевать у меня, места всем хватит. Скоро управлюсь, пойдем.

Она постелила Перцухову постель на диванчике, головой к двери. За дверью по коридору, несмотря на поздний час, бесцеремонно топали, разговаривали, дом был барачного типа, с узким коридором, заставленным велосипедами, тумбочками, бочонками... За стеной в соседней квартире шумело какое-то веселое сборище, пели вразброд, играл аккордеон.

Старушка предупредила Перцухова:

— Туалет у нас на улице, смотри... Вот так, помню, приютила я одного, а возле двери у меня в коридоре, как сейчас, кадочка с квашеной капустой стояла, и что ему, родимому, со сна взбрело... В зиму без солки оставил. — Она выключила у себя за занавеской ночничок и, зевнув, из темноты проговорила: — Пустое ты задумал... Живым надо помогать. Чего уж там тыкать деньги в могилы. Семнадцать лет глаз не показывал, прямо не укладывается в голове. Когда у тебя самолет?

— В девять сорок.

— Сунешь ключ под кадочку у двери, я рано убегу на рынок, парной телятинки хочу купить. Присматриваю я здесь за одной старушкой...

Перцухов долго лежал в темноте, слушая под дверью шаги, бестолковые выкрики за стенкой, перебирая в памя-

ти детские годы, нужду, скитания, свою вымершую деревенскую родню, о которой всегда вспоминал неохотно, через силу.

— Разве я спорю,— вполголоса заговорил он в темноту. — Надо было бы собрать да послать им чего-нибудь или самому съездить. Что же делать, если получилось так. Сейчас тоже не поздно. Людей что интересует? Внешняя сторона. Вот сшил я себе форму, приоделся, и мне уже другая цена, смотрят на меня иначе, какое-то уважение ко мне. Да и сам я на людей смотрю так же. Встретился сегодня утром в Магадане с доктором, надо думать, койчем обязан ему, перитонит мне оперировал, в буквальном смысле от смерти оттащил. А я пренебрегаю им и не могу себя сломить, сидит во мне что-то, люблю, чтоб была в человеке солидность, начальственность... Родня у меня вся малограмотная, простая, мне, конечно, обидно за них, а может, и стыжусь их. Не знаю, как и объяснить это вам...

Он умолк, старуха ему не отвечала, она спала. По коридору все шлялись, плакал аккордеон, за тонкой стенкой слышалась какая-то возня, похоже, что кого-то отпихивали, а он настырно лез, домогался:

— Какой нашатырь... Дай, дай я его разок по тыкве...

Перцухов страдал, картины детства, эта бедная старухина комнатенка, за стенкой возня подтачивали его дух, вымывали из-под ног почву, на которой он тщился утвердить себя всю жизнь... Тогда он перенесся мыслями на Кирюшовское кладбище, представив себя среди сооруженных им оград, надгробий, памятников с золотой цепью букв, и это странным образом подействовало на него, как тот в самолете почтительный взгляд мнительной пассажирки.

И он заснул крепко, заснул еще до того, как гульбище иссякло и за стеной наконец угомонились.



—Регина Паллна! — кричит со своего крыльца Дарья Федоровна. — Идите, дам семян! Говорят, не цветы, а загляденье — беленькие да розовые!

— Как называются? — выходит на террасу Регина Павловна и вздергивает на лоб проволочные очки.

— А кто их знает! — отмахивается Дарья Федоровна. — Мне Сыромятниковы дали, идите — вдоль канавы посеете!

— Нет! — качает головой Регина Павловна. — Вдоль канавы у меня запланирован дельфиниум.

И, скрывшись на веранде, она ворчит: «И что за охота ходить по дачам и собирать у всех все подряд! Терпеть не могу такой манеры!»

Регина Павловна в прошлом — учительница географии, Дарья Федоровна — слесарь шестого разряда, а теперь они обе пенсионерки и садоводы. Чуть забрезжит рассвет, они уже открывают парники. У Дарьи Федоровны огород разбит по давним деревенским воспоминаниям: половина его занята картошкой, высокие грядки капусты в четыре ряда, яблони, горох — все чин чином, и между грядками кое-где для забавы — цветы. И сама Дарья Федоровна под стать огороду — плотная, крепкая; ее белый платочек мелькнет то в палисаднике, то, глядишь, уже у соседского колодца. Дарья Федоровна любит походить по соседям, посмотреть, что и как у кого делается, кто чем борется с долгоносиком и с мучнистой росой, напавшей на смородину.

У Регины Павловны принципиально иной подход. На веранде у нее стоит стол, весь заваленный садоводческой литературой, и вечером, покончив с прополкой и поливом, Регина Павловна зажигает керосиновую лампу и усаживается конспектировать. Она всю жизнь живет в городе, зато из книжек теперь очень хорошо знает, как мульчировать

малину и когда подкармливать почву суперфосфатом. Садик у Регины Павловны маленький, зато повсюду цветы, и есть такие диковинные растения, как актинидия и лимонник.

Взаимоотношения двух садоводов — непростые. Не успеет Дарья Федоровна заметить плывущую над вишенными зарослями панаму, не успеет заслышать лязганье колес, она сразу смекает, в чем тут дело, хватает ведро и задами, будто ненароком, выходит на дорогу. Там уже, склонившись, собирает что-то на тележку Регина Павловна.

— Ох, навоз-то какой хороший! — удивленно протянет Дарья Федоровна. — Видно, стадо только прошло! И все-то вы, Паллна, примечаете!

— Так и вы, я вижу, тоже не зевали! — поджимает губы первооткрывательница.

— Да уж где мне — проходила мимо... — смиренно отвечает Дарья Федоровна, ловко орудуя совком. — И вот пожалуйста, нате вам!

Регина Павловна хмыкает, губы ее превращаются в ниточку, но коровьих лепешек много, соседки доверху наполняют и ведро, и тележку и идут назад, уже мирно беседуя.

— Удобряют малину ранней осенью,— разъясняет Регина Павловна. — Молодые же побеги укрепляют кольями и обвязывают шпагатом.

Дарья Федоровна помалкивает, слушая такую премудрость, но, приблизившись к соседкиному огороду, вдруг задерживается и будто ненароком роняет:

— А малины-то у вас, Паллна, нынче немного... ой, да совсем даже немного... У меня, конечно, тоже негусто, но шесть литров все ж таки наварила!

В глазах ее лукавинка: «Вот, мол, мы и без книжек всяких урожаи собираем!», и Регина Павловна, громыхая телегой, сворачивает к себе и на веранде бурчит:

— Да где уж там шесть — трех от силы не будет! Подумать только, до чего хвастливая, завистливая женщина!

По пятницам они обе моют полы и ставят на скатерти вазы с цветами. В этот день работа у них не спорится, они то и дело выходят на дорогу — ждут своих. Прикрывшись ладонями от последних ярких лучей укатывающегося за болото солнца, они наперебой доказывают друг другу, что дети у них чрезвычайно занятые: у Дарьи Федоровны сын — врач, а у Регины Павловны дочка — концертмейстер.

Вдруг из-за поворота показывается светло-голубой «Запорожец», и Дарья Федоровна цепенеет, всплескивает руками и бежит навстречу перекатывающемуся по ухабам

автомобильчику. Регина Павловна любезно здоровается с приехавшими и продолжает упорно стоять одна, пока наконец за тем же поворотом не покажется темно-зеленый «Москвич». Тогда она охает, срывает с головы панаму и машет ею; следуют женские сбивчивые возгласы, скачущие туда-сюда разговоры, в которых не принимает участия зять, флегматично таскающий корзинки с продуктами.

На следующее утро, боясь разбудить гостей, Регина Павловна лежит, не вставая, до десяти и прислушивается к вжиканью садовых ножниц в огороде у Дарьи Федоровны.

— Ну надо же! — досадуя, делится она потом с дочкой. — Уж и в субботу не отдыхает, а между тем — высокое давление! Конечно, обработать такую плантацию... Сын-то не очень помогает!

— Да и мы тебе совсем не помогаем, мама! — сокрушенно вздыхает дочка, поедая клубнику.

— Тебе нельзя портить руки! — уверенно парирует Регина Павловна.— Да и что там особенного делать на моем пятачке?

Тем не менее дочка берет ведерко и идет обрезать клубничные усы, а мужа заставляет чинить верандную крышу.

Сын Дарьи Федоровны ушел с семьей на озеро, и она старается не попадаться на глаза гордо дефилирующей между работающими детьми соседке.

— Ой ты господи! — с презрением шепчет Дарья Федоровна, поглядывая из-под занавески, как вытирает пот со лба концертмейстерша. — Уже и уморилась! Не смешили бы лучше людей!

После сытного дачного обеда дочка Регины Павловны, глядя в сторону, вдруг, как бы невзначай, бросает:

— Знаешь, мам, нас сегодня в гости звали. Мы поедем, а?

— Что ж... — растерянно разводит руками Регина Павловна. — Если обещали, то конечно...

Проводив их до дороги, она возвращается и первое, что видит,— стоящую на крыльце Дарью Федоровну.

— Раненько что-то ваши, раненько! — с ехидством восклицает та, а на заднем плане вернувшийся с озера сын колет дрова.

— Да билеты у дочки на поезд! — сумрачно врет Регина Павловна, запирается у себя и принимается ожесточенно конспектировать «Справочник садовода».

Но сын Дарьи Федоровны, наколов дрова и неприкаянно пошатавшись немного по огороду, вдруг тоже внезапно собирается и уезжает. И, увидев из-за шторы возвраща-

ющуюся с дороги, пригорюнившуюся соседку, Регина Павловна решает, что уподобляться ей и спрашивать: «А чего же ваши на завтра не остались?» — недостойно.

И, вдохновленная своим великодушием, она открывает дверь и кричит:

— Так что там за цветы-то вы мне, Дарья Федоровна, предлагали?

Несколько секунд соседняя дача молчит, а потом, будто бы с опаской, из-за двери появляется Дарья Федоровна и в нерешительности начинает:

— Белые такие да розовые — плохо вот, не помню, как называются!

— Ну-ка, ну-ка? — надевает очки Регина Павловна, направляясь смотреть семена, и через несколько минут они уже сидят рядышком на крыльце, и Дарья Федоровна, словно оправдываясь, уверяет, что у сына завтра операция, а Регина Павловна, понимающе кивая, расписывает завтрашний дочкин гастрольный концерт. Обсудив детей, они некоторое время молча наблюдают за вьющимися вокруг лампы мотыльками, размышляя каждая о своей городской жизни. Дарья Федоровна плохо ладит с невесткой, но думает, что лучше все-таки до белых мух сидеть на даче, чем разменивать квартиру и насовсем бросать сына на эту недотепу. Регина Павловна тоже сокрушается про себя, что некому сейчас там, в городе, налаживать питание, что дочь — тощая и что, кроме матери, никого это не волнует. Но, растратив обиду на зятя, Регина Павловна все же сознает, что не только его, но и дочку тоже вовсе не тяготит летнее раздельное с ней житье и соскучившаяся дочка в дни приездов внимательна, ласкова и совсем не та, что бывает в городе. И, встряхнув головой, Регина Павловна говорит, что в городе сейчас жара, нечем дышать и уморят очереди. Дарья Федоровна, будто давно дожидалась этих слов, поспешно вторит, что в городе не пойдешь на грядку, не сорвешь клубничку, и они ругают город и ласкают взглядами свои освещенные луной владения.

Такие дни — лучшие в их дружбе, они допоздна сидят у керосиновой лампы и играют в дурака. Потом Дарья Федоровна провожает уносящую неведомые семена соседку, а та думает, что завтра, пожалуй, отдарит луковицами тюльпана.

А назавтра Дарья Федоровна тыкает редкостные луковицы где попало, в капусту, и Регина Павловна ужасается, бурчит про себя на веранде и опять норовит незаметно ускользнуть за навозом.

ВНИЗ ПО РЕКЕ

Николай Шумаков

повесть

I

Громов шел по улице, ведя лошадь на поводу. Странно ему было, что нигде ни души, в окнах ни огонька. А уже солнце зашло, в долине сгущались сумерки, но небо было светлым, горела заря. Над сопками в жидком золотистом свете висели легкие облака с оплавленными краями. Гаснущий вечер и безлюдность странно действовали на Громова, представлялось, будто попал он в вымершее село. «Года через три здесь точно никого не будет,— подумал он. — А сейчас-то куда все подевались? И даже возле клуба никого».

Из переулка появился невысокий парень в тельняшке. Шагал он не торопясь, вразвалку. «Вот и первый местный житель». Громов чуть ли не обрадовался ему. Почти весь день он ехал на лошади, и вынужденное одиночество порядком надоело.

— Здоро́во! — сказал парень сиплым голосом и остановился. Бесцеремонно оглядел Громова и наигранно-строго спросил: — Зачем тут? Почему разрешения не спрашиваешь? Ты хоть по виду и начальник, а хозяин здесь я!

— Да кто ты такой? — удивился Громов, глядя на чудака сверху вниз.

— Я? Лешка Чупров! — И, заметив, что имя не произвело на Громова никакого впечатления, многозначительно пообещал: — Ты еще обо мне услышишь!

Громов пожал плечами и пошел дальше. «Психованный какой-то. Здешняя шпана, что ли?» Но, впрочем, тут же и забыл о нем.

Возле дома управляющего отделением отворил калитку из кривых неошкуренных жердей. И здесь в окнах не было огня. «Что это они без света сидят? — снова удивился Громов и наконец уяснил причину: — Тьфу ты, ведь летом дизель не работает». Вошел в темные сени, постучал в дверь ладонью.

— Войдите,— глухо послышался женский голос.

Запнувшись о порог, пригнув голову, Громов вошел в кухню. У печки стояла жена Стрельцова и настороженно смотрела на вошедшего. Разглядев, как будто обрадовалась:

— А, это вы, Дмитрий Яковлевич! Здравствуйте. Кто бы это, думаю... Иван, хватит тебе валяться, встречай!

Вышел Стрельцов, скрипя половицами,— высокий, тяжелый и сильный, должно быть. Протянул ручищу, вяло пожал. Вид заспанный, помятый, рубаха расстегнута. Виновато сказал:

— А мы вас завтра ждали... Хорошо, что сегодня приехали... Садитесь, пожалуйста...

Такое безразличное выражение у него было, что Громову стало ясно: все равно ему — сегодня, завтра ли он бы приехал, а лучше бы, наверное, и вовсе не появлялся, не беспокоил. Сдал мужик, крепко сдал...

Дмитрий Яковлевич помнил время, когда Стрельцов голос имел уверенный, двигался энергично, держался независимо. Не так давно это было, года полтора назад. Заправлял тогда Иван Иванович рыбкоопом в большом поселке на берегу моря, пользовался почетом и влиянием. Но случилась неприятность — то ли сам соблазнился, то ли по доверчивости влип. В торговле нельзя стало работать, направили руководить отделением колхоза «Новый путь», сюда, в Кахтану. Громов не возражал против его кандидатуры: участок не очень важный и неопытный в хозяйстве Стрельцов вполне мог справиться. И он более или менее благополучно вел дела. Возможно, и без него они бы шли, но кто будет это выяснять? Зачастую ведь ошибочно кажется, будто убери того или иного человека с должности, и ничего не изменится.

— Сможем, Иван Иванович, завтра утром провести собрание? — спросил Громов после короткого молчания.

— Конечно. Я сейчас извещу сенокосчиков, доярок, механизаторов.

Стрельцов поднялся с излишней готовностью, неприятно удивившей Громова. «Что это он таким угодливым стал? И на табуретке сидел, как на сковороде...»

— Да,— вспомнил Громов. — Пригласи, пожалуйста, Сальникова, надо с ним поговорить.

Стрельцов ушел.

— Как вы здесь живете? — спросил Громов, чтобы не молчать, а сам припоминал имя стрельцовской жены: кажется, Валя.

Она вздохнула.

— Хорошо, Дмитрий Яковлевич.

«Понятно,— догадался Громов. — Скучно ей здесь. Баба молодая. Выйти некуда». На Вале дорогая шерстяная кофта, а юбка помята. Не для кого здесь наряжаться, следить за собой... И на кухне беспорядок — помойный таз полон до краев, грязная посуда на столе, возле печки неподметенный дровяной мусор. «Моя бы такого не допустила! — довольно отметил Громов. — А времени у нее всего ничего». Жена его из дому уходила чуть свет, возвращалась вечером — надо кипу тетрадей проверить, управиться с домашними делами да к завтрашним урокам приготовиться. И все же успевала дом держать в чистоте, и с сыном позаниматься, и мужа выслушать, если накипело у него на душе. Всякое бывает в председательской жизни.

— Вы меня извините, Дмитрий Яковлевич,— нерешительно сказала Валя.— Может быть, пройдете в комнату? А я уж тут... приготовлю что-нибудь.

— Я с удовольствием,— выпалил Громов и несколько даже растерялся: не поймет ли эти слова так, будто ему с ней скучно.

Валя зажгла в комнате две свечи. Окно сразу почернело, отразило желтые язычки пламени. «Глухо-то здесь как, тихо,— подумалось Громову,— совсем жизнь не чувствуется». По городскому шуму он не скучал, но здешняя какая-то нежилая тишина его немного угнетала. А в таких ли местах приходилось ему бывать! Ночевал в затерянном чуме, в охотничьей избушке, в брезентовой палатке за сотню километров от ближайшего села. А тут поди же ты, тишина не нравится. «Стареть начал»,— подумал и усмехнулся: еще и сорока не исполнилось.

* * *

Хлопнула дверь на кухне, тяжело прошагал Стрельцов.

— Оповестил, Иван Иванович? — излишне громко спросил Дмитрий Яковлевич, словно хотел голосом прогнать тишину.

— Все в курсе. Завтра к шести утра соберутся.

— Сальникова видел?

— Скоро придет. Ну, Дмитрий Яковлевич, перекусим немного.— Стрельцов заулыбался, оживился.— Вам, наверное, отдыхать надо, целый день ехали...

— Ничего, такая прогулка — отдых.

На столе икра, нарезанный балык, консервированные помидоры, а в центре большая миска с молодой картошкой.

— Ого! — поразился Громов.— Откуда?

— Так, подрыли немного на огороде... Валя старалась, землю удобряла, ну и все такое.

— Да, удивительный наш район,— сказал Громов.— И морозы за сорок, и зима длинная, а картошка родит не хуже, чем на материке. Поставить как следует дело, не только себя — других полностью обеспечим, не надо везти за тысячи километров. Доставка-то в большую копеечку влетает...

«А ведь я вроде бы должен настаивать на такой перспективе,— неожиданно подумал. — Но это в будущем. Сейчас главное — рыба. Задача поставлена четкая и ясная — Камчатка должна добывать столько-то миллионов центнеров рыбы в год. Вот это и надо иметь в виду, остальное — побоку».

— Ну, будем здоровы,— сказал, поднимая рюмку.

Закусили. Громов налегал на картошку.

— Так это правда, Дмитрий Яковлевич, что Кахтану будут переводить в Тигиль и Седанку? — спросил Стрельцов, не поднимая головы, и Громов в его голосе уловил не то недовольство, не то сожаление.

Объяснил, что колхоз переходит на рыболовецкий устав и поэтому второстепенные отрасли будут переданы другим хозяйствам или ликвидируются. Естественно, Кахтана теряет всякое значение, и жители постепенно будут переселены.

— Не хочется, Иван Иванович, в райцентр перебираться? — спросил Громов.

Стрельцов замялся.

— Да нет, я ничего.

— Надоело здесь, Дмитрий Яковлевич,— решительно заявила Валя.— Иван-то охотой развлекается, а мне куда деваться?

«Вот и прямая польза людям от моей деятельности»,— с невольной гордостью подумал Громов и, чтобы пресечь самодовольные мысли, сказал:

— Что-то Сальникова нет. Будет ли?

— Придет, Дмитрий Яковлевич. Он, если что пообещал, сделает.

— Кстати, как он?

— Ничего, ершистый. Требует то одно, то другое. Все о песцах заботится.

— А ты и не рад, что он такой беспокойный? — пошутил Громов.

Стрельцов смутился.

— Да нет. Особо мы с ним не ругаемся. Он же понимает, что не все от меня зависит.

— Хороший он работник,— с чувством произнес Громов.— Если бы все так относились к делу!

«А вот тебя, Иван Иванович, не растормошишь,— подумал с сожалением.— Справляться справляешься, а особой заинтересованности не вижу. Надо будет подумать, куда тебя перебросить».

В дверь постучали.

— Он, наверное,— сказал Стрельцов и крикнул: — Заходи, Кузьмич, заходи!

Громов встал навстречу, протянул руку, внимательно вглядываясь в Сальникова. Очень постарел Семен Кузьмич за то время, что не видел его. Лицо изможденное, глаза запали, жиденькая бороденка придает вид мученика. Росту невысокого, сложением напоминает подростка. Жалость кольнула Громова. «Давно ему пора расстаться со зверофермой. Там и молодому не под силу».

— Может, выпьешь, Семен Кузьмич? — спросил деланно-бодро.— Немного и врачи разрешают, а?

— Немного да в хорошей компании грех не выпить,— пробормотал Сальников, присаживаясь.

Он встревоженно посмотрел на Громова.

— Я тебя вот по какому делу просил зайти,— спокойно сказал Дмитрий Яковлевич.— Как ты уже, наверное, знаешь, нам разрешили перейти на устав рыболовецкой артели. Правление рекомендует ликвидировать звероферму. Как ты на это смотришь?

Сальников вскочил.

— Нельзя, нельзя ликвидировать! Это, это... преступление!

— Успокойся, Семен Кузьмич, давай разберемся,— с досадой сказал Громов.

— Чего тут разбираться! И так понятно: кого-то петух в одно место клюнул! То каждому колхозу ферму навязывали, теперь все под корень!

Громов терпеливо втолковывал:

— Дело в том, Семен Кузьмич, что нам теперь нельзя распылять силы. Чтобы ферму обеспечить кормом, надо держать минимум два сейнера для добычи морского зверя. Представляешь, сколько рыбы недодадим государству! А рыба — это новые дома, клубы, детские сады! И, наконец, высокие заработки.

— Заработки у пришлых людей,— живо возразил Сальников.— Будете рыбаков нанимать в Петропавловске, они-то и в колхозе ни разу не побывают. Смех: за сто

верст от моря колхоз, а рыболовецкий! Рыбу, конечно, не надо кормить. Черпай да черпай, пока всю не выловишь. А песцы жрать просят, ухода требуют. Зато их на золото продают. Колхозу и государству прибыль. По три, по четыре тысячи получали...

— Семен Кузьмич, в прошлом году ферма дала убыток. Приплода, считай, никакого. Песцы вырождаются, шкурки теряют сортность. Да разве это прибыль — три-четыре тысячи! Слезы!

— Все это так, Дмитрий Яковлевич... Что же скрывать? А причина где? Внимания не обращали. Сколько раз предупреждал — отмахивались. Это еще можно поправить... Не поздно. А насчет приплода, сам знаешь, всю зиму провалялся в больнице, поставили нехорошего человека, по три дня зверей не кормил. Да, здоровье меня подвело... Теперь видишь как обернулось.

«Славу ему, что ли, терять не хочется? — подумал Громов.— Передовик, с доски Почета не сходит, в газетах пишут. Справедливо, конечно. Заслужил. Со случайными помощниками многого добился».

Сказал мягко:

— И тебе, Семен Кузьмич, пора отдохнуть. Подберем тебе спокойную должность, предоставим жилье, хочешь—в Тигиле, хочешь — в Седанке. Возможно, и твой дом удастся перевезти.

— Да разве во мне дело! — горестно воскликнул Сальников.— Мне и помирать скоро. Ферму сохраните, пусть другой человек занимается, я в помощники пойду...

— К сожалению, это невозможно,— сдерживая раздражение, сказал Громов.— Дело совсем не в результатах прошлой зимы. Экономисты подсчитали: в наших условиях нерентабельная, бесперспективная отрасль. Да и другие задачи сейчас перед колхозом.

Семен Кузьмич вдруг просительно выкрикнул:

— Оставьте мне хотя бы штук пятьдесят, и через два года я докажу, что дело выгодное.

Прерывая дальнейшее обсуждение, Громов сухо сказал:

— Мы не для экспериментов ферму держим.

Сальников поднялся:

— Умные люди, все умеют! Сегодня влево, завтра вправо, и по-ихнему все правильно. Тысячами разбрасываются, ровно пустыми бумажками. Я на собрании буду против выступать. Колхозники меня поддержат, они никуда не хотят переезжать!

— Конечно, если собрание будет против...— неопределенно сказал Громов, провожая до двери Семена Кузьмича.

— Прямо фанатик зверофермы,— нарушил короткое молчание Стрельцов.— Больше всех меня теребит. Чуть живой, а никак не угомонится.

— Конечно, ему жалко звероферму. Своими руками создавал. Но ничего не поделаешь, жизнь идет вперед... — Громов помолчал.— Спасибо за угощение, пожалуй, пора на покой.

«А ведь сейчас именно такой человек, как Стрельцов, нужен,— подумал Громов.— Если бы Кузьмич на его месте... Какой бы шум поднял, всех бы здесь напрасно взбаламутил».

Громову постелили в горнице. За дверью, в спальне, Стрельцов тихо переговаривался с женой. Громов привык засыпать сразу. Теперь же не спалось. То ли оттого, что на новом месте, то ли разговор с Семеном Кузьмичом взволновал...

Человек он старательный, беспокойный. Но привык судить со своей маленькой колокольни, не видит перспектив. Хотя и требовать от него этого нельзя: не экономист же он, в конце концов! Обиделся, как будто реорганизация делается лично ему и другим людям во вред. Да, не все сразу принимают новое, хоть зачастую выгода от него очевидная.

Громов вспомнил, как он много лет назад убеждал пастухов лечить оленей уколами, делать опрыскивания против оводов. Старики недоверчиво усмехались, но послушно брали лекарства и аппаратуру, а потом оставляли где-нибудь в кустах. Однажды он приехал в бригаду Яйлелькива, который ревностно придерживался старины, даже двух жен умудрился завести. Одна находилась с ним в тундре, другая в селе. Спрашивает Громов, как дела, нет ли больных оленей, помогает ли сульфадимезин. Яйлелькив хитро улыбается, отвечает через молодого пастуха: все, мол, в порядке, хорошо помогает. А наутро заболели «копыткой» два любимых ездовых оленя, без лечения наверняка погибнут. Говорит бригадиру: «Давай препарат». У того, конечно, нет, как Громов и догадывался. Громов достал из сумки ампулы, сделал, что положено, через несколько дней олени выздоровели. Яйлелькив и русский язык вспомнил, упрашивает: дай лекарство, больше никогда не буду выбрасывать. Отказал — у других такое же могло случиться. Ночью старик забрал сумку и ушел. С тех пор продукты на летовку не возьмет, а медикаменты

захватит. Глядя на него, и другие пастухи стали применять новое средство.

Много воспоминаний связано с тундрой, с тем временем, когда Громов — недавний выпускник сельскохозяйственного института — был главным зоотехником колхоза. И в реке тонул, и по двое суток пургу пережидал, и голодал. Приключения эти только в романах хороши, а когда их испытываешь, интересного мало. Хотя вспомнишь иной раз — и тянет назад, хоть из председателей уходи в зоотехники. Но старое время не воротишь. И он — другой, и жизнь изменилась. Да и втянулся в руководящую работу, а помнится, очень страдал, когда его убеждали стать председателем колхоза. Казалось, испортит себе жизнь, если согласится: не его, дескать, дело руководить людьми. Дмитрий Яковлевич усмехнулся, вспомнив, какой был глупый: теперь вон колхоз раза в три больше, а ничего, исправно тянет председательскую лямку, не на последнем счету в районе и области. С переходом на новый устав колхоз экономически еще больше окрепнет, и в этом, конечно, немалая заслуга его, Громова. Так что есть от него польза обществу, не зря занимает место.

Громов с удовольствием вытянулся на мягкой постели. «Эх, развернемся! Дайте только срок!» Кровать плавно покачивалась, перед глазами скользили зеленые блики, временами чудилось, будто все еще через березняк едет на лошади. Он начал засыпать. Резкий стук по оконной раме разбудил его.

С улицы орал чей-то голос:

— Открывай, Стрельцов! Рано еще спать! Посидим поговорим!

— Уходи отсюда! — страдальчески отозвался Иван Иванович.— Председатель у меня.

— Вот я с ним и хочу потолковать! Открывай! А то по окнам шарахну — запрыгаете с председателем!

— Кто такой? — громко спросил Дмитрий Яковлевич.— Что ему надо?

Растерянный Стрельцов вошел в горницу.

— Чупров это... Никому не дает прохода. Недавно вернулся из заключения.

— Сейчас я его утихомирю,— решительно сказал Громов.

— Не надо, Дмитрий Яковлевич,— упрашивал Стрельцов.— Может, у него в самом деле ружье. Кто знает, что у него на уме?

— Нет, я с ним поговорю...— Громов торопливо одевался.— Я спрошу, что ему надо, что он по ночам бродит?

— Водки ему надо... Он думает, что у меня водка есть.

Громов вышел на крыльцо. Обдало ночной волнующей свежестью. В сумраке белели пятна тумана, будто кто плеснул молоком. Громов на какое-то мгновение забыл, зачем он здесь, но из-за угла выскочил человек, в котором он узнал нелепого парня, встреченного на улице.

— А, начальник...— покровительственно произнес тот.— Ну давай еще раз знакомиться? Бери лапу. Бери, бери, раз протягивает Лешка Чупров!

Рука его повисла в воздухе.

— Ступай домой! — строго приказал Громов.

— Мне с тобой покалякать надо...

— Если что надо, завтра приходи.

Чупров потянулся к ружью. Громов напрягся, готовый прыгнуть. Но Чупров поправил ремень и продолжал:

— Говорят, ты приехал, чтобы село изничтожить? Ты мне поручи, я все по бревнышку разнесу. Ненавижу!

— Обойдемся без тебя,— холодно ответил Громов.— Топай домой. Отдыхай и нам не мешай. Или я с тобой буду по-другому разговаривать.

Чупров медленно, будто это движение требовало большого усилия, повернулся.

— Ладно, уговорил, пойду.— Обернувшись, он спокойно сказал Стрельцову, стоявшему у двери:— Привет, Иван Иванович. И спокойной ночи.

— Какой-то шут гороховый! — проворчал Громов.— Наглый тип! И что ты его боишься, Иван Иванович? Он же тебе едва до плеча достает.

— Я не боюсь, связываться не хочется.

— Дождетесь, пока впрямь что-нибудь серьезное сотворит! — с досадой сказал Громов.— Ну ладно, пойдем спать. А этого в Тигиль отправь, в милицию.

II

Семен Кузьмич проснулся чуть свет — замучил кашель, да и стариковская бессонница не давала долго находиться в забытьи. На душе было скверно, не хотелось вставать, шевелиться. Каждый новый день для него начинался трудно, с желания исчезнуть, не думать, не мучиться. Но это бывало только первым ощущением. Потом, через минуту-другую, он как бы мысленно втягивался в жизнь, в нем пробуждалась привычка к существованию, деятельности. Сегодня тяжелей было, чем всегда: вчерашний разговор с Громовым нарушил обыденные заботы, которые служили

ему твердой опорой. Чувство своей ненужности расслабляло, лишало последних сил.

«Эх-хе-хе, что теперь будет? — вздохнул Сальников.— И Толька, паршивец, не пишет». Вспомнив сына, служившего в армии, Семен Кузьмич осердился на самого себя: «Как это никому я не нужен! А Толька разве чужой человек?»

Он закурил дешевую сигарету, серый дым поплыл по комнате. Семен Кузьмич чуть взбодрился, начал прикидывать, как ему на собрании речь держать. Вчера допоздна сидел, занимался подсчетами — цифры получились убедительные, но поймут ли односельчане, задумаются ли? Сейчас только от них зависит, быть ли Кахтане и звероферме.

Мерно качался маятник ходиков, звуки громко отдавались от стен, как в нежилом помещении. На жестяном циферблате изображена лукавомордая кошечка, которая безостановочно водит глазами туда-сюда, будто свысока насмехаясь. Лет пятнадцать назад жена купила эти ходики в райцентре, и с тех пор они исправно показывают время. Забарахлят — прочистишь нехитрый механизм, смажешь, и вновь отсчитывают минуты, часы, дни. Нет им износу.

Сальников бросил окурок в консервную банку, встал, натянул штаны. На кухне ударил несколько раз по соску умывальника, плеснул в лицо воды. Заржавела посудина, не сразу поддается. Вообще все в хозяйстве запущено. И времени не хватает, и желания прибираться особого нет — подумаешь, к чему порядок, для кого, и руки опускаются.

Сейчас бы горячего поесть, чайку крепкого выпить, да не станешь же печку из-за такого пустяка растапливать! Вскрыл банку тушенки, неохотно пожевал, отрешенно глядя на фикус, стоявший в жестяном ящике из-под масла. Толстые листья покрыты давнишней пылью, и Семену Кузьмичу показалось вдруг, что растению трудно дышать, что оно укоряет его за невнимательность. Остро вспомнилось Кузьмичу, что нет жены и никогда не будет... Аня выращивала зелень, чтобы ему больше кислорода было. Для него как-то купила целый ящик масла, с медом, молоком разводила, кусками заставляла есть. Дескать, полезно, легкие у него слабые. И правда, почти не хворал тогда.

Он взял тряпку, смочил ее, начал протирать листья, сразу жирно заблестевшие. Однако тревога не дала закончить дело. «С мужиками надо загодя потолковать, мало ли что...» — думал он, поспешно укладывая в старый

женин платок продукты. Нет резона среди дня заходить домой, время рабочее терять, да и лучше у костра обедать.

От дома до клуба — лишь улицу наискосок перейти. Утро было свежее, над тундрой поднимался туман, блестела роса на траве, слышно было, как внизу шумит перекатами река. Снова день выдастся жарким и ясным.

На крыльце сидело уже несколько человек, и поодаль расположилась кучка коряков. Кузьмич поздоровался, закурил. Мужики были в основном из бригады косцов — одежда местами выгорела, словно мукой пересыпана. Рассуждали о погоде, о заготовке сена. Сальников выжидал, чтобы повернуть разговор на серьезное. Вклинившись в паузу, сказал:

— Благодать тут у нас, а не место. Где еще такое найдешь? Река чистая, трава выше пояса, лес хороший рядом. Переселят в Седанку, там что? Пустынь, мокрая тундра да сопки лысые. Вот я и говорю, не ликвидировать звероферму, а расширять надо. Тогда село не будут рушить.

— Оно так,— неопределенно согласился пожилой мужик Чикишев, расчесывая пятерней жесткие волосы.— Да сверху виднее. Мы тут что можем сказать? Эх, отзаседать бы скорее, да и косить!

Семен Кузьмич возмутился:

— Мир — большая сила, против него не попрешь. И Громов сказал: «Если собрание будет против...» Не чужой дядя должен решать, а мы сами, нам ведь жить!

Чикишев насмешливо посмотрел на него:

— И чего волнуешься? Нам как скажут, так и сделаем. У кого дом хороший, так не бойся, перевезут. Не бросать же добро. Хуже нигде не будет, шибко уж заработки стали низкими.

— Эх, народ, народ! — сокрушенно пробормотал Кузьмич и решил помалкивать пока, не растрачивать запал на каждого человека в отдельности.

Постепенно собралось человек сорок колхозников. Семен Кузьмич бродил среди людей, пытливо всматривался в лица, прислушивался к разговорам. О собрании, о судьбе села никто не заикался, беседовали о своих обычных делах. Уныние все больше и больше охватывало Сальникова.

Открыли дверь клуба. Некоторые сунулись внутрь. Большинство осталось на улице. Не хотелось от солнышка и утренней свежести забираться в нежилую сырость и полумрак. Подошли Громов и Стрельцов. Громов начал обходить людей, здороваясь с каждым за руку, а Стрельцов громким голосом пригласил:

— Заходите, товарищи, пора начинать!

Сальников сел с краю, в третьем ряду. Со свету с трудом различал ряды сколоченных стульев, овальные портреты по бокам сцены, над ней полоску кумача. Иван Иванович Стрельцов оборудовал сцену для собрания — притащил стол под красным сукном, пододвинул трибуну, водрузил на нее пустой графин. В кирзовых сапогах, полувоенной гимнастерке, он двигался нерасторопно, стесненно, и Семену Кузьмичу жалко стало его, солидного, с глубокими залысинами, занимающегося, как мальчик на побегушках, несерьезным делом. Одежду какую-то нелепую натянул, будто в голодный год. Перед Громовым прибедняется, что ли? Впрочем, не одеждой и не тем, что таскает клубную мебель, вызывал он жалостное сочувствие Сальникова. Какой-то несамостоятельный он был, затюканный, вроде пацана, который изо всех сил пытается угодить старшим. Его еще и не просят ни о чем, а он уже готов выполнить указание. Если Иван Иванович и не согласен с Громовым, то или промолчит, или выскажется «за». Нет на него надежды. А вдруг прорвется в нем решительность? Должен же человек иметь свою твердую основу? Сожалел ведь как-то при Кузьмиче, что, наверное, будут Кахтану переселять. О селе давно слухи ходили, а насчет фермы помалкивали.

Как водится, избрали президиум. Стрельцов торжественно сказал:

— Открываем собрание! Слово предоставляется председателю объединенного колхоза «Новый путь» товарищу Дмитрию Яковлевичу Громову!

— Может быть, товарищи колхозники, сначала выслушаем отчет управляющего отделением, потом уж я проинформирую? Согласны?

Собрание загудело. Стрельцов неловко взял папку, протопал к трибуне, не распрямляясь до конца, словно боясь задеть потолок. Откашлялся, вытер вспотевшее лицо платком и начал говорить. Затяжным дождем шелестели стертые слова, скучные цифры. Зал терпеливо сидел: так положено, никуда не денешься. На лице Ивана Ивановича застыло безразлично-страдальческое выражение.

В клубе, хоть отодвинули шторы, пасмурно и сыро. Семен Кузьмич зябко съежился, замер в дремотном оцепенении. Сейчас бы на ферму, к костру, да чтобы все было по-старому, без нервотрепных нововведений. И ничего, казалось, больше сейчас и не надо, жил бы и довольным себя чувствовал. Не о сказочном он мечтал, но и это уже недоступно. «Не пропаду, не пропаду,— шептал про себя Кузьмич.— Будь что будет. Все едино!»

Наконец Стрельцов закруглился. С полминуты растерянно смотрел в зал, словно не веря концу отчета, затем поспешно собрал бумажки, сел за стол.

Поднялся Громов. Он ровным, уверенным голосом рассказал о преимуществах, связанных с переходом на рыболовецкий устав. Мельком упомянул, что отделение постепенно будет сокращаться, затем предложил обсудить доклад Стрельцова.

Семен Кузьмич насторожился. Как-то решат свою участь колхозники? Стрельцов дважды тщетно приглашал желающих высказаться. Наконец решилась председательша сельсовета. Начала с того, что селу необходим еще один колодец, поговорила о необходимости больше завозить в рыбкооп товаров, вновь вернулась к настоятельной просьбе вырыть новый колодец. Затем тракторист Савичев держал путаную речь о запчастях. «Не то, совсем не то говорят! — злился Семен Кузьмич. — Ровно несмышленые дети. Как же село, как же песцы?»

— Кто еще хочет сказать? — спросил Стрельцов, оглядывая зал.

Кузьмич вскочил, крепко стиснув в руке бумажки с расчетами.

— Я!

— Может, Семен Кузьмич, на сцену пройдешь?

— Можно и на сцену,— пробормотал Сальников.

Стал рядом с трибуной, начал в запальчивости:

— Нельзя ферму ликвидировать! Это бесхозяйственность! И село не надо уничтожать!

«Не туда меня понесло, не туда! Надо спокойно, доказательно». Разложил листки, цифры начал называть, расходы, доходы. Сколько корму на песца надо, и какую он прибыль дает. Напирал на то, что мех — это золото, которое будет из-за рубежа притекать. Ничего, дескать, буржуям не жалко, лишь бы своих баб разодеть. Убедительно вроде бы получилось, как у заправского экономиста. Громов сказал:

— Оставь, Семен Кузьмич, мне свои заметки, специалистам покажу.

Сальников возликовал: пронял-таки председателя цифирью! И пустился в критику.

— Когда был самостоятельный колхоз, дела в порядке содержались. А сейчас пасынки. Сколько раз у нас Громов бывал? Сегодня второй раз за полтора года! Всё о рыбе мечтает, которая плавает в море-океане. — Дмитрий Яковлевич согласно и покаянно кивал головой, записывая что-то в блокнот. — Со Стрельцова, может, и спрашивать

особо нельзя. Корм, скажем, надо подвезти — трактор на ремонте. Лопату достать — и то проблема. Вот и крутись тут.

Семен Кузьмич говорил, говорил, вдруг услышал, как в зале скрипят стульями, пересмеиваются, и понял, что его слова не встречают ни поддержки, ни сопротивления. Замолк на полуслове и, уже спустившись по лестничке, произнес нелепые слова:

— Всем нам один конец будет, а песцам, значит, уже пришел!

Он рассеянно слушал объяснения Громова: раз колхозники не поддержали, нечего настаивать. Все решено и подписано, как говорится. Сиди и не рыпайся. «Эх, народ, народ! — вновь с горечью подумал Кузьмич. — Ничем-то его не прошибешь!»

Выбрали представителей на общеколхозное собрание, которое примет окончательное решение. Громов предложил включить в их число и Семена Кузьмича. Единодушно подняли руки, и собрание на этом закончилось. Все разом заговорили, задвигали стульями, заспешили к дверям. Сальников вышел со всеми. Не хотелось ему оставаться одному. Хоть бы поговорить с кем о том о сём, без особого смысла. Но время не то — у каждого имеется дело.

— Опять пойдешь, Кузьмич, своих зверят воспитывать? — пошутил Чикишев.

— Опять,— уныло подтвердил Сальников.

— Айда с нами! Дадим самую большую косу.

Кузьмич хотел шуткой ответить, однако не нашелся, серьезно сказал:

— Нельзя их без надзора оставлять...

На высоком берегу он замешкался. С завистью следил, как на длинных узких батах косцы переправляются на другую сторону реки. Будь возможность, увязался бы за ними, косил полузасохшую траву, обедал бы вместе со всеми возле расстеленных газет. Жизненные бы истории рассказывали, шутили, смеялись.

Цепочка людей скрылась за прибрежным ольховником. Семен Кузьмич тяжко вздохнул: «Бобыль, он и есть бобыль. Как гнилой пень. Ни себе толку, ни другим».

III

Дмитрий Яковлевич был доволен, что собрание прошло гладко, хотя другого и не ожидал. Сделан маленький шажок к новому качеству хозяйства, по существу ничего не

решающий, но если бы колхозники вдруг запротестовали, могли возникнуть затруднения: кое-кто из влиятельных должностных лиц был против того, чтобы колхоз занимался добычей рыбы, а не сельским хозяйством. Правы они или нет, рассудит будущее, но сейчас от Камчатки страна ждет рыбу, которой она и славится, а картошкой, овощами никого не удивишь, за их отсутствие никто не осудит. За выполнение же планов добычи рыбы область выходит в передовые, руководителей хвалят, рыбаков награждают орденами и медалями. Овощи-то можно и с материка привезти, а рыбу негде взять. Потому и удалось сравнительно легко добиться разрешения на новый устав.

— Хороший все-таки у нас народ,— сказал Громов. — Сознательный. Любое мероприятие поддержит.

— Это верно,— безразлично согласился Стрельцов.

Они позавтракали, и теперь Иван Иванович курил, а Громов прилег после долгих уговоров.

— Я все хочу у тебя откровенно спросить,— благодушно сказал Громов. — Ты что, боишься должность потерять? Как-то ты не так, я бы сказал, держишься, что-то ты... недовольный какой-то. Я тебе прямо скажу: не опасайся, толковому человеку всегда в колхозе найдется место. Обиженным не будешь.

— Да не боюсь я! — Стрельцов шумно выдохнул воздух. — Я и шофером могу работать, и на тракторе. Куда угодно с удовольствием возьмут. Я, Дмитрий Яковлевич, не в своей тарелке себя чувствую. Болтаюсь, а ни к чему душа не лежит. Ничего мне вроде не надо, а спокоя нет. И чего хочу, не знаю.

«Эк его подкосило, как должности лишили,— сочувственно подумал Громов. — Конечно, чувствует себя неполноценным человеком. Сними меня — тоже не будешь знать, куда приткнуться. Э, да я-то сижу крепко! А Стрельцов сам виноват. В любом случае...»

— Извини, Иван Иванович, если вмешался не в свое дело... — Громов легко поднялся с кровати. — Пойдем посмотрим хозяйство, и мне пора двигаться, надо домой засветло попасть.

— С чего начнем?

— Посмотрим животноводческую ферму, ну и то, что рядом. Потом Кузьмича проведаем.

Обошли хозяйство. И всюду Громов с сожалением замечал следы запущенности — на конюшне давно не убирался навоз, в коровнике стекла выбиты. На бревнах стоит разутый трактор, обнаженный двигатель забрызган застарелой грязью. И всюду безлюдье. Совсем захирело отде-

ление... «Мое упущение, мое,— виновато думал Дмитрий Яковлевич.— Не обращал должного внимания».

— Да, Иван Иванович,— сказал осуждающе.— Порядочный ты беспорядок развел.

Стрельцов вздохнул.

— До всего не доходят руки, людей мало.

— Не это главное. Старания не вижу, стремления.

— Так все равно, Дмитрий Яковлевич, и селу, и отделению конец.

— Ну, когда это еще будет... Ликвидировать будем постепенно, в течение нескольких лет. Так что брось упаднические настроения.

Иван Иванович промолчал. Громов взглянул на него с легким презрением — такому здоровому мужику на медведя с рогатиной в одиночку ходить, а он мелкого хулигана боится, все вздыхает, как барышня. «Тюфяк ты, Иван Иванович, и как тебя жена терпит? «Не знаю, чего хочу» — надо же до такого дожить! Работать, действовать надо, а не рассусоливать!»

У самого Дмитрия Яковлевича разве что в совсем зеленой молодости были подобные настроения, а потом всегда четко знал, чего следует добиваться. Иной раз цели были ошибочными, но были же! Сразу же после института намеревался отработать на Камчатке года три, поступить в аспирантуру, заниматься наукой. Но беспочвенные намерения сами собой заглохли, потому что убедился: не по его характеру терпеливо сидеть за опытами, ожидая неизвестно чего. Живая деятельность — вот что больше ему подходит. Некогда задумываться над отвлеченными вопросами «что, зачем да почему»,— столько дел навалится, что иной раз и пообедать не хватает времени. Всем он нужен, без него никак не обойтись.

— Ладно, Иван Иванович,— примирительно сказал Громов.— Что упущено, то упущено. Надеюсь, извлечешь нужный урок. А сейчас на звероферму — и мне пора.

Шли по длинной улице над рекой.

— Жалко все-таки село,— вдруг сказал Стрельцов.— Может, Дмитрий Яковлевич, еще по-другому повернется, не будут переселять?

Громов досадливо поморщился.

— Решено уже твердо. Если все жалеть, вперед ни на шаг не продвинешься. Материальные затраты окупятся со временем. И раньше на Камчатке сёла с места на место переносили.

Взять хотя бы ту же Кахтану. Древнее село. Первые русские землепроходцы срубили на берегу острожек.

В разные времена приходили сюда люди, ладили домишки из худого местного леса. Уходили — строения разрушались. Новые люди ставили дома на новом месте... Еще лет пятнадцать назад торчали здесь три-четыре домика да десяток меховых яранг. Когда-нибудь в далеком будущем, возможно, снова возникнет село.

Дома в основном были добротные, на многих бревна еще не потемнели от времени. Шагая по улице, Громов прикидывал, какой сруб при перевозке развалится, какой выдержит. «А ведь можно реку использовать для транспортировки,— вдруг пришло в голову.— В полноводье можно большие плоты гнать!»

Пока добрались до фермы, взопрели под жарким солнцем. Громов пожалел, что не оседлали лошадей, показалось неудобным перед людьми обозревать хозяйство с лошадиной спины. Какая ерунда! Из-за ненужных церемоний потерял столько времени.

Территория фермы обнесена сеточным забором, но не полностью, большие участки открыты. Должно быть, в свое время не хватило материалов. Издалека клетки, поднятые над землей, как избушки на курьих ножках, игрушечные строения. Громов с любопытством их оглядывал — всего один раз бывал здесь, да и то зимой, когда все было заметено снегом. Пока шли меж рядов, зверьки кидались на сетки, цеплялись когтями, злобно смотрели глазами-бусинками.

— Врага, что ли, чувствуют? — пошутил Громов.

Стрельцов серьезно ответил:

— Они только Кузьмича признают.

Сальникова нашли возле костра.

— Ну, показывай свое хозяйство! — бодро сказал Громов.

— Что уж тут смотреть,— хмуро ответил Кузьмич.— Пойдемте.

Недостроенный дом показал, сломанную мясорубку, вдоль клеток провел.

— Какие меры можно принять, чтобы сдать шкурки первыми сортами?

— Какие меры? Кормить хорошо надо. Помощников мне дайте. Звери-то не люди, за ними уход нужен.

— Иван Иванович,— обратился Громов.— Нужно подобрать двух-трех человек.

— Хотя бы одного,— вмешался Кузьмич.— Не до жиру.

— Нет людей,— Стрельников развел руками.— Да никто и не согласится...

— Ты прикажи.

— Их заставишь...

Громов задумался.

— Так или иначе, люди нужны, и ты должен обеспечить. А вот что я думаю. Нельзя ли привлечь этого парня, который бегал вокруг твоего дома? Чупрова... Он где работает?

— Зимой в кочегарке, а сейчас бичует. Не согласится он. Да и как ему платить, не в колхоз же его принимать?

— Это уж моя забота. Надо попробовать. Я сам с ним поговорю.

— Давайте хоть этого обормота. Авось перед стариком совестно станет, будет работать.

На прощание Громов сказал как можно мягче:

— Поверь, Семен Кузьмич, все подсчитано, взвешено. Ведь не с кондачка решили. И еще раз повторяю: мы тебе подберем хорошее дело.

Сальников пробормотал:

— Ладно, чему быть, того не миновать.

— Ну, желаю успеха. Если что понадобится, не слезай со Стрельцова, пока не сделает. Да и мне звони.

— До солнца высоко...— начал было Кузьмич, но осекся.— Счастливо доехать.

Громов пошел не оглядываясь. Может, не стоило заходить на ферму, бередить Кузьмича? Э, не до деликатностей, когда нужно ломать старое. Скорее Сальников обиделся бы, если б не заглянул к нему.

— Знаешь, Иван Иванович, где этот Чупров живет?

— У школьной уборщицы. Только зря это, Дмитрий Яковлевич, не согласится он.

— Попытка, как говорится, не пытка. Попробуем уговорить.

Громов был в бодром настроении, и казалось ему: получится все, за что ни возьмется. Невольно сравнил себя с Кузьмичом. Хороший работник, ничего не скажешь, заслуживает всякого поощрения. Куда ни поставь, всюду от него будет польза. А ведь неудачник, если разобраться. Жизнь прожил тускло, ничего радостного не видел. Работал и работал, да все по мелочам — ни другим, ни себе большой пользы не было. На старости лет в зверином дерьме ковыряется. Надо ему подобрать спокойную работу, пусть отдохнет. Не понимает, чудак человек, что ликвидация фермы для него благо.

Чупров валялся в ботинках на кровати. Пол устлан облезлыми оленьими шкурами, воздух густой от табачного дыма, затхлый. При появлении Громова и Стрельцова по-

жилая женщина-корячка робко поздоровалась и вышла. «Окончательно парень опустился,— брезгливо подумал Дмитрий Яковлевич.— Вряд ли из него толк будет. Но коль уж пришли, надо попытаться».

Неохотно Громов сказал:

— У нас есть предложение. Не хотите несколько месяцев поработать на звероферме? Оплатой не будете обижены.

— Ничего я не хочу,— лениво протянул Чупров.

— А зря...— не отступал Громов.— Надо бы помочь Кузьмичу. Тяжело ему одному. А для тебя занятие. Деньгами, повторяю, не будешь обижен.

— В гробу я видел такое занятие! — ухмыльнулся Чупров.— Если бы ты меня на сейнер звал, я бы еще подумал. Да и то... Лучше валяться на койке. Мне теперь ничего не надо.— Он сплюнул на пол.— Моя жизнь поломана! Никто мне не поможет!

— Поможем... Кому нужен бездельник и хулиган? — Громов пристукнул кулаком по шаткому столику.— Запомни, я слов на ветер не бросаю!

Когда вышли на свежий воздух, Громов спросил:

— И откуда взялся такой кадр?

— За бывшей женой после заключения приехал. Говорят, на ее жизнь покушался. А зачем сюда притащился, непонятно. Проходу ей не дает.

— Хорош гусь. Работать не хочет. От этого все. Да вы еще распустили... А помощников Сальникову все-таки найди.

— Постараюсь,— вяло отозвался Стрельцов.

— Что ж, надо лошадь седлать и трогаться.

— Может, не стоит одному, Дмитрий Яковлевич? Медведи бродят, на днях корову задрали. Завтра на Яры думаем послать трактор. Может, лучше с ним?

— Да что ты, Иван Иванович! Столько времени терять! Дел по горло. А карабин я у тебя, пожалуй, возьму.

Он уже прикидывал, когда доберется до райцентра и успеет ли что-нибудь сегодня сделать. Пробыл он здесь меньше суток, а такое впечатление, будто уже давно выключен из настоящей деловой жизни.

IV

Семен Кузьмич набросал под котел сучьев потолще. Сперва надо зверей покормить, сам уж после поест. Закипела вода, Кузьмич взялся за мешок. Вроде не велик груз,

раньше бросал бы играючи, а сейчас даже на плечо не взвалить. Волоком подтащил к огню, ополовинил горстями, потом из мешка высыпал в котел мелкую сухую рыбку — уек по-местному, мойва по-научному. Лакомая еда для песцов, да осталось мало.

Он сполоснул руки в бочке, попутно заметил, что воды надо накачать. Цепляется дело за дело — не соскучишься... Сколько ни старайся — не кончится. Оно и лучше: некогда пустым стариковским мыслям предаваться. Обо всем серьезном давно передумано, так, всякая бестолочь лезет в голову. «Ничего, обходительный мужик Громов,— вспомнил вчерашнее посещение.— И чего я в ферму вцепился? В мире вон что за дела творятся, людей убивают, электричеством пытают, а тут звери какие-то, жалко их! И Громова надо понять: не по своей воле действует. План, видишь, по рыбе надо гнать. По мне, гони, да и о другом думай. А то упрутся в одно, а все остальное побоку. Рыба, она не только для цифры плавает,— в корм человеку идет. Что полезно человеку, тем и занимайся. Песцы тоже ведь для нашей пользы приспособлены».

Зашипела на огне бурлившая через край вода. Семен Кузьмич проворно сгреб в сторону угли. Теперь рыбка сама допреет, можно клетками заняться.

Песцы то ли по шагам узнали Кузьмича, то ли по запаху, заметались в клетках, заскулили.

— Ну, зверьё, зверьё,— выговаривал Сальников, орудуя скребком и лопатой. — Нету с вами покоя. А скоро вас не будет, что делать? Нерентабельные вы, говорят. Ученым словом прикрываются. А по-настоящему, так головотяпство. И никто не поможет, не спасет вас. В декабре всех порешат, и с хорошим мехом, и с облезлым.

Жаль стало зверят, хоть плачь. Привык, ровно к приятелям. Выпустить на волю, гуляйте, мол? Погибнут ведь, неприспособленные, а ему за такой поступок остаток жизни в тюрьме коротать.

Странное дело: каждую зиму Сальников собственноручно забивал песцов, сдирал и выделывал шкурки. И считал это естественным делом, определенным самой природой. Для того и существуют звери, чтобы люди мех носили, деньги получали. Что же сейчас-то изменилось, почему перед ними совестно?

Когда повсеместно начали обзаводиться зверофермами, Семен Кузьмич в завхозах ходил. Должность не сказать чтобы очень обременительная, но хлопоты найдутся, особенно если их искать. Не такой человек Кузьмич, чтобы

задаром хлеб есть,— по сути, встревал во все хозяйство. Силы были — так чего же беречь себя, отлынивать от дела?

Судили-рядили на правлении, кому поручить диковинные обязанности. В пользу песцов никто не верил, осторожно рассуждали: от директивы никуда не деться, надо года два подержать, а там сами собой передохнут или другое распоряжение выйдет. Хотели Василия Королева облечь полномочиями. заправлял он колхозными коровами и до того их вышколил, что зимой бродили по селу, разрывали снег, обгладывали жерди. Показался ненадежным — слишком быстро уморит, получится неприятность.

После долгих размышлений Кузьмич вызвался спасти положение. Жена и даже председатель колхоза отговаривали, но Кузьмичу любопытно стало: по силам ли ему задача, сумеет ли из гиблого дела сотворить что-нибудь путное? Дерзнуть захотелось с дальним прицелом. А песца-то никогда и не видывал. Ясно одно: ценный зверь, раз такая надобность вдруг возникла. Горностая, соболя промышлял, знал их повадки. Песец той же породы, авось справится.

Командировали его в Якутию, получил живой груз в деревянных клетках. Пока домой добрался, пожелтел весь, трясло как в лихорадке. Путь известно какой — там пересадка, там задержка, там самолет не дают. А зверям-то жрать надо. Ходил по столовым, клянчил отходы. Довез-таки в целости и сохранности. И устрашился непосильного груза, взваленного на себя. Посоветоваться не с кем, книг и тех не достать, тощую брошюрку до дыр изучил.

Зима, как нарочно, стояла лютая, избы трещали, и пар от дыхания шелестел. Кузьмич поставил брезентовую палатку рядом с клетками, дневал и ночевал там. Песцы жутко выли по ночам. Разбери — мороз им не по нраву, перед смертью ли тоскуют. Как-то ночью проснулся от холода и непривычной тишины. Екнуло сердце — неладно что-то! Выбрался из кукуля [1] — вокруг луны два светлых морозных обода, в стороне разноцветные звезды колюче перемигиваются. Под ногами снег визжит, до самого неба, кажется, достает. Песцы молчали, изредка обессиленно поскуливая. Померзли зверята! Хорошо, неподалеку стог сена торчал. Бросился таскать, клетки укутывать. Жарко стало, кухлянку сбросил.

Оглянулся случайно — в белесом свете заметил черную фигуру, бредущую от села. Помстилось — решил сперва,

[1] Кукуль — меховой мешок.

присмотрелся — точно, человек движется. Оказалось, жена. В тулупе, лицо платком укутано.

— Проведать пришла, не замерз еще?

Голос незнакомый, как через силу говорит. Кузьмич ответил, что, мол, песцы замерзают, и понял, отчего у жены голос такой: губы высохли на морозе, не слушаются.

Вдвоем до утра утепляли клетки. Может, и лишнее: песцы к холодам привыкли, но лучше подальше от беды. С того времени жена ему помогала. Отработает свое в детсаде — и на ферму. Почти год вдвоем мыкались. Затем легче пошло, Кузьмич опыта поднабрался, помощников выделили. А как увидели, что прибыль получается, прикупили сотню песцов, кормом бесперебойно обеспечивали. Незаметно ферма выдвинулась на первый план. Про Кузьмича в газетах — передовик, на районную доску Почета портрет прикрепили, до сих пор не сняли. А жена с той зимы прихварывать начала, хроническое воспаление легких получила. Бобылем остался. Может, и ни при чем ферма, да кто знает... И ферму не удалось сохранить. Все рушится.

* * *

Ни утром, как обещали, корм не подвезли, ни к обеду. Семен Кузьмич сварил остаток рыбы, полкотла не набралось, разнес песцам. Да разве этим количеством напитаешь такую ораву? Смотрят просительно на Кузьмича, недовольно повизгивают. Опять надо идти к Стрельцову, ругаться, время терять, нервы тратить. Делать нечего, отправился Сальников в село.

День снова выдался сухим и жарким. Редко такое лето бывает — за полтора месяца и маленького дождика не выпало, мальчишки в реке купаются, а обычно в нее не зайти. «Все меняется,— думал Сальников. — Климат и тот другим стал».

Он прошел, не останавливаясь, мимо своего дома — нечего там делать. Словно чужим стал дом. Пусто в селе. Не сидят здесь на скамейках старики, как это водится на материке. Здесь получил человек пенсию — и на родину. Редко кто остается доживать.

Не доходя до нового двухквартирного дома, Семен Кузьмич услышал дребезжащий стук и невольно ускорил шаги, неизвестно чем обеспокоенный. Так и есть — Лешка Чупров колотит по оконной раме, будто гвозди вбивает. Опять к бывшей жене цепляется. Нет у парня уважения к себе — баба его гонит, а он никак не может отстать.

— Уйди от меня! — кричала в форточку жена.— Я в милицию сообщу! Дай мне спокойно жить!

— Не дам! Не дам, гадина! — разорялся Лешка.— Открывай, тебе говорю, стерва!

У Семена Кузьмича окончательно упало настроение — не любил он шума, скандала, ругани. «Эк их надирает! И что не поделили? Проживут свой век в ругани, опомнятся — поздно будет». Свихнулся Лешка, одна злость в нем играет. Да и как может человек хорошо себя чувствовать, если от него другим только вред и неприятность.

— Кончай, Лешка, дурью маяться! — крикнул Чупрову.— Перестань срамиться, людей постыдись!

Лешка обернулся в его сторону.

— А, Кузьмич, здоро́во! Ты иди, ничего, все будет в ажуре. Это дело мое, семейное.

— То-то семейное,— пробормотал Сальников. — На всю улицу хай поднял!

Постоял в раздумье, но не придумал таких слов, чтобы образумить Лешку. «Кто сейчас стариков слушает! Норовят по-своему жить, а не получается. Им бы радоваться да уважать друг друга, а они колобродят. Женка-то Лешкина, видать, тоже хорошая штучка. Нет чтобы успокоить Лешку, так нарочно дразнит».

Расстроенный, он направился к Стрельцову. Не успел рта открыть, как тот начал оправдываться:

— Знаю, знаю, что нет корма, но ничего не могу сделать. Трактор на сене занят.

— Так дело не пойдет, Иванович! — начал заводиться Сальников.— Так мы зверей раньше срока погубим!

— Ох, как мне все надоело! — воскликнул Стрельцов и шумно вздохнул.— Скорее бы начали переселять!

— Тебе-то что за корысть?

— Может, с места стронусь, подамся куда-нибудь...

Помолчали...

— Я так просто от тебя не отвяжусь,— твердо сказал Семен Кузьмич.— Или кормом обеспечивай, или пиши расписку. Так, мол, и так, из-за своей халатности загубил песцов. Воздухом же они не будут кормиться.

— Да пойми ты, Кузьмич, не согласится тракторист вечером работать!

— Мое какое дело! Ты должен кормом обеспечить. Что же мне — каждый день Громову трезвонить?

Стрельцов крякнул от досады.

— Ну, прицепился, Кузьмич, как банный лист! Ладно, сделаю. Если что, сам привезу.

— Смотри, подведешь — буду жаловаться Громову. И не хочется, а придется.

— Не сидится тебе, Кузьмич,— задумчиво сказал Стрельцов. — Вышел бы на пенсию, купил на юге домик и жил бы в свое удовольствие...

— Нечего мне там делать, здесь уж и похоронят. А ты мне вот что, Иванович, скажи. Ты молодой еще, должен знать. Скажи, чего вам не хватает, почему дурью маетесь? Лешка Чупров жену гоняет, ты как сонная рыба. Да и на других посмотреть... Ну ровно вас чужой дядя жить заставляет.

Стрельцов обиделся.

— Ну спасибо, Кузьмич, удружил! Нашел, с кем сравнить.

— Извини, Иван Иванович,— Сальников смутился.— Я тебя не равняю, язык не так повернулся. Я к тому, что вроде вы как недовольные, чего-то еще надо! А чего надо-то?

Стрельцов махнул рукой.

— Э, Кузьмич, не знаю чего. После войны, помню, новый ватник справишь, так месяц радуешься. Сейчас вон ковер на всю стену отхватили, а так подумать — гори он синим пламенем! Не знаю, Кузьмич... Я тебе не лектор, чтобы на вопросы отвечать.

— Ну, ладно, извини, если что не так,— виновато сказал Сальников.— Занесло меня маленько... А насчет корма побеспокойся. Прошу тебя...

На улице солнце жгло вовсю, в полуботинки набивалась горячая пыль. «Хоть бы дождичек брызнул, благодать была бы. И земля бы освежилась, и самому легче стало бы дышать».

— Помогите! Помогите! — раздался пронзительный женский вопль, дикий и невероятный в сонной знойной тишине. Сальников бросился за дом, откуда доносился крик. Чупров обеими руками вцепился в горло жены и яростным шепотом приговаривал, словно удивляясь самому себе:

— Задушу ведь, задушу!

— Отпусти немедля! — подскочил Сальников.

— Отстань, Кузьмич, зашибу! Это мое дело, не лезь! Семен Кузьмич схватил его за руки, беспомощно оглядываясь — одному не справиться, нет сил. «Ведь задушит, стервец!» На счастье, в отдалении появился пацан.

— Эй, малый! — задыхаясь, крикнул Кузьмич.— Беги скорее, Стрельцова зови!

— Будь другом, Кузьмич, отпусти! — хрипел Чупров.— Тебе же лучше будет. Не лезь, Кузьмич, добром говорю!

— На старика руку поднимать! — упирался изо всех сил Семен Кузьмич.— Не выйдет! Брось, говорю, бабу!

Женщине все-таки удалось вырваться. Сальников, изнемогая, держал Чупрова за руки, чувствуя, что вот-вот отпустит.

— Все равно ей не жить на земле! — выкрикнул Чупров и ринулся к жене.

Подбежавший Стрельцов загородил ему дорогу.

— Это тебе даром не пройдет, шаромыга несчастный! — грозила жена.— Сегодня же позвоню, чтобы тебя забрали! Все припомню, как ты надо мной измывался!

— Молчи ты! — заорал Лешка, тщетно подбирая самое оскорбительное слово. Но лишь зубами заскрипел и замотал головой.

— Ты уйди, уйди, пожалуйста, Элла Михайловна,— попросил Стрельцов.— Мы его утихомирим. Вот еще задача на мою голову! Милиционер я, что ли?

— Сажайте! Ничего не боюсь! — зло выкрикнул Чупров и, схватив доску, ударил по окну.

Звонко брызнули осколки. Стрельцов рассвирепел:

— Хватит нянчиться! Пойдем со мной!

Он схватил Чупрова одной рукой и потащил за собой. «Силен мужик, когда проснется! — восхитился Семен Кузьмич, шагая следом.— Хорошая ему встряска нужна!»

Чупрова заперли в школьной кочегарке. Он стучался в дверь, кричал: «Пустите!», потом затих. «Сам себя человек загубил,— с горечью подумал Семен Кузьмич.— И что им не живется?»

На душе было скверно — и беспутного парня жалко, и противно, будто руками хватался за грязное, и жутко становилось: не подвернись он, ведь и в самом деле Лешка мог бабу задушить. Столько сил уходит на грызню, на то, чтобы отравить друг другу жизнь! Как неразумные дети: не понимают, что в мире и согласии жить — всем выгода была бы. Силы бы направить против чего плохого, так нет, в обратную сторону тратятся.

Долго еще Кузьмич вспоминал Чупрова, огорчался, что не хотят люди друг другу помогать... Постепенно забылся за работой.

Покончив с необходимыми делами, спустился к реке накачать воды в бочки. Подтащил помпу, сел на промасленный чурбачок отдохнуть.

На глазах мелеет река, где-то в горах растаял весь снег, иссякли ручейки, питающие Кахтану. Обнажилась широкая галечная коса. На ней застряли два сухих, обкатанных до белизны тополя и несколько пней с корнями-щу-

пальцами, притащенных половодьем. На берегу рыбьи скелеты и головы.

Сквозь мелкую прозрачную воду было видно, как, обдираясь телами о камни, горбуша судорожно стремится выброситься на берег. Течение переворачивало рыбин на спину, волокло прочь, но они из последних сил работали хвостом, яростно извиваясь. Туловища их были ободраны, мясо висело клочьями. Крупный самец слабо рванулся вверх, чтобы зубастым ртом хватить губительного для него воздуха. Попытка не удалась, он замер, слабо шевеля плавниками, набираясь сил.

Кузьмич встал, затопал ногами по земле, отпугивая рыбу, словно этим мог заставить ее забыть о зове природы и жить дальше. Но горбуша продолжала пробираться к берегу, и Сальников устрашился этого массового неопределенного стремления рыбы к гибели. Не чьей-то посторонней волей положен ей предел, а внутренним устройством. Загадочная рыба. Плавает в морях, пришла пора метать икру — возвращается в родную речку, откуда мальком ушла мыкаться по свету. Как дорогу находит — никто не знает. После нереста, дав жизнь потомству, выбрасывается на берег, чтобы не загрязнять собою воду. Выходит, дальше жить незачем. «А мы, видишь, за жизнь цепляемся,— рассудил Кузьмич.—И толку вроде мало, а помирать не хочется. Так уж тебя скрутит — не дыхнуть, жизни не рад. Отпустит чуть, глянешь на солнце или там на дерево — и оно хорошо, удовольствие старому хрычу».

Он прищурясь, долгим взглядом посмотрел на умирающих рыб и направился к движку. Дернул стартер — мотор чихнул густым дымом и смолк. Снова дернул — отказывается трудиться. «Эх, незадача! — крякнул Кузьмич. — Возись теперь с тобой!» Полчаса ковырялся, пока дробные чужеродные звуки не понеслись над рекой. Из прохудившихся шлангов тугими блестящими лучами ударила вода. Сальников бросился наверх.

Наполнил бочки и, мокрый с ног до головы, побежал к реке, выключил движок. Стало оглушительно тихо. Уныло запищал разморенный жарой комар.

— Ты-то, пискун, на что жалуешься? — вслух сказал Семен Кузьмич. — У меня вон песцы голодают и то ничего, молчат.

Дело к вечеру, а жарче, чем днем. Отовсюду тепло исходило — от камней, земли, столбов, даже чудилось, от каждой травинки. Настоящая парилка. Кузьмич быстренько обсох, пошел в дом — жару переждать и «бабки» заодно подбить. Сидел в прохладе, на стуле, счетами щелкал,

будто конторский служащий. Приход кормов, расход, такого-то числа такой рацион, на следующий день этакий. Должно быть, никому уже не нужна эта писанина, а привычка срабатывает — до последнего момента надо дела в порядке держать. Расправившись с бумагами, аккуратно сложил их в папку.

Сердце поднывало, дышалось с трудом, пот прошибал — совсем стал развалиной, считай, без работы умаялся. Лег головой на стол и внезапно задремал, как отрубился.

Сколько спал, неизвестно. Очнулся с тяжелой тоской, будто только что потерял близкого человека, и не сразу сообразил, где находится. Сквозь окно прямо на него падал сноп света, разрезанный темными полосами оконной рамы. А кругом сумрак. Кузьмич ошалело огляделся — угораздило же уснуть перед закатом... Теперь не сразу очухаешься и долго еще на душе будет саднить.

Сполоснул лицо, чуть приободрился, а все равно смутно было и тревожно. Ослабевшее солнце висело над сизыми сопками. Откуда-то, словно для его прóводов, появились облака и застыли по сторонам. Река будто расплавилась — ни морщинки, ни водоворотика. С пронзительной резкостью отражались вершины дальних сопок, куда-то в бездонную глубь уходила вниз вершиной темная скала, опрокинутые деревья виднелись четче и красивее, чем росшие на берегу. И стояла такая торжественная неземная тишина, что Кузьмичу стало не по себе. Казалось, будто в другой мир попал. Все вокруг знакомое, сотни раз виданное, но и другое, не такое, как всегда. Подумалось, что один остался, что в какое-то мгновение все переменилось. Знал же: ерунда, блажь все это, а жутковато было.

— Все ж таки без людей плохо,— громко сказал, чтоб прогнать наваждение.— В гости к кому вечером сходить?

Не любил он себя навязывать, как-то на отшибе от сельчан жил, хотя ни с кем не ругался, не ссорился. Зайдет кто к нему — милости просим, а чтоб собой, старым и хворым, кого обременять...

«Больно красиво,— подумал он, глядя на реку и сопки. — Должно быть, таким перед смертью все кажется».

Чтобы перебить ненужные мысли, стал сам с собой обсуждать: использовать сегодня мешок юколы, который выменял у знакомого каюра и держал на крайний случай, или до завтра погодить? Похоже, корма сегодня не видать. Пошел проверить, в сохранности ли вяленая рыба.

Услыхал слабое тарахтение — руку к уху приложил: не мясо ли везут? Тарахтение усиливалось, и вскоре он уви-

дел, что к ферме, бойко лязгая провисшими гусеницами, бежал трактор, а за ним подпрыгивала тележка. «Вон как шпарит, что на легковой машине! — с удовольствием отметил Семен Кузьмич.— Кто ж это такой бравый выискался?» Забыл о своем печальном настроении. Ну их к бесу — эти красивые облака, речку и тишину неестественную. Делом надо заниматься! Не время еще с миром прощаться.

Разглядел в кабине человека — да никак это сам Стрельцов? Точно он, лысиной блестит! Ну, Иван Иванович, порадовал старика!

— Куда подруливать? — спросил Стрельцов, отодвинув в сторону дверцу.

— Давай сюда, милок, за мной!

Кузьмич вприпрыжку пустился, словно боясь упустить трактор.

Торопливо начал сбрасывать на землю нерпичьи тушки. Стрельцов, помедлив возле трактора, забрался в тележку. Кузьмич замахал на него руками:

— Не надо, не надо. Запачкаешься, жена домой не пустит!

— Ничего, как-нибудь,— пробормотал Стрельцов.

Пока сбрасывали, Семен Кузьмич упарился, в ногах-руках хлипкость появилась. А надо бы еще зверьков накормить. Да куда там! Возни на полдня — пока вручную мясо разделаешь, то, другое...

— Поздно, не накормишь сегодня,— с сожалением сказал.

— Не мог я раньше,— оправдывался Стрельцов. — Пока горючим заправился, пока нагрузили. — И добавил: — Ты, Кузьмич, себя пожалей, что ты все о песцах заботишься?

— Я себя и жалею,— просто ответил Сальников. — Кого же еще?

Иван Иванович помог накрыть тушки брезентом. «Что это он такой заботливый стал?» — подивился Семен Кузьмич, а вслух ничего не сказал.

Сели в кабину, загрохотал двигатель, затряслось, задребезжало все: стекла, дверца, сидение. Не до разговору. Кузьмич блаженно откинулся на продавленном сиденье, вполне довольный удачным днем. Смотрел в окошко — прыгало мутное красноватое солнце, дрожали синие сопки, тряслась земля возле гусениц. Теперь все было свое, привычное, и никаких особых чувств не вызывало. Красиво — так он не один десяток лет живет среди здешней природной красоты и почти не замечает ее, словно воздух. Замечать-то, может, и замечает, да как-то не задумывается.

Удачный день, ничего не скажешь, теперь суток на трое-четверо хватит запасов. Одно нехорошо — полуголодные звери остались. «Придется потерпеть,— внушал им Сальников. — Утречком пораньше встану, ублажу вас свежинкой, давно не пробовали». Постепенно мысли на ферму повернули, увлекся Кузьмич, принялся доказывать неведомому большому начальнику:

«Ты знающего человека пришли, пусть посмотрит, прикинет. Побеседуем. Я ему свое, вроде как защитник на суде, а он мне свое, как прокурор. Может, не понимаю чего, мозги у меня без закоулков. Да ведь кое-что соображаю, вижу, что хотят сотворить глупость. Сюда бы ученого человека да условия... Я бы к нему в помощники. Наделали бы делов!»

В верха надо карабкаться, в область кинуться, к первому секретарю постучаться. Похлопает по плечу — хорошую мысль, дескать, мужичок бросил. И тут же отдаст распоряжение. «Что ж мне, старому, терять, авось достучусь! — В раж вошел, выпрямился на сиденье, бороденку вздернул. — Село такое рушить! Забыли, как строители с керосинками работали, чтобы дом сдать к Октябрю! Не выйдет!»

Стрельцов невозмутимо двигал рычагами. «Это Ивана Ивановича с места не сдвинешь. Он начальником хочет быть. Вроде как сам на себя надел хомут. Что за жизнь — всех боится, всех слушается. Не хозяин самому себе».

V

— Ты, Дмитрий, завтракай без меня,— сказала жена, войдя в комнату. — Мне на детскую площадку, в школу пора. И Сережку возьму с собой.

Она была в летнем цветастом платье, свежая, привлекательная. Громов не удержался, обнял ее.

— Ну-ну, отойди, Сережка увидит,— радостно улыбаясь, прошептала она. — Мало тебе времени было... Надо идти. И так опаздываю. Опять раньше тебя приду!

— Ничего не попишешь, дела,— бодро сказал Громов и, скрывая довольную улыбку, пожаловался: — Крутишься весь день, а теперь бы и вообще надо до ночи сидеть, но боюсь тебя одну оставить.

— Вечно я виновата,— притворно вздохнула жена. — Когда же мы, Дмитрий, в отпуск соберемся?

— Утрясется с колхозом — зимой можем поехать.

— Кто же меня отпустит среди учебного года!

— Я сам поговорю с директором.

— Да, я все забываю, что ты у меня человек влиятельный.

Она поцеловала Громова и ушла с сыном. Дмитрий Яковлевич сел завтракать. Как обычно, еда была только что приготовленной, вкусной — заботилась жена о его здоровье и настроении. Удивительно, как у нее на все хватает времени! С такой женой не страшны никакие передряги. Великое дело иметь прочный тыл! Плохо, что она из-за него уже третий год без отпуска. Одну отпустить — не дурак: обстановка в этих южных домах отдыха такая, что и ангел оступится. Да, хочешь жить полноценной жизнью, ворочать большими делами — нужно пожертвовать обычными развлечениями, удовольствиями. Зато чувствуешь себя необходимым человеком...

«Этой зимой непременно в отпуск съездим,— размечтался Дмитрий Яковлевич. — Тоже можно неплохо время провести. Директор, конечно, отпустит Клаву, ему невыгодно со мной портить отношения. Если надо что, куда обращаться? В колхоз! Кто еще поможет?»

Выпив кофе, он начал по привычке листать газеты и с неприятным удивлением увидел свою фамилию, набранную крупными черными буквами. Заголовок статьи был такой: «О мечтах т. Громова превратить район в пустыню».

«Зашевелились недальновидные люди! — с неприязнью подумал Дмитрий Яковлевич. — Поздно спохватились!» Статья на поверхностный взгляд была убедительной. Доказывалось, что колхоз должен стать сельскохозяйственным и оленеводческим. Приводились данные, во что обходится доставка овощей с материка — золотыми получались капуста и картошка. Однако упустил автор, что из района тоже надо на север вывозить и перевозка влетит в копеечку. Вот и есть возражение, с удовлетворением отметил Громов. Незабытой осталась и ферма в Кахтане. О Кузьмиче автор рассыпается — и энтузиаст, и герой труда, и такого самозабвенного человека трудно найти. Вот-вот, в этом и дело! На одном Сальникове ферма держалась, а Сальников уже просто не в состоянии больше тащить груз. Какой же специалист пойдет на захудалую ферму? Несерьезная статья, а отвечать на нее придется, и чем скорее, тем лучше. Эх, напрасный шум может только повредить хорошему делу!

Громов аккуратно свернул газету, надел пиджак и вышел из дома. Вдоль длинной улицы колхозного поселка протянулись деревянные тротуары. При нем, Громове, сделаны. И большинство двухэтажных домов тоже построе-

но при нем. Года через два отгрохают еще несколько домов с водопроводом, ваннами. Нигде в районе пока и не намечается подобная роскошь.

«А ты нас назад тянешь! — мысленно возражал Дмитрий Яковлевич автору статьи. — Что раньше на колхозном счете было? Какой масштаб? Много ли набежит от картошки да оленеводства? Погоди, приобретем крупные сейнеры, в океан выйдем, сами начнем обрабатывать рыбу, все планы перекроем! А статья нам не повредит. Все уже давно решено и подписано. Единственно — звероферму могут отстоять. Ладно, повисит какое-то время лишним грузом, сама отпадет. Да и ее судьба в сущности уже решена: через неделю общеколхозное собрание — и всем спорам конец! Нечего мне беспокоиться. Ответим на статейку и забудем».

В приемной секретарша Верочка уже сидела за пишущей машинкой. Громов поздоровался и отвел взгляд от длинных обнаженных ног. Служебное положение, черт возьми! Здесь на одном конце села чихнешь, на другом кричат: «Будь здоров». Не враг он себе, чтобы в семью из-за девчонки разлад вносить, рисковать своим положением. В командировке, в Петропавловске,—так-сяк, можно отвлечься. Кто из мужиков не грешен? А хороша девчонка и смотрит на него преданными глазами.

— Вера, позови ко мне главного бухгалтера и экономиста, как только появятся.

— Хорошо, Дмитрий Яковлевич,— кокетливо сказала Верочка.

«Эх, положение мое незавидное!» — с притворным сожалением подумал Громов.

VI

Еще от калитки Семен Кузьмич заметил, что колышка, которым обычно подпирал дверь, не было. «Должно, бродячие собаки отпихнули, кому же еще?» — подумал, а сердце екнуло: никак гости пожаловали? И затаенная мысль скользнула — вот бы Толька нежданно-негаданно явился! Да откуда ему взяться: в армии за здорово живешь отпуск не дают. Наверное, командированных поселили. Дом большой, места хватит, живите, не жалко, и самому веселей. Заторопился, надеясь на чудо, отгоняя мысли о Тольке.

За столом сидели двое. Кузьмич сразу узнал сына. И вроде не узнал — таким здоровым и взрослым выглядел. До слез обрадовался, обниматься хотел кинуться, но сдержался, сказал дрогнувшим голосом:

— С батькой не поздоровался, а уже водку пьешь.

Толька встал, протянул руку:

— Здорово, батя! Понимаешь, целый день ехали. Река мелкая, на себе моторку тащили. А ты все на работе, ударник, пропадаешь. Ждали-ждали, испугались, что жидкость прокиснет.

— Ладно, это я так, для разговору,— сказал Кузьмич, присаживаясь и разглядывая парня в милицейской форме. — Личность вроде знакомая, а не припомню, где видел.

— Это Юрка Сновидов,— подсказал сын. — Хорошо, что его встретил, а то бы пешком топал.

— Не Петра ли Сновидова сын?

Юрка кивнул головой:

— Ага.

— То-то, смотрю, облик знакомый... Охотились когда-то вместе с твоим отцом. Что же вы, ребята, всухомятку закусываете? Сей момент чего-нибудь сварганю.

— Да не надо...

Но Кузьмич уже метнулся к печке, насовал дров, кастрюлю поставил. А варить-то и нечего — щи есть баночные да макароны, неизвестно сколько пролежавшие. Неловко стало за скудость, за беспорядок.

— Плохая из меня хозяйка,— сказал со смешком. — Вы уж разносолов не ждите, макарон с тушенкой сооружу.

— Да ладно, батя. Ты бы лучше рюмашку хлопнул. С прибытием.

— Сейчас, сейчас... Ну, будем здоровы.

«Ишь ты, какой парень вымахал! — с гордостью думал про Тольку,— а еще расти да расти. Не чета мне, недомерку, будет. Порадовал, порадовал старика. Вот и на моей улице праздник!»

Чтоб не заметил сын его волнения, спросил у Сновидова:

— Как батька-то?

— Ничего. На пенсии. Сейчас рыбачит.

— А сам по какой надобности к нам?

— Женщина одна позвонила, бывший муж, уголовник, хотел ее задушить.

— А, это Чупров,— догадался Кузьмич. — Достукался парень, что милиция с пистолетом за ним приехала.

Толька шутливо сказал:

— Что ж ты, батя, народ распустил? Организовал бы общественность.

— Где уж мне...

— Ну, ну, не прибедняйся, ты еще за двоих тянешь.

— Ровно сбесился парень,— задумчиво проговорил Кузьмич. — Пришлый человек, пойми, что у него на уме. Сам в петлю лезет.

— Я бы с ним поговорил! — засмеялся Толька и плечами повел.

— Грозилась синица... — начал Кузьмич и прервал себя. — Как там у тебя дела? Не шибко притесняют?

— Ничего, терпимо. Сперва трудно было, потом привык. Отпуск вот дали.

— Это за какие же подвиги?

— Отличник боевой и политической...

— Моя порода! — возгордился Кузьмич. — Мы, куда ни брось, везде себя покажем! А в Кахтане последний раз, должно быть, гостишь.

Не удержался, объяснил положение.

— Ты, батя, в Тигиль перебирайся,— посоветовал Толька. — Все-таки районный центр, народу много. А здесь скучно.

— Ты это брось, скучно! — сердито сказал Кузьмич. — Тут деньги казенные хотят на ветер выбросить, а ты — скучно! Вот я бумагу в область хочу отослать, повертится наше начальство!

Сын вдруг смутился.

— Да я ничего, вою й.

«Не последний человек, значит, отец для него,— довольно подумал Кузьмич. — Сознает, что не пустые слова говорю».

— Пойти узнать, как этот Чупров? — нерешительно произнес Сновидов.

Толька живо возразил:

— А что ты с ним сейчас будешь делать? Утром пораньше посадишь в лодку — и до свидания. Куда он сейчас убежит?

— Тоже правильно,— согласился Сновидов.

Перешли на армейские воспоминания. Семен Кузьмич глядел на ребят и радовался их здоровью, молодости, будущему. Разве нынешнюю молодежь сравнить с прежней, с ним хотя бы! Что в их годы видел, знал? Кино-то раз в год смотрел, о технике ни малейшего понятия не имел. Перед ними все дороги — учись, добивайся. Лишь бы не свихнулся Толька, как Чупров этот. Будет себя и других уважать, заладится у него жизнь, еще как заладится! Столько у него возможностей!

Было уже поздно. Кузьмич постелил ребятам в горнице, себе на кухне поставил раскладушку. Ребята, как легли, засвистели носами, а Кузьмичу не спалось, смолил си-

гарету за сигаретой, никак не мог успокоиться. Рисовалась будущая жизнь — и не в Кахтане представлялась, а в каком-нибудь городке. Живет по соседству с Толькой, возится с внуками... И жену Толькину вообразил — статная, домовитая, самостоятельная. Засыпая, вспомнил о ферме, и ее судьба не так уж волновала, как днем.

Хлопнула наружная дверь, в сенях зашаркали. «Кого это по ночам носит? — очнувшись, удивился Семен Кузьмич. — По неделям никто не заглядывает, а тут сразу столько гостей».

Отворилась дверь на кухню.

— Свети, дура! — раздался пьяный выкрик. — За мной приехал, на, принимай подарочек!

VII

Когда Громов зашел в помещение исполкома, в коридоре уже собралось много народу. Так уж повелось, что минут за пятнадцать до начала заседания исполкомовцы выходили из своих кабинетов-клетушек, курили в узком коридоре, рассказывали новости. Здание было ветхое, тесное, аппарат разрастался, а площадь оставалась прежней. Дмитрий Яковлевич гордился, что в правлении у него просторнее, светлее, современнее.

Он поздоровался. После улицы в коридорном сумраке с трудом разглядел лица собравшихся. Все люди хорошо знакомые, с большинством не раз сиживал за одним столом. Громов членом исполкома не был, но его приглашали почти на все заседания. Не имел он решающего голоса, и считал это несправедливым. Колхоз занимает территорию величиной с маленькое европейское государство, главная экономическая сила района, а при решении важных вопросов Громов сидит чуть ли не в качестве гостя. Положение должно измениться, когда колхоз начнет ловить рыбу. С ним тогда будут больше считаться.

Подошел заведующий райфинотделом Михайлов.

— Здорово, рыбак. Скоро в море?

Неизменно благожелательный, спокойный Михайлов нравился Дмитрию Яковлевичу. Удивительная была у него способность — всем помогать, как по служебным вопросам, так и по личным. Должность вызывала представление о сухом, педантичном человеке, а он был веселым, жизнерадостным.

— Скоро, Александр Федорович,— ответил Громов. — Могу и тебя прихватить.

— Э, нет, я человек сухопутный. Это тебя к морю тянет. Значит, завалишь Тигиль рыбой? Давай-давай, старайся.

Громов не принял шутки, сухо сказал:

— Торговля ко мне не относится, пусть рыбкооп заботится.

Михайлов посерьезнел, сочувственно спросил:

— Что у тебя там с Сальниковым?

«Скорее бы зима да забить песцов! — подумал Громов. — Надоело уже слышать про ферму. Уж Михайлову-то какое дело, а туда же...»

— Да ничего особенного,— неохотно ответил. — Привык он к своим песцам, не оторвать.

Михайлов удивился:

— Как ничего особенного? Его в больницу везут, а ты — ничего особенного!

— Какая больница? Что ты выдумываешь? Я же его недавно видел. Более или менее здоров.

— Значит, ты не знаешь... Сегодня ночью какой-то там хулиган хотел сонного милиционера побить. Сальников бросился защищать, ну тот в суматохе его задел. В тяжелом состоянии Сальников.

— Какая нелепость,—растерянно сказал Дмитрий Яковлевич. — Это ведь Чупров. Есть там такой...

«Какая нелепость, какая нелепость... — повторял он про себя. — Кто же мог такое предусмотреть? Эх, Кузьмич, зачем нужно было вмешиваться! Ведь силы-то у него, как у ребенка, где ему было справиться с хулиганом!» И почувствовал неясную вину перед ним. В чем это вина, разумно не объяснить. Чупрова не забрал с собой? Так повода не было, и прав у него нет на это. Ферма? Ну, это дело экономическое, отношения между людьми здесь ни при чем. Не в чем себя упрекнуть. А чувство было похоже на то, какое испытывает здоровый человек у постели безнадежно больного. И не виноват вроде ни в чем, а как-то совестно и неловко.

Пригласили заходить в кабинет. Рассаживались, двигая стульями, за длинным столом. Громов слышал, как председатель исполкома обратился к главврачу.

— Леонид Григорьевич, у тебя там все готово? Вдруг Сальникову понадобится делать операцию.

— Мы, Павел Иванович, всегда готовы.

— Как он там? — обратился к нему Громов. — Серьезное что-нибудь?

— Пока неизвестно. Привезут, тогда будет ясно. Возможно, задет позвоночник.

Началось заседание. Громов слушал невнимательно, да и обсуждаемые вопросы не имели к колхозу отношения. «Все-таки каждый достойный человек у нас на виду,— подумал он. — Где еще, кроме Камчатки, несчастье с простым колхозником вызвало бы такое беспокойство? Надо чем-то помочь Сальникову. А что мы можем сделать? Материальную помощь окажем, само собой. Пенсию, наверное, можно дать побольше. А что же теперь делать с фермой, кого поставить? Не сдадим шкурки первым сортом — большой понесем убыток. Да, все-таки Кузьмич в своем роде незаменимый человек».

VIII

Утром в доме Сальникова собрался народ. Двигались, суетились, что-то искали. Семен Кузьмич безучастно лежал — действовать по своей воле он не мог, оставалось ждать, что решат другие, что они сделают с ним. Ощущение полной беспомощности было непривычно и тягостно. Он попробовал приподняться, тихонько охнул и бессильно упал на подушку. Над ним наклонился испуганный Анатолий, шепотом спросил:

— Как ты, батя? Лежи, лежи, не двигайся.

— Ничего, Толька, я живучий. Ты чего шепчешь? И другим скажи, пусть громко говорят. А то ровно при покойнике.

— Да мы думали, ты спишь...

— Стрельцова кликни ко мне, а то уж скоро повезете и не успею с ним поговорить. Ты вот что, Иванович,— сказал подошедшему Стрельцову. — Сегодня же подбери людей. Что хочешь делай, а двух-трех человек пошли.

— Не беспокойся, Семен Кузьмич, все сделаем. Разве я не понимаю? Я...

— Чего это вдруг стал таким понятливым! — перебил его Сальников. — То никакого понятия, теперь разом все... Загубишь песцов — с тебя спросят. Дело уголовное. Не мои звери — общественные. Ты бумагу бери и записывай, что к чему.

Он долго говорил, что и как следует делать.

— Двигаться надо, батя,— сказал Анатолий. — Мы тебя на одеяле понесем...

— Смотри, Иванович, пусть делают, как я говорю. Буду из больницы вам циркуляры высылать.

— Да я, Кузьмич, сам за ферму возьмусь!— воскликнул Стрельцов.

— А что? Тебе не мешает размяться. Может, и додержите до зимы...

— Ты раньше вернешься.

— Вернусь... — то ли спросил, то ли подтвердил Сальников.

Он обвел взглядом кухню, увидел фикус. Половина листьев так и осталась в пыли. Защипало глаза, Кузьмич отвернулся и глухо сказал:

— Несите, чего там...

В лодке были постланы доски, на них — меховой спальник. Сальникова осторожно уложили, потом Сновидов пошел за Чупровым. Толька оттолкнул дюральку от берега, опустил мотор и ждал, придерживая лодку за борта. Стрельцов стоял рядом, поправляя одеяло.

— Слушай, Кузьмич,— внезапно выпалил он. — А если я докладную кому-нибудь напишу? Насчет фермы, а?

— Я уже в голове сочинил, из Тигиля отошлю. А настрочи. Коли хочешь. Воля твоя.

— Я напишу, напишу,— заторопился Стрельцов, будто не веря себе.

К реке, опустив голову, не глядя по сторонам, шел Чупров. Рубаха расстегнута, сбоку выбилась из брюк. «Стыдно все-таки ироду»,— сердито подумал Кузьмич.

Анатолий забрался в лодку, тихонько отгреб веслом, потом завел мотор. Лодка дернулась вперед. Удалялись люди, стоявшие на берегу, стали видны крыши дальних домов. Высокий берег двигался назад. У клуба Кузьмич заметил одинокую женщину, узнал бывшую жену Лешки Чупрова. Теперь у нее будет спокойная жизнь, чужая беда обернулась для нее пользой. А может, казнится, что снова Лешка стал преступником?

Кончились последние строения, дальше потянулись стога сена, а потом не осталось на берегу никаких следов человека. Семену Кузьмичу стало страшно, будто навсегда покинул село. Рассердился на себя: «Что я разнюнился! Может, пустяк какой, через неделю вылечат!» Да вряд ли от пустяка человек становится неподвижным кулем.

Однообразно тарахтел мотор, лодка покачивалась, убаюкивала. Сальников забылся, задремал. Почудилось, будто лежит он занесенный сугробом, снег набивается под одежду, лицо как деревянное, ноги отнялись. «Теперь мне конец!» — подумал Семен Кузьмич, замотал головой и с усилием открыл глаза. Над ним было бледное пустое небо. Чуть приподнял голову — увидел перед собой парня, похожего на Тольку. «Да это и есть Толька,— удивился Кузьмич. — Я уже было подумал, что на тот свет по небу

лечу...» Чего-то не хватало. Не сразу понял: мотора не слышно. Неужто приехали? Посмотрел — безлюдные берега. «Заглох? Ну и пусть. Все равно». Знобило. Хотел окликнуть сына, передумал,— одежонкой не согреешься, холод изнутри идет.

«А ведь я всерьез замерзал. В тундре. Давно. Колхоза тогда еще не было. Постой, кому ж я рассказываю? Я тебе, Аня, рассказываю, как будто бы ты рядом и слышишь меня. Тогда я помалкивал, чтобы не расстраивать тебя попусту. Потом забыл. Мы с каюром... как же его звали? Илья. Мы с Ильей искали стойбище Нутанвата. Попали в пургу, без этого не обходится, дело обычное. Да только у нас всего четыре юколы осталось и на людей, и на собак. Коряки знаешь ведь как кочевали? На сотни верст. Рассчитывали доехать через три дня — проплутали неделю. Пурга навалилась. Легли в снег с собаками. Сколько дней пролежали — не понять. Сны дивные, сладкие снятся. А то ровно душит кто-то лохматый, воздуху не хватает. Тогда дырочек в снегу напротыкаешь — легче. Лежали как медведи — вспомнить смешно. И всё спали. Очнулся я как-то и точно знаю: скоро замерзну. Не поверишь — легко и радостно стало. Всему телу тепло, как и возле печки не бывает. Думаю, сейчас усну и не проснусь, и ничего не надо. Думаю так, а что-то меня толкает, толкает внутри: нельзя, нельзя! Сам не знаю почему, встал на четвереньки, сбросил снег. Господи ты мой! Солнце кругом, снег как сахар-рафинад. Растолкал Илью — поехали. Собаки еле тащатся, скулят. Все равно мы бы замерзли, да на пастухов наткнулись. И не страшно было тогда умирать. А я молодой был, ты молодая, красивая... И сейчас не страшно, придет время — умру, как усну. Свидимся с тобой, посмотришь, какой я сивый и страшный стал, ты теперь намного младше меня. Да что я, дурень, говорю — где мы свидимся? А может, не навсегда расстались?

Обидно, что так получилось, зашиб меня, проклятый! Себя же наказал! Ведь не зверь же, человек, проснется когда-нибудь совесть — изгрызет всего. Тольку жалко. В отпуск, называется, приехал... Я-то все стерплю, мне ничто не страшно. А он по молодости может подумать, что в жизни одно зло бывает. Оно и правда, зла много, и никто не знает, как его под корень извести. Никакой ведь корысти от него нет...»

...Чихнул и затарахтел мотор. Кузьмич силился вспомнить, где и когда слышал подобное тарахтение, и никак не мог, даже рассердился на свою худую память, хоть и не знал, зачем ему понадобилось вспоминать. Обо всем

забыл, стараясь ухватить ускользающее из памяти. Вспомнил, что вчера движок заводил и такая же была тишина, которая потом рассыпалась дробными звуками. И рыбу-евалу вспомнил, которая из воды на берег стремилась. Слово-то какое нелепое — евала, рыбу так называют, которой срок пришел помирать, которая уже в пищу не годится. К чему это прилепилось? Не для того же, чтоб себя с ней сравнить? Если пожелаешь, всегда от тебя будет толк и польза, даже если будешь не в состоянии с кровати сползти. Лишь бы сто́ящим человеком был да совесть имел...

Час-другой плыли. Журчала, плескалась вдоль тонких бортов вода, длинные усы волн расходились от лодок, гасились у берегов. Река делала плавный изгиб, и Семен Кузьмич увидел зеленый лужок, стога сена, а на взгорке высокие березы с ровными белыми стволами. Будто материковские. Камчатские-то, солнцем да почвой обиженные, растут скрюченные, с корявыми, узловатыми ветвями. А тут словно на забытую родину попал, в село, откуда давным-давно уехал.

И не сказать, чтобы по свету шатался. Как прибыл на рыбокомбинат, так и зацепился в районе. На всякой работе побывал. Даже инструктором райисполкома поставили. Сейчас расскажи кому — не поверят. Хорош начальничек — бороденка козья, весь песцами пропах. А в ту пору каждый мало-мальски грамотный человек был на счету. С бумагами меньше всего имел дело, ездил по тундре в сопровождении переводчика, уговаривал кочевых коряков объединяться в колхоз. Натерпелся невзгод, зато чувствовал причастность к историческому делу. Но все-таки тяготился необходимостью приказывать. Когда появилось побольше грамотных людей, решил идти на работу попроще, чтобы зря не занимать чужое место. Его упрашивали остаться, не уговорили и направили в Кахтану руководить заготовительным пунктом. Упразднили должность — охотником был. Никакой работы не избегал, всякую от души исполнял. Не во вред людям жил, никому зла не сделал, совестью не поступался.

Скрылся лужок, и снова обычная природа по берегам: сопки, поросшие кедровым стлаником, кустарник и тополя возле реки. «Надо было на том лужку остановиться,— пожалел Кузьмич. — Ребята, должно, утомились, перекусить бы им надо. Утром-то не до этого было».

— Толька,— окликнул сына. — Давай-ка к берегу приткнемся.

Анатолий испуганно спросил:

— Тебе плохо?

— Нет, ничего. Покормиться вам надо,— сказал Кузьмич и подумал: «Не бесчувственный Толька, переживает».

— Обойдемся, не до еды. Быстрее надо в больницу.

— Я тоже хочу есть,— схитрил Кузьмич. — И укачивает меня. Часом раньше, часом позже — без разницы.

Анатолий послушался.

За ними повернула и лодка Сновидова.

— Что случилось? — крикнул Юрий.

— Отец хочет отдохнуть!

Моторка мягко ткнулась в берег и остановилась. Анатолий осторожно шагнул в воду. Рядом причалил Сновидов. На носу, сгорбившись, сидел Чупров.

— Вылезай! — резко сказал Юрий и положил руку на кобуру.

Чупров вздрогнул, словно проснулся, неловко спрыгнул, едва не перевернув лодку. Пристально смотрел Кузьмич на него — на взгляд парень как парень, помятый, пришибленный, и в выражении лица нет ничего зверского. А вчера ведь мало не убил человека.

— Тебя на берег перенести? — спросил сын.

— Здесь полежу. Ты только кукуль поправь, совсем сполз. И под голову дай что-нибудь.

Он с завистью следил, как они ходят, собирают дрова. Теперь, в лучшем случае на какое-то время, эти простые движения ему недоступны. Прозрачным пламенем запылал костерок. «Эх, хоть бы раз еще на своих ногах выбраться в лес!» — вздохнул Кузьмич.

Чупров, сидевший в сторонке, встал, потоптался возле костра и медленно направился к Семену Кузьмичу.

— Стой! — окликнул его Юрий. — Ты куда?

Чупров остановился, просительно залепетал:

— Я ничего... я не хочу плохого. С Кузьмичом поговорить... Я недолго.

— Пусть,— разрешил Кузьмич.

Юрий тронулся следом, не спуская с арестованного глаз. Подошел и Анатолий. Чупров, потупясь, через силу произнес:

— Прости меня, Кузьмич...

— Я тебе не священник, чтобы грехи отпускать. Это по-ихнему просто было — согрешил, покаялся и снова греши. Дешево захотел отделаться, парень.

Чупров молчал, переминаясь с ноги на ногу. Затем вскричал:

— Кузьмич! Я не хотел тебя, я никого не хотел ударить. Я только попугать милиционера! Не знаю, как полу-

чилось. Не вру, правда, не вру! Думаю, помахаюсь перед милицейским, заберут меня, все равно нечего терять.

— Он тебя и так приехал забирать,— сказал Анатолий и сжал кулаки. — Эх, если бы ты не арестованный был, я бы поговорил с тобой!

— Да, забирать приехал,— как бы вспомнил Чупров. — Я его попугать... Хотел, чтобы все меня боялись. Ну, не все, а чтобы Элка, паразитка, боялась. Пьяный я был, Кузьмич, ничего не соображал, одна злость была.

— Пустое, парень, болтаешь! — сердито сказал Сальников. — Что ты за зверь такой, чтобы тебя боялись? Не хотел, да попугать... Облик ты человеческий потерял.

— Да, точно, теперь я подонок,— легко согласился Чупров. — Не всегда я таким был, Семен Кузьмич. Все она, Элка, виновата...

— Бабу-то зачем сюда приплел?

— Я сейчас расскажу. — Чупров зачастил, опасаясь, что не захотят его выслушать. — Я же моряк был. Передовик и все такое. Грамот у меня целая пачка. Как говорится, рыбу стране, деньги жене, нос по волне. Пришел из рейса, пацанка говорит: «У нас дядя Эдуард ночевал. Конфеты мне приносил». Эду-ард,— по слогам повторил Чупров.— Я, значит, просто Лешка... Соседи мне тоже доложили. Думаю, врут. Надеюсь. Невмоготу стало. К Элке приступил. Она, подлюка, заявляет: «Нашел дуру! Что ж я, по полгода буду без тебя засыхать? Не нравится — уходи. Деньги сам будешь высылать или через суд?» Я не вытерпел, ну и загремел на два года. Вся жизнь наперекосяк пошла. Она, значит, пострадавшая, а меня в каталажку... Сюда хотела от меня спрятаться — нашел. Я ей покажу спокойную жизнь!

— Прилип к бабе, как репей к кобыльему хвосту,— тихо проговорил Семен Кузьмич. — Все у тебя виноваты, один ты чистенький. На людей-то зачем кидаешься?

— Выходит, зря. Но зло берет, почему они счастливые, а я нет. Все-таки в Кахтане меня боялись.

— Тьфу, нашел чем гордиться! Совсем у тебя мозги набекрень съехали. Пропадешь ты, парень, раз только о себе думаешь. Злоба, как ржа, тебя съест. — Он помолчал. — Идите, ребята, ешьте. Устал я.

— А ты, батя? — спросил Анатолий.

— Я чаю попью. Плесни в кружку.

Анатолий и Юрий сели возле костра. Чупров лег неподалеку и с отрешенным видом жевал травинку.

— Что развалился! — сердито сказал Анатолий. — Садись, подзаправься.

Чупров с готовностью подскочил, зачем-то провел руками по волосам и смущенно попросил:

— Мне бы сначала сигарету... С ночи не курил.

IX

После заседания Громов, не торопясь, шел вдоль реки, намереваясь, прежде чем направиться домой, заглянуть на строительство коровника. Чуть не каждую неделю вынужден был ругаться с начальником СМУ, чтобы не снимали людей на другие объекты. Через месяц-полтора кровь из носу, а животные должны быть под крышей. «Зря в исполкоме потерял столько времени!» — подосадовал Громов, но было лестно, что и на исполкоме не могут без него обойтись, хотя вроде бы толку от его присутствия никакого.

Закатывалось солнце, как бы проплавив гребень сопки. В долине воздух сгущался, темнел, а низина за рекой и дальний увал освещались пронзительно ярко. Дмитрий Яковлевич смотрел на сопки, на отливающую оловянным блеском воду, на длинный бат, в котором двое мальчишек, неуверенно отталкиваясь шестами, медленно преодолевали течение.

Все это Громов видел не раз, но сейчас вдруг словно вспышкой ударило: как хорошо, что он существует, может наслаждаться погожим летним вечером, что он здоров, а впереди много лет счастливой жизни. «Прекрасно! Эх, до чего прекрасно!» — вслух сказал он и оглянулся — нет ли кого рядом. Подумают, тронулся председатель, в детство впал. Хотелось бегать, прыгать, кувыркаться, но шел степенно, невольно завидуя мальчишкам на бате, которые могут делать все, что вздумается.

По ложбинке возле старой бани от реки медленно поднимались люди. На галечной косе лежали две наполовину вытащенные из воды моторки. Сперва Громов едва обратил на них внимание. Потом возникла удручающая догадка: должно быть, Сальникова привезли. Он нахмурился и прибавил шагу.

Люди остановились на берегу. «Он, точно, он»,— волнуясь, подумал Дмитрий Яковлевич и, подойдя поближе, узнал Сальникова, неподвижно лежавшего на земле. Остановившись в нескольких шагах, Громов с безотчетным страхом смотрел на тело, укрытое пестрым покрывалом. Семен Кузьмич шевельнул протянутой вдоль туловища рукой. «Да он ведь живой. Что я как маленький боюсь!» — подумал

Громов, шагнул вперед, наклонился над ним и тихо спросил:

— Ну как, Семен Кузьмич? Это я, Громов.

— А, Дмитрий Яковлевич... Встречать пришел? — неожиданно громко сказал Сальников. — Похоже, отвоевался я... Может, совсем, а может, на время.

За домами, возле школы, играли в волейбол. Сюда доносились выкрики, тугие удары мяча, милицейской трелью заливался судейский свисток. Противоестественным показалось, что в такой момент кто-то играет, радуется, живет как ни в чем ни бывало.

— Больно? — морщась от сочувствия, спросил Громов и отвел взгляд от одеяла.

— Да нет, ничего. — Сальников помолчал. — А я, Дмитрий Яковлевич, кляузу на тебя отошлю. Насчет села и фермы, конечно. Самому мне, ясное дело, не работать...

— Пиши, Семен Кузьмич! Куда хочешь пиши! — торопливо сказал Громов. — Если мы в чем-нибудь ошибаемся, поправят.

«Откуда у него силы берутся? — поразился Громов. — Знает же, конечно, что может навсегда остаться парализованным. Я бы на его месте... Не знаю, что сделал бы с собой. Или ничего бы не сделал? А только волком выл...» Жутко сделалось при мысли, что он может когда-нибудь лишиться возможности двигаться, действовать. Лучше уж внезапно умереть.

— Пойдем,— приказал милиционер Чупрову.

— Еще раз прости меня, Кузьмич,— глухо промямлил Чупров, не поднимая головы. — Виноват я перед тобой, крепко виноват. Сейчас бы что угодно сделал... Да что теперь говорить! Выздоравливай, а я что присудят — заслужил. Понимаю, что заслужил.

— Эх, Лешка, дурья башка, наделал делов... — вздохнул Сальников. — И другим, и себе навредил. Ладно, иди. Может, проснется совесть...

Чупров пробормотал:

— Век тебя буду, Кузьмич, помнить. Лучше бы сам сейчас... вместо тебя лежал.

Он пошел впереди милиционера, уставясь в землю.

— Таких без пощады надо уничтожать! — гневно сказал Громов. — Мы выделим от колхоза общественного обвинителя, чтобы дали на полную катушку.

Сальников возразил:

— Не стоит, Дмитрий Яковлевич. Мне проку нет, а он, может, поймет... Ты лучше о песцах побеспокойся. Им-то зачем страдать. Да и колхозу убыток.

— Все сделаем, Семен Кузьмич, ты не беспокойся. Лично буду следить,— горячо заверил Громов.

Сальников усмехнулся:

— Ишь какие вы со Стрельцовым на словах стали прыткие. — И после молчания добавил: — Хорошо еще, что я подвернулся этому лиходею. А если бы Юрку покалечил или Тольку? Они молодые, как бы дальше жили? Я ничего, перетерплю. Пожил, походил. Жалко, что навряд ли больше буду землю топтать...

«Да он чуть ли не рад, что сам пострадал, а не другой. Мне бы такое, наверное, и в голову не пришло»,— подумал Громов, невольно чувствуя, что превосходит его Кузьмич какими-то качествами, что понимает он нечто недоступное трезвому рассудку. Громова вроде не в чем упрекнуть — не был он ни черствым, ни равнодушным человеком. Всегда находил время выслушать просьбу и по мере возможности удовлетворить ее. В какой-то мере благодаря его деятельности колхозники живут в хороших домах, сытно едят, тепло одеваются. Какой стороной ни поверни, пользы от него больше, чем от Кузьмича. Так с какой стати возникло смутное ощущение, будто обделен чем-то по сравнению с ним?

Подъехала санитарная машина зеленого цвета. Из кузова вытащили брезентовые носилки. Громов взялся за ручки с одной стороны, Анатолий — с другой.

— Выздоравливай, Семен Кузьмич,— сказал на прощание Громов. — А насчет фермы будь спокоен. Буду приходить к тебе в больницу докладывать.

— Зачем тебе время терять на хождение? Ты человек занятой.

— Ничего, ничего,— смущенно пробормотал Дмитрий Яковлевич. — Найдется время.

Он смотрел, как, переваливаясь на выбоинах, пылит машина по улице, и было такое чувство, что она увозит близкого, но не совсем понятного человека.



ТРИДЦАТЬ МЕТРОВ САТИНА

Дина Макарова

рассказ

— *Раз, два, три... пятнадцать* красного — проверяй! — крикнула кладовщица Зина, кидая Ленке отрез блестящего новенького сатина.

Ленка только нетерпеливо махнула рукой.

— «Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной»,— по привычке напевала она.

Когда началась эта странная Ленкина болезнь, сама она припомнить не могла. Наверное, очень давно. Ленка всегда пела. Пела громко, во весь голос, дома, в комнате. Чуть потише — на кухне, когда готовила у плиты. Шепотом пела на улице и, чтобы не казалось, что она разговаривает сама с собой, сжимала губы при встрече со знакомыми. По дороге в институт, прижатая полусонными людьми к дверям электрички метро, она тоже пела, правда мысленно, про себя, незаметно отстукивая такт. Иногда мелодия прорывалась, и Ленка смущенно оглядывалась по сторонам. И походка ее, подчиненная бесконечному ритму, была быстрой или медленной в зависимости от мелодии.

Кто-то из друзей сказал Ленке, что у нее — «мания пения», и она совершенно серьезно собиралась сходить к врачу, но все было некогда. Просыпаясь ночью, Ленка ловила себя на том, что продолжает мотив, который напевала во сне. Последнее время это были песни Аллы Пугачевой.

— Пятнадцать синего, считай! — Зина сняла с деревянного метра кусок шуршащего сатина и, выйдя из-за прилавка, вложила его в Ленкины руки. — Куда тебе столько? — поинтересовалась она, одергивая на располневшей талии трикотажную футболку с портретом Демиса Русоса.

— Так ведь праздник же! Карнавал! Вы разве не в курсе? — поразилась Ленка.

Девчонки из ее отряда подбежали мигом. Ленка не меряя, на глаз, с треском разрывала на куски материю, раздавая ее направо и налево.

— На Красную шапочку — два метра...

— На принцессу? Синего? Полтора...

— Джульетте — метр...

— А вы что же? Подходите, не стесняйтесь,— пригласила Ленка троих мальчишек постарше, скромно топтавшихся в стороне.

— А мы не из вашего отряда.

— Знаю. Всем хватит. Вам на что?

— На три мушкетера...

— Сколько? Метров пять — годится? — спросила Ленка, обращаясь к самому высокому из них, в новеньких джинсах.

— Я думаю,— ответил тот срывающимся басом.

— «Жил да был, жил да был, жил да был один король...» — распевала Ленка, с удовольствием отмеривая сатин руками. Маленькая ее фигурка в брюках и собственноручно связанном свитере утонула в полотнищах сатина. Когда минут через десять к Ленке подбежали девочки, дежурившие в столовой, им уже ничего не досталось, и они, чуть не плача, ушли ни с чем обратно, накрывать столы к ужину.

Карнавал получился на славу. Собственно, это был не карнавал, а прощальный вечер на берегу большого озера. Прощались с каникулами, с летом, с лагерем. В суете и хлопотах — она отвечала за самодеятельность и аккомпанировала старшим девочкам на гитаре — Ленка даже не успела заметить, был ли кто-нибудь еще, кроме трех мушкетеров, в карнавальном костюме.

Не до этого было: в свои девятнадцать лет Ленка переживала очередную, десятую или одиннадцатую по счету, любовь. На этот раз все ее мысли были заняты воспитателем отряда Мишкой Дылбой, которого за высоченный рост и созвучную фамилию, естественно, прозвали Дылдой. У Мишки были выпуклые карие глаза, чуть вьющиеся черные волосы и длинные, хорошо развитые ноги. Походка его напоминала бег марафонца в начале дистанции.

Ленкина влюбленность вовсе не мешала ей ругаться с Мишкой из-за его непедагогического поведения: он то и дело награждал озорных третьеклашек пинком под зад — «давал полноска» — так он называл этот воспитательный прием. Но, несмотря на это, мальчишки его любили и не оставляли ни на минуту в покое.

А что нравилось в нем Ленке — этого, пожалуй, она объяснить не могла. Чуть меньше, чем ей, Мишка нравился всем без исключения воспитателям и вожатым. А он, в свою очередь, ни одну из них не оставлял без внимания.

Если за обеденным столом не оказывалось вдруг Иры, всегда по локоть вымазанной красками — на ней лежала вся работа по оформлению,— Мишка встревоженно интересовался: «А где наша художница?» — и все замечали, что Иры действительно нет за столом. Стоило заболеть Наташе, воспитательнице самого младшего отряда, он по нескольку раз в день забегал в изолятор, справляясь о ее здоровье. Один лишь Мишка догадался поздравить с днем рождения старшую вожатую и преподнести ей букет полевых цветов, и только благодаря его заботам кладовщица Зина курила свои любимые сигареты — Мишка снабжал ее бесперебойно в обмен на какие-то дефицитные инструменты.

Но никого из них Мишка не катал на самодельном катере. Только Ленку. И только с ней он улетал после отбоя на мотоцикле. Они неслись с такой скоростью, что Ленка теряла ощущение времени и пространства, чувствуя только струи холодных и теплых воздушных потоков. Когда Мишка, не сбавляя скорости, оборачивался к ней и мгновенно чмокал в прохладную щеку, у Ленки от страха буквально останавливалось сердце.

— Любишь?

— Люблю-люблю! — скороговоркой выпаливала она, заставляя его смотреть вперед, на дорогу, с ужасом вспоминая при этом фотографии дорожных катастроф в «Окнах ГАИ».

Мишка был старше на целых три года и ухаживал за ней старательно: в столовой от окошка раздаточной приносил обед на двоих, а потом собирал грязную посуду. В банные дни перемывал всех мальчишек, а когда возвращался из города, непременно привозил что-нибудь вкусное: миндаль в сахаре или халву. И долгоиграющий диск Аллы Пугачевой тоже подарил, узнав, что Ленка обожает ее песни.

Мишка работал в объединении по ремонту сложной бытовой техники и был мастером на все руки. Именно поэтому старшая вожатая относилась к драгоценному кадру с особым почтением и часто отпускала в город.

В такие дни Ленка ходила грустная, не отвечала на шутки. После отбоя она долго не могла заснуть и без конца крутила свою единственную пластинку на дребезжащем от старости «Юбилее», приглушив громкость до предела. Под эту же музыку они неистово целовались в Ленкиной комнатушке на первом этаже деревянной дачи, когда Мишка возвращался.

Карнавал закончился только под утро, когда над озе-

ром поднялся густой холодный туман и в нем утонула бревенчатая баня, стоявшая на самом берегу. На месте большого костра еще вились белесые струйки дыма, но он уже не грел. Вокруг, на вытоптанной лысой поляне, курчавились разноцветными завитками ленты серпантина, валялись пустые пакеты от конфетти и подпаленные огнем костра лоскутки красного и синего сатина.

На следующий день выдавали зарплату. Ленка стояла в очереди, гадая, сколько получит за месяц работы и хватит ли этих денег до возвращения родителей.

— Фамилия?

— Смирнова.

— Смирнова? — переспросила кассирша, выглядывая из-за низенького окошка. — Вас в списке нет.

— Как нет? — опешила Ленка.

— Так нет. Зайдите в бухгалтерию.

Бухгалтер, мужчина лет сорока восьми, с вытянутым вперед крупным носом, ласково объяснил Ленке, что ей необходимо отчитаться за сатин, то есть вернуть на склад выданные тридцать метров материала в любом виде — сшитом или разрезанном.

Слушая бухгалтера, Ленка все шире и шире раскрывала глаза и поднимала голову кверху, чтобы удержать нахлынувшие вдруг слезы. «Этот мир придуман не нами....» — напевал грустный голос, заглушая слова бухгалтера.

— Неужели вы, милая девочка, не понимаете, что значит материальная ответственность? — спрашивал он, но Ленка не слышала его и только видела пучок волос на затылке, шевелившийся от сквозняка.

Девочки из ее отряда собрали все, что могли собрать. Остальное было разрезано неумелыми руками третьеклашек на мелкие кусочки, выброшено в мусорный ящик, а может, оставлено на берегу озера и еще бог знает где. Нет, она не будет проверять тумбочки и чемоданы, как советует бухгалтер. Как можно не верить своим третьеклашкам?

Ленка бродила в зарослях колючего кустарника на поляне, заглянула даже в баню, где на низких деревянных скамейках стояли бутылки из-под водки и три пустые консервные банки, но так ничего и не нашла.

Как ни складывала она, как ни вымеряла возвращенные лоскутки красного и синего сатина, получалось всего метров пять, не больше. Так она и сказала Ивану Захаровичу после отбоя, стоя в его кабинете и держа в руках остатки сатина как вещественные доказательства своей вины, вернее, безответственности.

Начальник лагеря с первого дня показался ей человеком жестоким. На лбу у него, когда он сердился, вздувалась и пульсировала голубая жилка.

Выслушав Ленку, Иван Захарович раздельно и веско произнес:

— Вычтем из зарплаты за полную стоимость материала,— и сурово поджал губы...

Ленка долго сидела на кровати, потом зажгла свет, собрала чемодан и, положив на него листок бумаги, написала доверенность на получение оставшихся денег.

Мишка спал в своей комнате, распластавшись поверх одеяла. Кеды и рваные носки были разбросаны на полу. Ленка еле растолкала его и вложила ему в руку доверенность. Мишка долго моргал непонимающими глазами, потом сунул листок под подушку, повернулся к стене и заснул. Ленка вытащила из-под него байковое одеяло, осторожно накрыла Мишку до самого подбородка, заботливо подоткнула одеяло под тощие бока. Ей так хотелось поцеловать Мишку на прощание, но он уткнулся в подушку, и лица его не было видно. Ленка наклонилась и тихонько чмокнула его в черную макушку.

Наверху у третьеклашек тоже было тихо. С ними даже нельзя попрощаться — поднимут крик, разбудят весь лагерь. Может, надо было обратиться за помощью к ним: побегали бы, поискали все вместе — авось и нашелся бы этот дурацкий сатин. Так нет, не смогла, постеснялась. Спросила один раз и то как бы между прочим. Уж если она сама не догадалась, что за сатин придется отчитываться, так откуда им, несмышленышам, знать, что такое материальная ответственность.

А вообще-то обидно. Не из-за денег, конечно. За все обидно. Съела она, что ли, этот треклятый сатин? Или купальников себе понашила целых двадцать пар — десять красных и десять синих — на всю оставшуюся жизнь? А как радовалась, когда раздавала материал... Эх, да что там говорить...

Темно, страшно... Хоть бы один выглянул, догнал, подхватил сумку. Ну хоть бы тот, Славка-беленький, что руку просил под голову положить. Без этого заснуть не мог первое время. Говорил, мама так приучила. А может, влюбился? Ведь и с ней это было. Было... Влюбилась в вожатого — Марком звали — и стонала целую ночь, и даже слезы текли. Притворялась, что живот болит, пока не подошел и не сел рядом, погладил по голове и успокоил. Чуть в город на «скорой» не отправили...

Прошла неделя с того самого дня, как Ленка вернулась

из лагеря, но Мишка с причитающимися ей деньгами так и не появлялся. Ленка сдала уже все трехлитровые банки, на счастье оказавшиеся в шкафу. Литровые, удобные под компоты, оставила. Потом пришлось занять три рубля у соседки, но и эти деньги кончились.

Почему он не едет? Неужели все еще пересчитывает тюфяки и простыни — это ведь тоже входит в обязанности воспитателя? А может, после вычетов и получать было нечего?

Прошло еще три томительных дня. Мишка все не появлялся, родители почему-то задерживались, а брать в долг у соседей Ленка больше не решалась. Совершенно случайно она вспомнила, что на свете существует ломбард и решила отнести туда свои новые туфли на тонком каблуке, купленные к выпускному балу.

В пропахшем нафталином мрачном зале толпились люди с огромными свертками, сумками, чемоданами. Звенели серебряными ложками старухи, доставая их из пожелтевших от времени тряпок.

Окна зала выходили во двор, где двое мужчин старательно выколачивали пыль из огромного ковра, и громкое эхо вторило каждому удару.

Молчаливая очередь — многие из ожидавших стояли с книгами в руках, чтобы скоротать время,— спускалась зигзагом к раскрытой двери, через которую медленно выплывал на душную улицу голубой дым. Выстоять такую очередь Ленка была не в силах, и, чуть не поскользнувшись на стертых ступеньках, она выскочила наружу.

Миша работает совсем рядом. Нужно только пройти через садик и встать неподалеку от выхода. Через десять минут он должен выйти. И ничего в этом стыдного нет... Только вдруг он подумает, что пришла за деньгами?

Нет, как-то неловко стоять возле самой проходной. Лучше сесть на скамейку, чуть подальше. Отсюда тоже все видно.

Мишка высокий, его нельзя не заметить... Вот он! Идет рядом с блондинкой в цветастом с оборками платье. Ничего блондинка. У Мишки есть вкус.

Нет, попутчица кивнула и свернула за угол.

— Миша!

Наверное, не слышал.

— Миша!

Две... три, четыре остановки... Вот и до набережной дошли.

Как пахнут цветы! В августе у них совершенно особый, прощальный запах.

— Ты здесь сядешь?

Если он так спешит... Ленка отвела глаза.

— Чего такая грустная? Не рада, что встретились?

«Встретились! — мысленно возмутилась она. — Встретила!»

— Вот и твой автобус. Ну, бывай! Да, чуть не забыл,— сказал он небрежным тоном,— деньги занесу через недельку. Потерпишь?

— Конечно-конечно,— торопливо заверила Ленка, почти со страхом глядя на приближающийся автобус.

— Кстати, Володька половину заплатил. Ведь его мальчишки тоже материал брали, верно? Ну, пока! — И поцеловал. Но не так совсем. Совсем не так.

Он шел по набережной, выбрасывая вперед длинные ноги. Он ни разу не оглянулся, не помахал вслед уходящему автобусу — нет телепатии на свете. И зря она так переживала за него — ему ничуть не стыдно, что он потратил чужие деньги, принадлежащие ей рубли, на которые она могла спокойно прожить до приезда родителей. И зря она не смотрела ему в глаза, боясь увидеть, как его мучает совесть.

Ленка тяжело вздохнула и даже полезла в сумочку за носовым платком, но вдруг с удивлением обнаружила, что ей вовсе не хочется плакать.

ПРИКОСНОВЕНИЕ

Евгений Тугинов

повесть

1

В городе было все: арыки, пирамидальные тополя, серые понурые ишаки, сухие сигареты в магазинах, тюбетейки, дешевые арбузы, дыни, помидоры, персики на базаре; были загорелые медлительные люди; были танцы в парке на круглой бетонной площадке, жестяная музыка из динамиков и драки на этих танцах; были малиновые к вечеру горы с трех сторон на горизонте и тягучий асфальт дороги на Ташкент и на перевал к Ферганской долине, а между двух встречных полос дороги росли высокие цветы, похожие на деревенскую российскую мальву. Не было только прохлады. Ни утром, когда солнце круто карабкалось по небу в зенит; ни днем, когда город, желтый от зноя и пыли, прятал живых своих обитателей и хранил каждый лоскуток тени в домах, скверах и чайханах; ни вечером, когда оживали и сухо, пронизывающе стрекотали цикады; ни ночью, когда зажигались фонари и появлялись летучие мыши, рискованно снующие между горячими стенами домов, столбами, деревьями. Казалось, прохлады не было нигде и никогда.

Два дня после приезда киногруппа пролежала в номерах раскаленной гостиницы, лишь к вечеру выползая на улицу, чтобы размять ноги, закупить продуктов на базаре и выпить ледяного морса, который продавали из желтой бочки на колесах.

Холодную воду в гостинице включали три раза в сутки всего на час-полтора, остальное время текла только горячая. Горничная сказала Колмакову, что вся вода идет на поливку хлопка.

На третий день Колмаков встал с головной болью. Ночью он то и дело просыпался от жары, от звона цикад, от собачьего лая где-то вдалеке, в неведомых улицах и переулках, потом долго ворочался на липкой от пота простыне, не мог найти удобное положение тела, чтобы заснуть.

А утром его разбудило, вырвало из душного полусна-полузабытья журчание воды в раковине. Хотелось пить. Он торопливо прошлепал в ванную, боясь, что отключат утреннюю воду, напился прямо из-под крана, наполнил про запас графин и принял душ.

Солнце лупило в окно. Желтый город раскинулся внизу безрадостным ослепительным пространством, и Колмаков с минуту постоял у окна, взъерошивая мокрые волосы, щурясь и зевая, подумал о том, каково сейчас в горах, где им предстоит снимать, закурил. Сигарета казалась ядовитой от сухости и потрескивала при каждой затяжке, как бикфордов шнур.

Колмаков с тоской вспомнил Ленинград, дом свой, комнату с окном во двор, вспомнил Катерину... Она еще спала, должно быть, и этому же вот солнцу еще предстояло заглянуть ей в окошко, разбудить ее своими незлыми северными лучами.

Катерина провожала его в эту экспедицию, как провожала почти во все предыдущие. И снова все было, как прежде: что-то осталось недосказанным, недоделанным, недочувствованным, осталось там, на перроне Московского вокзала. И ему страшна была сама эта затянувшаяся нерешенность, неизменность их отношений. По-прежнему Катерина любила и его, и другого человека, и по-прежнему она тянула с выбором.

Это продолжалось уже почти два года. Катерина не была ему ни женой, ни невестой, ни просто его женщиной. Она приходила и уходила, и все время Колмаков ощущал незримое присутствие того третьего, которого Катерина тоже любила или жалела и которого вовсе и не скрывала от Колмакова. Сначала он злился на него, потом остывал, снова злился и в конце концов сдался, примирился с его существованием между ними. Ведь Катерина и без него, Колмакова, не могла обходиться. Приходила же она, как только он звонил и просил, провожала, встречала, даже поливала цветы в его комнате, когда он бывал в отъезде, и пересылала письма.

«Что она, домработница?» — думал Колмаков в минуты злости на нее, на себя, на того третьего.

Но больше всего злило Колмакова то, что сам он не мог ни уйти от Катерины, ни заставить ее выбрать. Раньше все решалось более или менее просто, да и куда понятнее были его отношения с женщинами. А тут ни то ни се.

Он потерял прежнюю уверенность в себе,— а ведь была, была... Это даже отразилось на его работе. Колмаков доль-

ше стал выставлять свет на съемочной площадке, чаще и тщательнее замерять экспозицию, опасаясь любых изменений погоды. И мучился, страшась брака, в ожидании материала из проявки. Такого с ним никогда не было. Случалось, приноровившись к пленке, привыкнув к определенным условиям освещения, он чуть ли не с середины картины мог снимать без экспонометра, на глаз определяя экспозицию. А уж со светом,— какие приборы и как устанавливать,— вообще не было сомнений.

Колмаков считал себя профессионалом и гордился своей редкой профессией кинооператора, гордился тем, что режиссеры любили с ним работать. И на ж тебе — это странная, пугающая его беспомощность и в любви, и в работе!

2

Пора было грузить съемочную и осветительную аппаратуру в машину. Колмаков торопливо оделся, потея от резких движений, причесался у зеркала и вышел из комнаты.

Потом они с режиссером, его ассистентом, осветителем и ассистентом Колмакова долго ехали на «газике» по городу. Горячими волнами воздух врывался в кабину, обжигая лицо и взъерошивая волосы.

Ребята были вялыми и подавленными. Борька Лапин, ассистент Колмакова, рассказывал о том, что вчера объелся помидоров и всю ночь промаялся животом. Борька любил поболтать о своих недугах, о том, что ел, как приготовлена была пища; любил посплетничать о студийных приятелях, о начальстве. Ему было сорок два года, но Колмаков знал, что и в пятьдесят, и в шестьдесят все на студии будут кликать его Борькой, а интересы его вряд ли зайдут дальше очередного диковинного блюда: какой-нибудь сибирской строганины или узбекского лагмана,— в зависимости от того, куда еще забросит его беспокойная профессия. Но Колмаков знал и то, что Борька — умелый, добросовестный ассистент оператора, и этого было для него достаточно, чтобы терпеть скучную Борькину болтовню. С некоторых пор Колмаков многое прощал людям за их профессиональное умение.

Когда выбрались за город, асфальт кончился. Желтая пыль поднялась из-под колес и, медленно оседая в безветренном раскаленном воздухе, потянулась клубящимся хвостом за машиной, повторяя изгибы дороги. При торможении желтое облако вваливалось в открытые окна, про-

сачивалось в щели брезентового верха кабины, и уже через несколько километров пути одежда у всех покрылась слоем пыли и сделалась одноцветной.

Колмаков забеспокоился за кинокамеру и оптику. И хотя чемоданы, где лежала аппаратура, были плотно закрыты, он сказал Борьке Лапину:

— Камеру придется каждый день чистить после съемок. Пыльно! Жарко! Завтра же белого полотна купи, чтоб было чем от солнца закрывать.

Борька кивнул и тут же заговорил о другом:

— Когда мы с Митей Струниным под Пятигорском снимали... Картина была так себе. А там с утра солнце, небо чистое, иногда даже Эльбрус видать — розовый такой, плоский, торчит из-за гор. А к обеду, как по расписанию, тучку пригоняло. А она за макушку горы зацепится и в какие-то час-два в полнеба вырастает. И дождина до вечера, с градом, бывало. А снимать-то надо... Мы с Митей зонтик раздобыли. Художница у него там знакомая образовалась, она и дала. На выдвижной ноге, метра два в диаметре. В землю воткнул — крыша. А мы под ним не только сами с камерой помещались, но и режиссершу пускали на стульчике посидеть. Была там такая зануда — Марья Марковна Вечная...

— Это она вас пускала! — огрызнулся с переднего сиденья режиссер Иван Рагозин.— И чего это вы там в дождь снимали?

— А картина была про дождь и град...— отозвался Борька.

Иван, или Иван Николаевич, как иногда обращался к нему в шутку Колмаков, болезненно относился ко всякого рода ирониям, часто и вовсе по пустякам обижался, но был отходчив и незлопамятен.

Познакомились они сразу по приходе Колмакова на студию,— поссорились из-за очереди в просмотровый зал. Но уже через день после этой пустяковой ссоры Иван сам подошел к Колмакову мириться. Мировую скрепили в студийном буфете, а после добавили в ближайшем кафе «Темп». Иван Колмакову понравился.

В детстве Иван переболел рахитом, и вот теперь у него были короткие ноги. Ноги-то были как ноги,— Иван даже имел когда-то разряд по лыжам,— но никак не сочетались они с его большой крутолобой головой, с развитым торсом и сильными мужицкими руками. Ему на роду было написано иметь высокий рост, быть добродушным великаном-увальнем, но ноги все портили. Впрочем, не так уж и сильно портили. Это Иван почему-то так считал.

На Колмакова он смотрел с восхищением и часто говаривал:

— Тебе повезло. Всё на месте, всё оттуда, откуда надо, растет. Пропорционально!

— Брось ты, Иван Николаевич...— смущался Колмаков.— Какая разница?

— Когда мне было двадцать пять, я тоже разницы не замечал,— возражал Иван спокойным голосом, немного растягивая слова и чуть заметно окая.— Это сейчас... С годами... Ты ж — пацан. Все легко, все впереди... Оно и на мой век кое-что осталось... Да уж не сравниться с тобой. Ты и в старости видным мужиком будешь: седина, осанка, степенность... А я все вроде как недомерок какой. Было, конечно, и у меня в молодости... Романы там... Победы... Только где это все? Было...

— Так у тебя ж — жена, дети теперь,— возражал Колмаков.

Иван хмурился, потом как-то хитро улыбался, даже не то чтобы хитро, а будто бы плутовато, будто сам себя хотел провести, обмануть, и говорил затем так же обманчиво, не то в шутку, не то всерьез, умалчивая самое главное и не глядя Колмакову в глаза:

— Жена-а?.. Оно конечно... Оно понятно... А сам-то что не женишься?.. Человека поди ищешь? Поищи, поищи... Найдешь, потом заживешь бок о бок с этим человеком... Тогда сам и смотри... И думай, что жена у тебя, дети... И о себе вспомнишь. Жизнь-то проходит, а у тебя все жена да дети... Дети да жена... Хотя, впрочем, смеюсь я... К слову пришлось...

На буровой их ждали. Пока Борька Лапин и осветитель Юрасик Ковтун разгружали аппаратуру, Иван и Колмаков пошли знакомиться с людьми.

«Бригада Героя Социалистического Труда Шокира Балобаева»,— прочел Колмаков табличку у входа на буровую.

— Балобаев,— протянул им руку высокий седой узбек с правильными чертами лица и добрыми глазами.— Можно просто — дядя Саша.

По-русски дядя Саша говорил чисто, без акцента. Позднее Колмаков узнал, что он женат на русской.

На дяде Саше были брезентовые широкие штаны, клетчатая рубаха с закатанными по локти рукавами и стоптанные пыльные кирзовые сапоги с подвернутыми голенищами. Густые седые волосы примяты были каской, которую теперь он держал в руках.

Пока Иван расспрашивал дядю Сашу о порядке рабо-

ты на буровой, договаривался о завтрашних съемках, Колмаков зашел под навес над станком и стал наблюдать за двумя молодыми узбеками с потными, загорелыми лицами. Один из них был буровиком, другой — помощником. Это Колмаков помнил из сценария. Но парни были одинаково молоды, и ему не сразу стало понятно, кто из них кто. Они лихо орудовали подъемником, гремели ключами, перебрасывались изредка непонятными Колмакову словами.

Шла выемка бурильной колонны. Подъемник с грохотом взвивался вверх, в ослепительное азиатское небо, и там замок его с сухим металлическим щелчком автоматически освобождался, чтобы снова спуститься. Свеча, изогнувшись, как спортивный шест, валилась в запасник.

Колмаков машинально отметил, что, если понадобится панорама за подъемником вверх, придется зажимать диафрагму в процессе съемки.

Он всегда старался заранее предусмотреть все неожиданности, которые могли возникнуть в работе, и всегда неожиданностей случалось больше, а решения требовались немедленно. Но Колмаков со свирепой цепкостью вникал в любой процесс, в технологию того, что предстояло снимать, читал режиссерский сценарий, расспрашивал специалистов. А теперь особенно проявлялась его дотошность.

Буровики улыбались Колмакову, продолжая работу.

Его всегда захватывала чужая сноровка в труде, восхищало умение другого человека немногими точными движениями заставлять механизмы делать предназначенное им дело.

Сам Колмаков во время съемок испытывал иногда такое чувство, будто за ним кто-то наблюдает. Тогда он принимал солидный вид, сосредоточивался и важничал. Но был он чересчур горяч для того, чтобы выдержать все действия свои в этой уверенной, невозмутимой манере. Увлекаясь работой, он незаметно терял это чувство, забывал о нарочитой напускной важности, о том, какое впечатление он производит со стороны. Он приседал, опирался на колено, вскакивал в поисках нужного кадра, что-то выкрикивал ассистенту, осветителю, режиссеру. В пылу съемок Колмаков мог обругать кого-то и тут же забыть об этом. Но зла ему почти никогда не помнили. И вообще на работе все ему было яснее, все измерялось лишь пользой тех дел, которые делались им и другими членами съемочной группы, пользой для общего результата — будущего фильма.

3

Иван позвал пить зеленый чай, но Колмаков остался у бурового станка наблюдать, как забрасывают в скважину керноприемник. Он уже мысленно мчался за ним в узкой темноте подземного разреза, представлял, как несется, ударяясь о стенки скважины, металлическая труба, как врезается она в промывочную жидкость и, укротив свое стремительное падение, медленно оседает на колонковый набор.

Все эти термины чужой профессии, все новые для него названия еще были непривычны для слуха Колмакова, еще не рождали в его воображении точного зрительного образа, еще не стали, хоть временно, частью его жизни. И он пытался укоротить этот непременный период привыкания к новому, чтобы скорее вжиться, влезть в материал предстоящей работы и уж не путаться, не отвлекаться потом. В этом, в дотошном изучении другого, чужого для него дела,— конечно, в доступных пределах,— и была, по мнению Колмакова, сущность всякого творчества. В умении проживать чужие жизни, как свою собственную. А для этого нужно было знать эти жизни, знать людей и их профессии.

Ленивый фонтанчик мутной белой жидкости поднялся над скважиной. Керноприемник уже тащили лебедкой назад, на поверхность.

— Какая глубина? — крикнул Колмаков парню за лебедкой и, не удержавшись от соблазна показать свою осведомленность, спросил тут же: — Сейчас керн будете выбивать?

— Сто девяносто. Только начал бурить. Понедельник начал. Вчера авария был,— коверкая слова, ответил парень-узбек, не отрывая глаз от вылезающего из скважины троса лебедки.— Керн нада каждый сто метров выбивать,— добавил он погодя.

— Витя,— тронул его за плечо Борька Лапин и протянул пиалу с чаем,— за доставку к дыре пятнадцать копеек.

Борька уже скинул рубаху и закатал по колено трико. Тучный живот его вывалился наружу.

— Это ты на чаевых откормился? — усмехнулся Колмаков, похлопав Борьку по животу.

— А это, Витя, от беспокойной жизни и нерегулярного питания. Можно сказать, от постоянной тоски по домашним котлетам.— Борька погладил живот ладонью.— А Иван говорит, сегодня нет съемок. Чего ты торчишь тут?

Колмаков подумал, что Борька прав,— какая тут домашняя пища? Лишь бы набить чем желудок, чтобы забыть о нем на время. Ведь все в их жизни, кочевой и неустроенной, подчинено делу, а на заботы о себе мало остается времени, да и возможности не всегда бывают. И по-разному все они относятся к своей судьбе, к этим беспрестанным экспедициям, к временному гостиничному уюту, к отсутствию домашней жратвы. Многие клянут все на чем свет стоит, вечно ворчат и обещают бросить к чертям эту дурацкую работу, найти тихое место, где с девяти до шести и час на обед. Но кончается экспедиция, и те же ворчуны едут в новую и снова ворчат. Только никуда не уходят, потому что такая уж это зараза — кино, почти неизлечимая. И это здорово, что Борька шутит над неустроенным своим житьем,— все равно ведь не уйти.

Колмаков поддержал его шутливый тон и ответил:

— Готовлюсь на помбура. По мне работенка?

— Пыльная,— поморщился Борька, проведя мизинцем по краю лебедки.— Глушь. Даже не Саратов! А правильно я говорю? — обратился он к парню у скважины.

Буровики засмеялись.

Когда достали и выбили керн — каменные гладкие колбаски с красивыми разноцветными прожилками и вкраплениями,— буровики снова запустили станок.

Буровой снаряд сначала медленно, потом быстрее, быстрее завращался. Пол завибрировал, и щекотно стало ступням ног на помосте. Колмаков решил, что все вращение придется снимать с рук, чтобы телом гасить вибрацию.

В домике-конурке, где сидели дядя Саша и вся съемочная группа, кипел на электроплитке чайник, что-то далекое и непонятное бормотала вполголоса трескучая рация, урчал холодильник и жужжали мухи. На столе лежали персики, кишмиш, стояли пиалушки с зелеными чаинками на дне.

Колмаков сел на лавку и поставил пиалу на колено.

— Не нравится? — спросил дядя Саша, кивая на чай.

Колмаков неопределенно пожал плечами.

— Привыкнешь.— Дядя Саша полез в стол, достал кулек и, развернув бумагу, сыпанул на тарелку белых конфет-подушечек.— Попробуй так...— Он замешкался, как будто подбирая нужное слово.— Вприкуску. Мало чая пьешь, откуда силы возьмешь?

— Спасибо,— поблагодарил Колмаков и положил конфету за щеку.

Он осмотрел внутренность домика, задержавшись глазами на развешанных по стенам вымпелах, грамотах, гра-

фиках проходки, бюллетенях соцсоревнования. Мухи залепили стекла единственного окошечка, лениво ползали по занавескам. Дядя Саша отгонял их от пищи, периодически привычно взмахивая большой загорелой рукой над столом. Иван что-то помечал в сценарии. Борька Лапин принялся заваривать чай. А Юрасик от нечего делать резался в замусоленные карты с ассистентом Ивана Задолжанским.

Колмаков подумал, что это вот и есть теперь место их работы, где предстоит провести два месяца бок о бок с дядей Сашей, с парнями из его бригады. И что за люди это, какими они окажутся? Два месяца жизни: съемки, споры, ожидания, горячий зеленый чай из замызганных пиалушек, музыка по транзисторному приемнику «ВЭФ», что стоит на холодильнике, мухи, солнце, пыльная дорога на буровую и с буровой. Два месяца жизни...

Он подумал, как по приезде расскажет обо всем этом Катерине, а может, и не расскажет, забудет, привыкнет и забудет, замотается в обычной, ненадоедающей однообразности своей работы: свет, композиция, экспонометр, соотношение яркостей, оптика, пленка... Да мало ли их, забот и заботок, нужных мелочей, которые требуют внимания?

Колмаков отхлебнул свежего чая, который подлил ему в пиалу Борька Лапин, и обжег язык.

— Сдурел, что ли? — крикнул он Борьке.— Предупреждать же надо!

— А ты, как осветители, когда обожгутся,— загоготал Борька,— помочись на него! Помогает!

Ребята засмеялись. Колмаков тоже улыбнулся.

По дороге в гостиницу шофер Михти, который попросил звать себя Мишей, сказал, что недалеко за городом от реки Чирчик отведена вода в специальный бассейн, чтобы можно было купаться. Сама река была мелкой, с быстрым течением и каменистым дном.

На полпути свернули к бассейну,— все рвались к прохладе, к воде. Только Задолжанского высадили у автобусной остановки. Он поехал в Ташкент, где жили его родственники, обещал утром вернуться.

4

Бассейн имел форму ровного прямоугольника и зарос по берегам ивой с серебристыми узкими листьями. Неподалеку за стеной пирамидальных тополей распласталось

поле хлопчатника, перепоясанное легкой паутиной дождевальной установки.

Долгожданная прохлада обожгла кожу. Вода защекотала, струясь вдоль тела. Колмаков поплыл вслед за Иваном, но вскоре отстал и лег отдохнуть на спину, закрыв глаза, чтобы не видеть солнца.

Юрасик и Борька Лапин забыли плавки в Ленинграде и еще возились на берегу, придавая своим цветастым трусам подобающий вид.

Выходя на берег, Колмаков обрызгал Борьку, который, оступаясь и поеживаясь, входил в воду. Борька завизжал, тяжело уронил свое тело в бассейн, шлепнувшись животом о поверхность воды, и, сопя, отфыркиваясь, медленно поплыл по-собачьи, подгребая руками под себя.

Колмаков растянулся на горячей бетонной скамейке, смахнув предварительно с нее песок и мелкие камешки. У него было такое ощущение, будто он затерялся в чужой далекой стороне, будто это теперь навсегда и нет ему возврата. Это как одна из тех песчинок со скамейки, упала на новое место, подчинившись чьей-то навязанной ей воле, слилась с тысячами других песчинок, забылась в безликости своей, ненужная и безразличная всем.

«С глаз долой — из сердца вон...» — подумал о себе Колмаков

Он неожиданно осознал, что люди нужны друг другу лишь тогда, когда они вместе, рядом, что вот и Катерина далека теперь от него, и поэтому бледнее, глуше память о ней, спокойнее на душе, и не так уже гнетет его, Колмакова, существование того третьего между ними.

Колмаков прикрыл глаза рукой. Мысли его были вялыми и какими-то необязательными, непоследовательными. Одно не вытекало из другого, а просто исчезало, давая дорогу новому, неизвестно откуда берущемуся.

Охлажденное тело расслабилось, принимая тепло нагретой за день скамейки. Песок шелестел, осыпаясь с пологих барханов. И во все стороны до горизонта, где желтая твердь земли сливалась с желтым небом, распласталось зыбучее, звенящее сухим горячим звоном песчаное пространство. И страшно, безутешно уже было на душе от этого тихого вечного звука, словно он один теперь в своей нескончаемой тоскливой продолжительности оставался спутником угасающего человеческого слуха.

Колмакова растолкал шофер Миша.

— Я поехал. Вы остаетесь?

Колмаков, щурясь, приподнялся на локтях, разыскал глазами Ивана. Тот еще плавал, загребая мощными ручи-

щами, приподнимаясь над водой широкой сверкающей спиной и поблескивая стеклами очков.

— Спроси у Ивана...— вяло проговорил Колмаков и, обессилев, опустился на скамейку.

Он слышал, как Миша кликал режиссера, как фыркал Иван, подплывая к берегу, как потом заработал мотор Мишиной машины и как она укатила, подминая шинами песок и гравий. Но все эти звуки проникали в сознание сквозь полудрему и казались какими-то нереальными.

Монотонно плескалась, шумела вода в реке, заглушая голоса поздних купальщиков. И снова все поплыло, потекло куда-то, снова сжалась душа от мрачного ужаса одинокого своего существования. И вдруг, как избавление, неожиданное и желанное, вдруг откуда-то сверху прозвучал Иванов голос. И он сопровождался гудящим, отрывистым эхом в безрадостной пустоте пустыни. Он напряг слух, силясь отделаться от навязчивого песчаного звона в ушах, и душа устремилась на голос.

— Почему бы и нет?.. Нет... Нет...— раздалось уже совсем близко, и Колмаков проснулся.

— Это же естественно! — продолжал Иван.— Как все в природе. Мы просто не можем переступить через что-то отнюдь не обязательное, облекаем отношения между мужчиной и женщиной в кокетство, в жеманство, в недоговоренности, в дутый туман...

Колмаков решил дослушать разговор до конца и остался лежать с закрытыми глазами, стараясь мерно дышать.

— Что вы на меня так смотрите? — спросил Иван кого-то.

— Продолжайте, продолжайте. Все очень интересно! — услышал Колмаков женский голос.

— То, что я говорю, может, не совсем привычно для вас,— сказал Иван снисходительно.

«Неужели он не почувствовал иронии в ее голосе?» — подумал Колмаков, все больше увлекаясь чужим разговором.

— Ничего, ничего,— успокоила Ивана женщина.— Я, знаете ли, привыкла. Подходят, заговаривают... И вы тоже. Но вы, можно сказать, очень деликатно предложили мне переспать с вами...

Иван перебил:

— Ну-у, этого я, предположим, не говорил!

— Вот именно! В этом и заслуга! — уже издевалась над ним женщина.— Другой раз — ничего, кроме грубости и пошлости, не услышишь, а вы так обходительны!

— Зачем потакать вековым заблуждениям? — на всякий, видимо, случай задал Иван вопрос, но по изменившемуся тону его голоса Колмаков понял, что тот что-то заподозрил. Иван говорил обиженно.

— Совесть, любовь, честь — вековые заблуждения? — неожиданно сердито спросила женщина.— А вместо них — взаимное влечение полов?

Колмакову очень захотелось увидеть ее. И ему потребовалось некоторое усилие, чтобы не выдать своего пробуждения.

— Что молчите? — наступала женщина.— Как быть с совестью? Или, по-вашему, любовь нужно низвести до простой случки? А что вы сделаете, если ваша жена... У вас ведь она есть! Такой солидный дядя! Если жена ваша тоже захочет переступить это вековое заблуждение? Сразу вспомните про любовь, про совесть. Я знаю! Да и кто вы такой, чтобы отрицать все это?!

«Фурия! — подумал Колмаков восхищенно.— Держись, Иван Николаич!..»

— Мы? — Голос Ивана сделался напыщенным.— Великие расшатыватели всех и всяческих устоев!

«Кто это «мы»? — удивился Колмаков.— Он и я, что ли?»

— Я-асно! — протянула женщина, смеясь.— Только осторожнее шатайте — можно и разрушить сдуру! А тогда как бы не похоронили сами себя под обломками!..

Колмаков ждал, что ответит ей Иван, но не выдержал, засмеялся и сел на скамейке.

— Лихо тебя, Иван Николаевич! Лихо! — сказал он, разглядывая девушку.

Она была хрупкой, загорелой и какой-то насмешливо-воинственной. Глаза ее прятались за темными стеклами защитных очков. Одета она была в купальник красного цвета и в белую косынку, повязанную на манер сестер милосердия.

— Дядя Ваня...— сказала она удивленно и вдруг совсем по-детски прыснула в ладошку.— Простите! Я не хотела обидеть...

Тут только Колмаков увидал, как мрачен был Иван. «Терпи, брат! Что уж теперь...» — подумал он сочувственно.

Иван смолчал, отвернулся и, заложив руки за спину, степенно направился прочь от скамейки.

— Вы все слышали, я знаю,— сказала девушка Колмакову.— И нечего было притворяться спящим! Вас выдавало дыхание.

«Грамотная! — подумал Колмаков, не зная, что и ответить.— Подмечает...»

Потом они гуляли вдоль берега реки, и Колмаков все старался разглядеть ее глаза. Ему казалось, что и над ним она тайно, одними глазами смеется, скрываясь за темными стеклами очков.

Он узнал, что девушку зовут Розой, что она не любит своего имени, потому что оно очень часто встречается в Азии, что родилась она и прожила все свои годы в этом городке под Ташкентом и что все ей тут обрыдло: и солнце, и хлопок, и базар, и приезжие дяди, которым надо одного и того же. Расставаясь, она пригласила Колмакова в одну компанию, как она сказала, очень интересных и гостеприимных людей. Он записал адрес и обещал зайти после работы.

— Захватите с собой дядю Ваню.

Колмаков кивнул вслед уходящей Розе, потом ухмыльнулся, сорвался с места, догнал ее, забежал вперед и, преградив ей путь, снял с носа ее очки. Глаза Розы не смеялись, а смотрели удивленно.

— Пока,— сказал Колмаков.

Оставшись один, он подумал о том, как неожиданно все в мире: радости, встречи, разлуки. Ведь где-то в самом сокровенном уголке его души живет Катерина, и еще полчаса назад в той заповедной стороне, где хранит он память о ней, не было никого. Катерина одна владела его душой и мыслями. А что теперь? Знакомишься прямо на улице, необязательно, не заботясь и не раздумывая, что будет дальше: рассказываешь для начала пару смешных и пустых историй, любуясь мимолетным впечатлением, которое производишь на нового человека, гуляешь по берегу богом забытой, наполненной водою ямы, записываешь адрес, обещаешь наведаться. Что это: обычная тяга к общению или праздный интерес, желание скоротать безрадостные дни разлуки? И все вроде по-прежнему, и душа твоя продолжает хранить в себе любимую, но вот уже живет рядом, в том же мире твоей души, человек, живет и помнит тебя и ждет от тебя хорошего. И самому тебе уж все равно, как они там вдвоем поделят твой мир и обретут ли в нем покой или беспокойство.

Юрасик с Борькой давно уехали автобусом в гостиницу. Лишь Иван ожидал, пока Колмаков распрощается с Розой. Роза тоже укатила с какими-то парнями на зеленом «Москвиче».

— Мадам урулили? — язвительно осведомился Иван, хотя сам видел, как Роза садилась в машину.— Увидишь,

если, конечно, захочешь,— на деле она куда доступнее, чем хочет казаться. Все они теперь только туман и могут пускать. Но прекрасно знают и помнят, что́ им надо от жизни. А посмотреть на них — такие непорочные, почти святые. Девы Марии! Черта с два!..

— Брось,— возразил Колмаков.— Просто она огрела тебя ниже пояса. Дядя Ваня... Ты ж ужасно переживаешь за годы свои уходящие. Забыл, что предлагал ей? — хитро намекнул Колмаков.

Иван болезненно поморщился.

— Я не предлагал, а так... Да нет же, не предлагал я ей ничегошеньки! Просто хотел напомнить, что она на самом деле из себя представляет. А с другой стороны, мне-то откуда знать? Но ведь, ей-богу, знаю! И никакой тут тайны. Все туман, все только они хотят, чтобы о них думали... чтобы тайна была. И так легко в это поверить, потому что хочется ведь тайны!

— Может, ты уже не в состоянии разглядеть? — спросил Колмаков.

Иван промолчал.

Они ступили в теплую воду. Дно было крутое, и, сделав несколько шагов, они окунулись и поплыли.

Солнце уже касалось верхушек пирамидальных тополей, что росли на противоположном берегу бассейна. Желтая ослепительная дорожка пролегла по воде, дробясь и вздрагивая на крошечных волнах.

— Она пригласила нас в какую-то здешнюю компанию. Пойдешь? — крикнул Колмаков.

Иван перевернулся и поплыл на спине.

— Знаю я эти компании,— зло сказал он.—Ах, Пастернак! Ах, Цветаева! И все в один голос под легкое вино и американские сигареты. Это еще хорошо! А то сойдутся, магнитофон на всю громкость, и молчат. Эти, значит, музыку любят. Ансамбли, группы всякие поминают. Это у них командами называется. Таким уже не до поэзии. Они если помнят с детства «Мороз, Красный нос», и на том спасибо.

Когда переодевались, Колмаков подумал, что Иван, пожалуй, не на шутку разозлился. Таким он его еще не видел. И сюда, что ли, ноги свои приплел? Он давно заметил, что люди с физическими недостатками во всякой обиде, брошенной им, видят намек на свою ущербность. И редко среди них случаются добрые, чуткие души.

«Бог с ним»,— подумал он об Иване.

Но самому Колмакову хотелось пойти в гости. Вечера в экспедициях были тягостны для него. Да и не баловала

Колмакова жизнь интересными компаниями. Не до того как-то было.

Солнце уже касалось далекого чужого горизонта, когда они вышли к автобусной остановке. Редкие машины проносились по шоссе с включенными фарами, а небо темнело на глазах. Солнце зашло.

Прошел мимо по обочине кореец с мешком на плече, и Иван спросил, ходят ли еще автобусы. Кореец остановился, посмотрел на часы, зачем-то оглянулся в ту сторону, куда село солнце, и перекинул мешок с одного плеча на другое.

— Ну? — поторопил Иван.

— Узе фисё,— сказал кореец.— Узе песьком нада.

Иван выругался.

— Чертовы порядки! — прибавил он раздраженно. — Еще девяти нет, а узе фисё!

Кореец невозмутимо поправил мешок и легко зашагал дальше.

Колмаков и Иван стали ловить попутку. Но машины, поравнявшись с ними, как нарочно, прибавляли скорость и проносились мимо, обдавая кожу горячим плотным воздухом.

— Пошли, Иван,— махнул Колмаков рукой.— К утру будем.

Он уже смирился с создавшимся положением, как всегда бывало с ним, когда вдруг становилось ясно, что помощи со стороны не будет и нужно рассчитывать только на себя. К этому Колмаков привык с детства. Тогда ему часто приходилось одному драться с тремя-четырьмя мальчишками из соседних дворов. И, как правило, сначала они били его, пользуясь своим численным превосходством. Но Колмаков не бежал после этого жаловаться родителям или старшим ребятам из своего двора. В нем рождалось и жило чувство несправедливой обиды. И оно не ломало его, не приносило с собою бессильных слез, а перерастало в тихую, крепкую ненависть к обидчикам, в желание отомстить и быть отомщенным. Эта месть всегда представлялась ему очищением души от пережитых унижений и страхов. И Колмаков в исступлении искал новых встреч со своими обидчиками, подкарауливал их по одному, по двое и со свирепой яростью набрасывался на них, не зная милости и пощады.

Но если в детстве все было так просто: они — тебя, ты — их, то позднее Колмаков стал понимать бессмысленность этой формулы в приложении к своим отношениям с людьми в институте, на работе. Нужно было что-то менять, и прежде всего менять в себе. Поступки людей перестали

для него иметь лишь белый и черный цвет. В них появилось множество оттенков, которые Колмаков не всегда мог сразу различить, а различив, найти в себе свое к ним отношение. И эта потеря привычных жизненных ориентиров мучила его, повергала в сомнения и душевный разлад. И Колмаков, стараясь сохранить хоть видимость пошатнувшейся тверди, хоть тень былой ясности души, на многое теперь закрывал глаза, попросту мирился со многим, в решении любого вопроса уповая только на себя.

Идти оказалось непросто. Подошвы клеились к разогретому за день асфальту, издавая противный чмокающий звук. Колмаков с Иваном спустились на обочину.

— Вот они любят о творчестве поболтать,— неожиданно сказал Иван. В голосе его помимо прежнего раздражения была теперь какая-то застарелая, безвыходная усталость.— А что они знают? Результат?

— Кто? — не сообразил Колмаков.

— Ну эти...— неопределенно махнул рукой Иван.— Мальчики и девочки из интересных компаний. Не спорю, они могут накопить горы информации, хоть наизусть Большую энциклопедию выучить, а сами, собственными руками они хоть раз касались этого творчества? Черта с два! Потому что оно грязное, потное... Точнее, не оно, а процесс. Потому что для этого надо ехать на буровую, в коровники, к черту на рога. Да что там!.. Что эти белоручки знают о творчестве? О нашем деле? Соберутся, заложат ногу за ногу, воткнут сигареты и давай восторгаться: «У меня после этого крутого аккорда нутро перевернулось и аж пятки зачесались!» Может, я ошибаюсь? Может, кто-то и умеет все это чистенько обстряпать, без сомнений, без попутных соплей? Не знаю. Вряд ли. Оно везде так. Я понимаю, понимаю, что мы с тобой тут сбоку припека, наше кино второсортное, научно-популярное... Болты в томате... Какое уж тут творчество? Да знаешь, обидно как-то себя со счетов сбрасывать. Ведь мы тоже можем! Творим иногда. А эти ж ни черта! Эти во все играют, как в детстве. Они и из детства-то к старости выходят, чтобы тут же и впасть в него снова.

— Так-то оно так...— проговорил Колмаков, закуривая на ходу. Он даже растерялся от этой Ивановой тирады и еще не сообразил как следует, что к чему.— Но мне плевать, Иван Николаич, что они там знают, а чего не знают. Бог с ними. Может, они мудрее тебя станут со временем. Чего ты на них ополчился? Они ведь тоже где-то вкалывают в поте лица своего. Ну не на буровой, не в коровнике... Ну и что?

— Да нет... Какое ополчился?..— сказал Иван как-то даже виновато.— Раз оно так в жизни, то что уж... И дай им, как говорится... Чтобы стали мудрее... Но иной раз задумаешься, и больно. Хоть плачь от боли этой! Как же так, думаешь? Что же делать? Потом проходит. Забывается, что ли? Да нет! А как-то притупляется... И вроде по-прежнему живешь с раной в душе, а уж как бы что-то другое есть, светлое, как бы прощаешь всех... Куда-то уж и стремится душа, к каким-то высотам... Во что-то веришь опять... Сам еще не чуешь во что, а веришь. Во что-то хорошее. Думаешь, не зря все это кругом, и ты сам не зря, и есть, есть впереди что-то, ради чего стоит...

Колмаков смолчал.

Давно стемнело, а они все шли, держа направление на редкие огни вдалеке. Машины обгоняли, освещая их желтым светом фар. Колмаков машинально следил, как его тень, вытягивающаяся по дороге при появлении машины, сокращается, забирая в сторону, и вовсе исчезает, когда машина проносится мимо.

Они давно перестали голосовать. Все равно никто не тормозил.

— Все-таки чертовски глупо,— проговорил Иван упавшим голосом,— тащиться здесь по дороге, глупо смотреть на эти огни и ждать их приближения и ругать этих самодовольных владельцев собственного транспорта за то, что они боятся подобрать двух незнакомых дураков, прозевавших последний автобус... Слушай, может, мы не туда идем?

Колмаков не ответил. В душе его шевельнулось прежнее чувство покинутости, одиночества. И потребовалось некоторое усилие, чтобы не поддаться ему, увлечься однообразным ритмом собственных шагов и мыслями о завтрашних съемках.

В гостиницу пришлось долго стучаться. Было около двух ночи. Старая женщина в белом халате пристально молча рассматривала их через толстое стекло двери, потом проворчала что-то по-узбекски и наконец открыла.

5

Утром по дороге на буровую, уже в горах, навстречу им попался небольшой табун лошадей. Все кругом настолько было выжжено солнцем, что Колмаков удивился и спросил шофера, чем лошади кормятся.

— Наши кони привыкли! — с неожиданной гордостью сказал Миша.— Наши кони колючку жуют, как верблюды.

А весной, знаешь, какие горы весной? Зеленые! Тюльпаны, цветы всякие, как на клумбе. Весной горы... Зачем весной не приехали? Сейчас только на охоту могу взять. На кабана, на дикобраза. Поехали на ночь? Дикобраза сваришь — мясо нежное, как у кролика! Может, кабан набредет. Поехали?

Колмаков не рад был, что спросил про лошадей. Он не выспался, и все теперь нервировало его: и накатывающийся в открытые окна машины сухой зной, и желтая пыль при торможении, и ее противный скрежет на зубах, и даже болтовня Миши. И странно было, что и работать-то вроде не хотелось. Ничего не хотелось. Разве что оказаться дома... Закрыть глаза, потом открыть — и уже дома. Колмаков вспомнил, что в детстве он пробовал закрывать так глаза, затаив дыхание и веря в мгновенное свое перемещение в пространстве. Тогда ему казалось, что надо только очень захотеть, так захотеть, чтобы заломило в переносице, чтоб сердце онемело в своем непреодолимом желании. Это было с ним, когда мать настояла на своем и отправила его в пионерский лагерь на вторую смену подряд. Но перемещения тогда не получилось, как он ни жмурился, как ни желал его. Пришлось бежать из лагеря и добираться до дома на своих двоих.

— Ружье второе есть,— услышал Колмаков голос Миши.— Едем?

«Поди ты, какой любитель родного края!» — подумал Колмаков, но ответил, сдержав неприязнь:

— Спасибо, Миша. Я охоту не люблю.

Миша пожал плечами и уныло заключил:

— Я тебе хорошо сделать хотел...

Дядя Саша спал на топчане в домике у буровой, спал в сапогах, подложив под голову связку новеньких рукавиц, которые вчера Иван попросил его достать для съемок. Буровики работали с голыми руками, и это было нарушением техники безопасности. В учебном фильме все должно было быть выдержано по правилам, многие из которых в жизни никто не соблюдал. Но Колмаков старался учесть все. Ему уже приходилось переснимать целый эпизод из-за того, что ассистент режиссера забыл организовать покраску станков на прядильной фабрике.

Юрасик занялся своими фонарями, а Борька Лапин установил камеру на штатив и накрыл ее белой холстиной.

Лишь здесь Колмаков обнаружил, что на площадке нет Задолжанского. Он спросил о нем у Ивана, но тот только пожал плечами.

Дядя Саша, отработав ночную смену, остался помочь группе наладить съемки. Иван уговаривал его поехать домой, но дядя Саша, улыбаясь, отказывался.

И действительно, Колмаков скоро понял, что без дяди Саши ничего бы у них не вышло. Трудно было подстроиться к работе буровиков. У них был свой график проходки, который соблюдался неукоснительно. Но для съемки часто требовалось остановить станок, вместо спуска колонны поднимать ее. Еще недоразумения с языком...

— Подымай давай! — кричал Иван.— Ну! Подымай!

Колмаков смотрел в визир, камера работала, пленка летела впустую, а колонна, которой надлежало подниматься, стояла на месте. Иван бегал туда-сюда по деревянному настилу, размахивал сценарием, матерился шепотом, а молодой буровик делал трагическое лицо и спрашивал:

— Не так? Опять не так? Саид, глуши машину! Иван Никалавич, ты дядя Саша скажи!

Так и стали делать. Иван объяснял все дяде Саше, а тот, уже по-узбекски, руководил буровиками.

За смену с грехом пополам одолели четыре кадра. Иван, злой на весь белый свет, сел в машину и молча ждал, пока соберут аппаратуру Борька с Юрасиком. Колмакову самому пришлось поблагодарить дядю Сашу и буровиков Саида с Курбаном, которых снимали.

Возвращались молча.

В тесном гостиничном холле их встретил Задолжанский. Реденькая бороденка его была всклокочена, брюки помяты, рубашка расстегнута и связана концами на животе. Между полами рубашки бледнела впалая грудь Задолжанского, а ниже груди, самостоятельным холмиком, пучился его живот.

Колмаков поморщился, разглядев жидкие волосы на его груди, и подумал, что не вовремя тот попадается Ивану на глаза.

Еще в поезде Задолжанский не понравился ему. И сейчас, вспомнив об этом, Колмаков силился определить, чем же именно не понравился. Конечно, не тем, что на месте, предназначенном для провоза киноаппаратуры, всю дорогу резвились дочка и сын Задолжанского. Такое бывало часто. В экспедиции многие брали своих детей, жен или мужей. Экономили на билетах.

Что-то было такое в этом Задолжанском, что-то настораживало и отталкивало. Может быть, покровительственный тон его? В Азии он родился и вырос, тогда как все ребята, кроме Борьки Лапина, ехали сюда впервые. Вот Задолжанский и распалялся:

— Я вам все покажу! Я вас в «Голубые купола» сначала!.. Там — во! — плов! — А лагман у моей тети!.. Лучший в Ташкенте! Вы ж не знаете, что такое лагман! Все, все будет!.. — закатывал Задолжанский глаза. — На базар — только со мной. Наш базар — это базар! Это не рынок. Там торговаться надо уметь. Спорим? Я пойду и кто-то из вас. Покупать договоримся одно и то же. Ну? Спорим, я дешевле возьму?! Торговаться — это искусство!

Трое суток говорил об этом Задолжанский, старательно коверкая свое произношение, будто он узбек, плохо знающий русский, и трое суток все по очереди и вместе слушали его. Но ведь нельзя же только за это невзлюбить человека.

Может быть, голос его, громкий, даже какой-то металлический, точно перед губами у него всегда был жестяной рупор? И это легко объяснялось и было простительно. Задолжанский, прежде чем попасть на киностудию и стать ассистентом режиссера, закончил институт культуры, факультет режиссуры массовых зрелищ и после несколько лет работал в каком-то парке культуры и отдыха. Так что голос его носил следы прежней профессии.

Колмаков не успел определить, чем ему не нравился Задолжанский, потому что с улицы вошел Иван, держа под мышкой целую кипу свежих газет.

Задолжанский со всех ног кинулся к нему, расставив руки, будто хотел заключить Ивана в объятия.

«Вот дурак!..» — с досадой подумал Колмаков и подошел ближе, чтобы лучше слышать.

— Иван Николаич! — загремел Задолжанский на всю гостиницу. — Прости, дорогой! К ногам твоим припадаю. Никак не мог раньше.

Колмакову стало противно от деланного азиатского акцента его.

«Дешевка!» — подумал он.

Руки Задолжанский продолжал держать разведенными в стороны, но теперь они походили на подрезанные крылья. Лицо его выражало крайнюю степень вины и покорности. Но была в этой гримасе какая-то пошлая театральность, нелепая в создавшейся ситуации. Колмакову показалось, что Задолжанский просто дурачится, что вот-вот сорвется его маска и за ней откроется наглая его ухмылка,— вот, мол, как я вас всех за нос вожу. И неприязнь к Задолжанскому усилилась.

Иван остановился, сощурил глаза под очками и поморщился, как от дурного запаха.

— Иван Николаич! — взмолился Задолжанский громо-

вым голосом.— Ты понимаешь, сердце прихватило. От жары. К обеду оклемался.

Колмакову противно стало смотреть на мученическое лицо его,— слишком велико было несовпадение голоса и гримасы,— и он отвернулся.

— Что вы кривляетесь тут? — услышал он ледяной голос Ивана.—Если бы вы попросили меня дать вам день-другой отдохнуть у родственников — это одно. Не стал бы перечить. А если вы думаете, что кругом вас дураки — пожалуйста! Вам засчитан прогул. Плохо начинаете картину. Завтра сбор у гостиницы в девять утра. До свидания.

Колмаков не ощутил жалости к Задолжанскому. Он подумал о том, что общий труд и общая усталость в труде сближают людей. Борька с Юрасиком тоже без сочувствия к Задолжанскому продолжали таскать аппаратуру в камеру хранения.

Колмаков посмотрел на часы, чтобы хоть как-то показать Задолжанскому, что тоже занят. Ему противна была мысль о том, что тот может подойти и к нему оправдываться, искать поддержки, хватаясь за сердце и коверкая слова.

— Витя, ты-то мне веришь? — ринулся на него Задолжанский.

Колмаков пожал плечами, не отрывая глаз от циферблата часов.

— Да вы что, мужики? — воздел Задолжанский руки к потолку.— Да я завтра бюллетень принесу!

Он забыл уже об акценте и говорил нормально, если не обращать внимания на слишком громкий голос.

Колмаков молча обошел его трагическую фигуру и направился на свой этаж.

6

Знакомые Розы жили в нижней части городка, в той его стороне, где размыкалось кольцо гор на горизонте и простиралась плоская зеленая долина с хлопковыми орошаемыми полями.

Колмаков видел эту долину, струящуюся в горячем вечернем мареве, спускаясь по тенистой улочке, по обе стороны которой стояли кирпичные пыльные домики в один этаж. Домики едва проглядывались за густой листвой виноградных лоз.

Разогретое вялое тело ныло от усталости и, казалось, отдавало теперь свое тепло и без того знойному сухому

воздуху. Голова гудела, и Колмаков тщетно обмахивал лицо носовым платком. Белая футболка темнела под мышками, набрякшая телесной влагой. Это смущало Колмакова. Он привык к аккуратности, которая была необходима в его работе. Как-то незаметно профессиональная аккуратность передалась и его внешнему виду, и маленькому его жилищу.

Он давно заметил за собой мелочную привычку: откуда взял вещь, туда и положил. Его даже раздражало то, как Катерина, уходя из дому, подолгу искала то кошелек, то зонтик. Он-то помнил все.

Иногда это пугало его,— двадцать пять лет, а повадки стариковские,— но чаще все-таки доставляло какую-то тихую радость душе: что-что, а на пустяке его не проведешь. Ведь каждодневная, черная работа кинооператора вся состоит из таких вот пустяковых мелочей: учесть условия освещения, не забыть закрыть диафрагму после поправки резкости, начать вовремя панораму... Да мало ли?

Только на работе Колмаков чувствовал себя живущим полнокровной настоящей жизнью. На съемках у него бывало такое состояние, когда он как бы срастался с камерой, проникал всем существом своим в ее устройство, делался частью ровно работающего механизма. И тогда у него был лишь один глаз — объектив, одна цель — увидеть этим глазом и бережно отложить, сохранить увиденное на пленке. Душа его подчинялась на время другому темпу, другая скорость завладевала ею, скорость движения пленки в чреве кинокамеры,— двадцать четыре кадра в секунду, двадцать четыре кадра, двадцать четыре... И так до тех пор, пока есть пленка в кассете, пока стрелка тахометра стоит на двадцати четырех. Колмаков будто подключался в единую электросистему с камерой, будто и через него шел ток аккумулятора. Менялся пульс, частота дыхания, темп мыслей. Композиция, свет, экспозиция... Композиция, свет...

— Стоп! — кричал режиссер.

И все обрывалось, и вынималась вилка из розетки аккумулятора, и Колмаков готовил новый кадр, чтобы снова и снова жить той короткой и сладкой для него жизнью, которая начиналась со слова:

— Мотор!

В доме Розиных приятелей была прохлада, и Колмаков битый час распинался по этому поводу перед хозяйкой, перед Розой и еще перед двумя девушками, одна из которых приехала в гости к Розе, другая — в гости к хозяйке.

Он чувствовал, как тело его обретает упругость, как усталость покидает мышцы и перестает болеть голова. Колмакову сразу понравилось быть единственным мужчиной в женском обществе, и он, некоторое время подождав, не придет ли еще кто, успокоился и расслабился. Он подумал мельком о том, что все кстати, что вот и Иван отказался, и Роза никого больше из мужчин не позвала. Так что не нужно ни с кем соперничать. И ему показалось уже, что все в этом доме создано и существует только для него. Для него улыбались женщины, для него была прохлада, для него выставляли из холодильника на стол запотевшие бутылки шампанского, и даже та бутылка, что принес он, тоже остывала в морозилке для него; для него включали телевизор, разливали по тарелкам окрошку, бесшумно ели и перебрасывались остротами во время еды; для него все перешли с ним на «ты»; для него слегка были подведены тушью ресницы Розы; для него читали стихи наизусть и лезли за книгами на высокие стеллажи, чтобы прочесть для него какую-нибудь цитату...

В своем упоении женским вниманием Колмаков, чуть хмельной, вышел поздним вечером из этого милого дома, чтобы проводить Розу.

Они пошли пешком, хотя надо было долго идти в темноте по незнакомым улицам под перезвон цикад и лай собак. Девушка, что приехала в гости к Розе, осталась ночевать у гостеприимной хозяйки прохлады, и Колмаков отнесся к этому с прежней легкостью и необязательностью. Ведь это тоже было сделано для него.

Сначала они шли врозь, как чужие, но у Колмакова было такое ощущение, что позови он ее, просто помани пальцем, и Роза подбежит, как собачонка, обнимет и прильнет к нему в немой мольбе не прогонять ее. И он терпел, томил себя и, как ему казалось, ее ожиданием предполагаемого сближения.

Сквозь густую виноградную листву едва пробивался свет из чужих, открытых настежь окон. И этот теплый свет жилья, неожиданно возникающий среди черной тьмы азиатской ночи, все не давал Колмакову привыкнуть к темноте, слепил глаза. И Розу он почти не видел, а слышал ее шаги возле себя, ее осторожное дыхание и улавливал запах ее волос. Лишь изредка ее хрупкая фигурка попадала в случайный пучок света и снова терялась в ночи.

Воздух был мягок и душен, и тепло поднималось от асфальта.

Они дошли до реки, забранной в бетонное русло, и остановились, перегнувшись через невысокий барьер. Вода

ровно, успокаивающе шумела по дну и была черна, как небо.

— Вон там я живу,— отвернулась Роза от реки и указала рукой на недалекие огни.— За пустырем. Можешь дальше не провожать...

Колмакову послышалось в ее голосе отчаяние. Ему стало жаль ее и захотелось поцеловать. Он обнял ее за острые плечи и прижал к себе. Роза притихла, и даже дыхания ее не стало слышно. Колмаков поцеловал ее в волосы.

— Я провожу тебя,— сказал он шепотом и улыбнулся в темноте, ожидая ее ответа.

Роза промолчала, и они пошли через пустырь навстречу огням.

У самого ее подъезда сидел на скамейке парень и курил. Они уже было миновали его и скрылись в дверях парадной, но парень окликнул:

— Роза, можно тебя?

Она вздрогнула под рукой Колмакова и остановилась.

— Роза! — настойчиво позвал парень.

«Сейчас придется драться...» — вяло сообразил Колмаков, снимая руку с Розиного плеча.

— Я быстро,— шепнула ему Роза и выскочила на улицу.

Колмаков видел в проем двери, как парень встал навстречу ей со скамьи, как они отошли на несколько шагов и зашептались, изредка оборачиваясь к нему. Потом парень взял Розу за руку, взял осторожно, едва коснулся выше локтя, словно боялся спугнуть. Но она отдернулась, отпрянула от него.

— Нет, Виталик! — сказала она нетерпеливо и громко и быстро пошла к Колмакову.

Парень опустил голову и пошел прочь.

«Для меня...» — с ленивой радостью пронеслось у Колмакова в мозгу.

7

— А знаешь, чего Задолжанский удумал?— спросил Борька Лапин Колмакова, когда тот на такси подъехал с утра к гостинице.

Ребята сидели на ящиках с аппаратурой, поджидая машину.

— Ты с начала давай,— перебил его Юрасик.— Со вчерашнего вечера.

Борька загадочно заулыбался, подмигнул Колмакову и хлопнул его рукой по коленке.

— А вчера,— начал он, закатив глаза,— только ты ушел, Задолжанский шасть в машину и в Ташкент. Ну, мы с Юриком так решили, что в Ташкент он покатил. Больно важный вид у него был. А уж поздно, часов в одиннадцать, мы с танцев возвращались,—поглазеть ходили, как народ здешний веселится. Так вот, мы на крыльцо, а Задолжанский уж и назад прикатил. Выползает этак боком из машины, за сердце держится, прихрамывает. Только не охает! Но это он потом. И мимо нас, будто и не видит, в гостиницу порулил. А сегодня на съемки вставать... А я всю ночь из-за этих помидоров... Дешевые, сволочи, а для организма моего вредные. Пойду, думаю, разбужу Задолжанского. А то проспит — будет ему, сердешному, от Ивана. Стучу. Слышу: «О-ох!» А я ему: «Вставай, Леха! Пора уже». Он громче: «О-о-ох!.. Там не заперто...» Захожу в номер к нему. Лежит. Окно закрыто. А вонища! На голове у самого полотенце сохнет, борода в потолок, на тумбочке бюллетень и таблетки. Я к Ивану. «А погляди,— говорю,— до чего человека довел!» А тот и рад стараться. Вот и ждем тут. И еще небось просидим. У Задолжанского теперь прощения просит. Я с Ванькой работал, он ведь отходчивый. Гуманист! Если почует, что виноват, так на коленях молить будет. Мягкий он, Ванька-то. А я вот, дурак, не догадался поглядеть, с какого там числа у Задолжанского бюллетень открыт. А ну как бессрочный!

— Ни хрена не болит у него! — заявил Юрасик.— Пройда, он и есть пройда! И Ивана за нос водит. Этот больной даже деньги нам с Борькой за носильщиков с условием обещал заплатить.

— Что еще? — удивился Колмаков.

— Чтоб вместе с ним их пропили,— отмахнулся Юрасик.— Но мы ж не полные дураки, как он думает. Таскали аппаратуру? Таскали. Он тут при чем? Совести нет у человека — и все дела!

— Да, Витя,— подтвердил Борька.— Ты скажи ему!.. Скажи, чтоб деньги за носаков нам сегодня же выдал! А не обломится, пускай не ждет! Ишь на чужое горазд!.. А я, может, ее, водку-то, и не пью. Я, может, деньги эти на другое хочу пустить. А он думает, если его администратором по совместительству назначили, то можно как из своего кармана расплачиваться!

Подкатил Миша на своем умытом «газике». Брезент кузова еще не просох и дымился паром, отдавая нагревающемуся дню драгоценную влагу и прохладу.

Борька с Юрасиком погрузили аппаратуру.

Вышел из гостиницы Иван, хмуро поздоровался с Колмаковым и сел на переднее сиденье машины, рядом с водителем.

По городу ехали молча. Миша принялся было мечтательно рассуждать, как в субботу поедет в горы охотиться, но замолк, не встретив сочувствия своим словам.

Когда выбрались за город, Иван обернулся и сказал Колмакову печальным голосом:

— Человека я обидел. У него аритмия.

— А что ли, слушал? — спросил Борька, ухмыляясь.

— Что? — нахмурился Иван.

— Как сердце у Задолжанского стучит? — уточнил Борька.

Иван не ответил.

— Не казнись, Иван Николаич,— успокоил его Юрасик.— Этому пройде сносу нет, когда на его мельницу воду гнать надо. Знаю я! Ты про деньги наши спросил? Жмется небось...

Иван нехотя сказал:

— После съемок зайдите — обещал выплатить.

Колмаков подумал, что вот и начались обычные трения, притирки, выяснения отношений в группе. Так часто бывало в долгих экспедициях. Кто-то строил козни, закручивал интрижки, кто-то ни во что не верил, кто-то, как сейчас Колмаков, был равнодушен ко всему происходящему, кто-то страдал от чужих козней и интрижек. Колмаков давно решил не обращать внимания на всякую околокиношную возню, на то, что не было связано с его непосредственным делом, а рождено помимо него, в стороне от настоящего, от того, что составляло лучшую часть его жизни. Все могло начаться с малого,— кого в какой гостиничный номер поселил директор картины. Почему этого в одноместный, а того — в трехместный? И накалялись страсти, и люди переставали здороваться друг с другом, и начинали шептаться с другими людьми в стремлении опорочить тех, с кем они не здоровались. Часто на этом не останавливались. Тогда на студию шли обвинительные телеграммы с требованиями отозвать неугодных из экспедиции, прислать замену. И для многих мелочная эта вражда длилась годами, изнуряя носителей самой вражды и мешая главному — созданию фильма.

Все это было глупой, страшной забавой взрослых людей, но ведь было, было! Колмаков боялся этого, просто боялся и закрывал на многое глаза, сохраняя себя для

дела, для того, чтобы на экране появлялись дяди Саши и Саиды, чтобы не гас этот экран. И он знал, что не одинок в своем наивном стремлении избегать пустых мелочей ради главного и настоящего.

У дяди Саши на буровой часа два назад случилась авария. Он на бегу, громыхая по деревянному настилу тяжелыми сапогами, поздоровался со всеми, крикнул:

— Чаю, чаю попейте. Грунт тяжелый, колонна оборвалась. Мы скоро!

Он сказал это, улыбаясь виноватой улыбкой, каким-то просительным голосом, будто оправдывался за аварию, за то, что группа вынуждена по их милости простаивать. Это кольнуло Колмакова стыдом, и он подумал, что люди, знающие цену труду, бережно относятся и к чужому делу. Все ребята из съемочной группы ушли в бытовку и притихли там, наблюдая за торопливой работой буровиков. Дядя Саша, Саид и Курбан, голые по пояс, потные, перепачканные смазкой и белой промывочной жидкостью, вытаскивали, свечу за свечой, оборвавшуюся колонну из скважины. Колмаков знал из сценария, что все им надо делать быстро, потому что грунт может зажать обрывок колонны, а тогда все,— месяц работы,— пойдет насмарку. Он подумал, что и спасительное «мы тоже делаем свое нужное дело» тут тоже не подходит. Обязательно кто-то платит за успех их фильмов, кто-то — это те же Саид и Курбан, с которых сейчас ручьями течет пот и мышцы которых напряжены в долгом усилии.

Это чувство вины, вернее, вины и благодарности часто охватывало Колмакова в его работе. И вина была впереди, была не только в том, что съемки всегда мешали большой настоящей работе других людей, но главное в том, что не было до конца известно, как эта работа и эти люди получатся на экране и сможет ли его, Колмакова, труд искупить чужие затраты.

А уж потом было и чувство благодарности, когда фильм был готов, был удачен, когда его принимали и хвалили его создателей.

— Может, репортажно снимем? — спросил Иван, подойдя к Колмакову с пиалой в руках.— Красиво и без фальши. У нас есть авария в сценарии...

— Не знаю,— пожал Колмаков плечами.— Не помешаем ли?

Иван отвернулся и пошел в бытовку, где Борька с Юрасиком резались в карты, отмахиваясь от мух и попивая зеленый чай.

8

Колмаков стянул футболку, закатал джинсы по колено и, обойдя грохочущую буровую, поплелся по неизвестно кем протоптанной тропинке в гору. Ему грустно было, словно заглянул он далеко вперед, в будущее, и не нашел ничего отрадного там, утешительного своим невеселым мыслям. Те же экспедиции: колеса, крылья, качка; те же вечерние прогулки по незнакомым улицам чужих городов; те же пустые, не трогающие душу поцелуи нелюбимых женщин, жизнь и боль которых так и останутся для него тайной...

Роза привела его домой, усадила на кухню, предварительно выгнав в лоджию здоровенного рыжего дога по кличке Адам.

Пока она шепталась с кем-то за дверью, Колмаков любовался собакой через стекло окна в лоджию. Дог был молодой и компанейский. Он не рычал, не лаял, а приятельски помахивал Колмакову хвостом, поскуливал и, встав на задние лапы, барабанил передними в стекло, требуя внимания к себе и общения.

С детства Колмаков мечтал иметь собаку, но все что-то мешало. Всюду, где он жил, были соседи, было их недовольное сопение за спиной, а иногда и открытая брань их сначала с родителями Колмакова, позднее — с ним самим. Оставалось только мечтать о собаке.

А тут такой здоровенный приятель, друг человека! Колмаков глаз не мог оторвать от дога, чмокал губами, посвистывал ему.

Поэтому, когда Роза вернулась и сказала: «Оставайся», собака в решении Колмакова остаться сыграла не последнюю роль. Хоть временно, думал он, а будет у него собака, почти своя. Он даже не очень-то расслышал, что дальше говорила Роза, как она говорила, потому что в тот момент думал о рыжем доге Адаме и о себе самом. И только теперь, в горах, до него дошли вчерашние Розины слова, ее решимость и отчаяние.

«Мне ничего не надо...— вспомнил он.— Поживешь и уедешь...»

Потом была душная ночь, было раннее тревожное пробуждение, когда за дверью комнаты, незнакомой, озаренной утренним солнцем комнаты, где они с Розой спали, кто-то ходил, шептался, ронял что-то, шелестел чем-то; был панический сонный страх проспать на работу, было короткое забытье, была рядом горячая со сна Роза и отчужденность к ней...

Колмаков шел по пологому выжженному склону горы, поднимая желтую пыль и спугивая мелкие камешки. Он думал о том, что до него Роза жила своей, тайной для него жизнью и была кому-то дорога, нужна и понятна. Тому же парню, Виталику. А теперь пришел он, Колмаков, и Роза, обманывая себя, бросила все это... Ради чего? Зачем она так? Зачем он? И что будет в ее жизни, когда он уйдет, когда кончится экспедиция и ему не надо будет заполнять вечера, когда вернется он к Катерине? К кому она вернется? И почему все для него? Что за дурацкая уверенность?

Но мысли эти лишь мельком пронеслись в голове Колмакова, не задев души его, не причинив ей боли сострадания. Он сберег себя, как сберегал от студийных дрязг и сплетен, сберег тем, что сосредоточился на мыслях о работе.

После обеда начали снимать. Но уже на третьем кадре у Юрасика одна за другой сгорели чуть ли не все лампы в приборах.

Иван шагал по буровой, заложив руки со скатанным в трубку сценарием за спину, и шепотом матерился. Борька Лапин ударился в воспоминания о том, как когда-то у кого-то в экспедиции погорели не только все лампы, но и провода. Юрасик бегал от пульта к приборам, ощупывал зачем-то провода и все разводил руками.

Запасные лампы были в гостинице, и Иван велел ехать за ними.

— Чтоб одна нога здесь, другая там! — погрозил он Юрасику пальцем.

— Я скоро. Я что? Нищему собраться — только рот закрыть. Я мигом...— виновато бубнил Юрасик, садясь в машину.— Надо бы фазы еще вчера перекинуть. Да вроде не пробивало...

Колмаков впервые видел Юрасика таким расстроенным. Обычно тот легче переносил неудачи в своей работе, как и большинство осветителей со студии. Даже было в нем какое-то упрямство, когда обвиняли его в той или иной провинности. Он кипятился, кричал, что плевать ему на все, что его дело маленькое и особенно гнуть спину за чужие постановочные он не собирается. Но сейчас,— и Колмаков относил это прежде всего к трудным условиям съемки,— сейчас Юрасик переживал свой промах, как никогда, остро и болезненно.

И снова был зеленый чай, снова дядя Саша, умытый после аварии, хозяйничал в бытовке, предлагал виноград, сушеный урюк, инжир, снова ленивые мухи роились над

пищей и неохотно разлетались, когда их кто-нибудь отгонял рукой.

— Откуда мух столько? — спросил Колмаков.

— Да-а...— махнул дядя Саша рукой в неопределенном направлении.— Городская свалка за горой. Вот они и летают к нам в гости.

Это сообщение заинтересовало Борьку Лапина, и он, подробнее расспросив дядю Сашу, как найти свалку, полез в гору, забыв о жаре и зеленом чае, который нахваливал.

— А я знаю,— крикнул он, уходя,— там такое можно найти! Кто со мной? Народ нынче с жиру бесится, все старое и ценное на свалку несет. А это ж золотое дно!

Иван усмехнулся, глядя вслед Борьке, неуклюже карабкающемуся вверх по выжженному склону.

Колмаков подумал о привычке, которая вырабатывается у людей, много и далеко ездящих, о привычке всюду совать нос в поисках выгоды. Пожалуй, Борька больше других был подвержен действию этой привычки. И даже здесь, пока вся группа отлеживалась по приезде, обвыкалась в жаре и превозмогала жажду, Борька, оказалось, нашел в себе силы пробежаться по магазинам и выяснить, что почем, чем можно поживиться, а чего и в Ленинграде навалом. Он купил себе узбекский стеганый халат, десять флаконов французского шампуня, какие-то дефицитные колготки и даже пару лифчиков жене, за которыми, по его словам, в Гостином была бы давка и смертоубийство.

Но не прошло и получаса, как Борька вернулся. Колмаков первым увидел его, осторожно спускающегося с горы, и усмехнулся над тем, как Борька вытягивал шею, чтобы разглядеть из-за своего живота дорогу.

— Что скоро? — засмеялся Иван, когда Борька, потный и пыльный, ввалился в бытовку. — Или золотое дно оскудело?

Борька отмахнулся и плюхнулся на лавку, едва переводя дыхание. Колмаков подвинул ему пиалу с чаем.

— Все забито...— наконец выпалил Борька.— А там у них целый комбинат по переработке мусора в деньги. Я только сунулся, мне говорит какой-то очкарик: «Куда прешь, парень? Не твое, не лезь!» И надо же! Работают, гады, в спецовочках, в перчатках, с инструментом! А их там человек двадцать трудится. Ну, мне, конечно, интересно стало, кто такие, сколько имеют? Так этот очкарик рассказал, что вся свалка у них на секторы и зоны поделена. И каждый свою зону знает и в ней только роется. Спрашиваю его, сколько ж в месяц выходит чистыми? А он мне: «Когда как. На жизнь хватает. И на бутерброд с маслом».

В общем, рублей четыреста—пятьсот на круг выходит у них. Не меньше! А один там только золотых колец девять штук за прошлый год отрыл. Не считая уже мебели старинной, которую они сами ремонтируют и в комиссионки толкают, подсвечников разных, фарфора, литья... А сюда ведь из самого Ташкента мусор везут! Живут же люди! — мечтательно закатил он глаза.— А тут вкалываешь за свои сто целковых плюс вшивенькие премиальные. Желудок портишь, жену месяцами не видишь — не чуешь, дрожишь, как бы брака не было... А, всё! Бросаю кино, иду свалочных дел мастером! Вот житуха!

Мухи облепили потного Борьку, и он, пока рассказывал, все отмахивался от них. Но мухи не отставали. Тогда он вскочил с лавки, отчаянно задергался, замахал руками. Живот его заходил ходуном.

— А, сволочи, привязались! — выкрикнул он.— Небось запах свалки учуяли. За своего признали! И как конкурента со света сжить хотят.

— Давай я по тебе мухобойкой пройдусь! — хохоча, предложил Иван свои услуги.

— А ну тебя! — всерьез испугался Борька.— У тебя, Вань, рука тяжелая. Не ровен час — ты и меня, как муху, пришибешь!

Приехал Юрасик с лампами. И пока он готовился к съемкам, Борька, не выдержав мушиной осады, залез в бочку с мутной водой, что стояла за бытовкой, и искупался. Мухи оставили его в покое.

Во время съемок Колмаков никак не мог сосредоточиться, поймать в себе слабый, то и дело затухающий импульс внутреннего горения, которое всегда бывало для него первой приметой полной самоотдачи в труде. Ему мешала свалка. Он уже никак не мог забыть Борькиного рассказа, не мог отвлечься от него. Его мучил вопрос, от разрешения которого,— так ему казалось,— зависело, сможет ли он и впредь полностью отдаваться своей работе, так же любить ее, так же забывать в ней все на свете. Ну неужели, думал он, неужели само предвкушение больших денег может заставить человека терпеть нудную, кропотливую, но самое страшное — никому не нужную, бессмысленную возню в отбросах, в хламе, терпеть вонь, жару, укусы насекомых? Он пытался представить себя на месте тех людей со свалки и не мог. И вдруг он понял, чем претит ему эта деятельность очкарика и тех двадцати его коллег. Эти люди перешагивали через главное — через результат труда. Для Колмакова же было необходимо видеть, слышать, осязать плоды своей работы. Иначе все теряло для него

смысл. Это потом была зарплата, потом были постановочные. Но все эти деньги были вознаграждением за что-то, что он любил, как создатель любит свое детище, что было бесценно для него, но кем-то оценивалось. Пусть оценивалось дешево, пусть не было у него достатка, пусть не всегда, на его взгляд, торжествовала справедливость и кто-то из призванных быть беспристрастными вовсе не был таковым и сводил с Колмаковым свои мелочные счеты, занижая оценку,— пусть все это было, но сначала все-таки был фильм, было дело, его дело. А у них, у этих свалочных мастеров, результатом труда были деньги. И Колмаков никак не мог проникнуть в сущность этого голого, пустого для него, чужого существования, не мог представить себе их душевного равнодушия к тому, за что они получают эти свои большие деньги, не мог даже в мыслях лишить себя радости созерцания себя как мастера в своем изделии. Было в этом что-то для него дикое, противное всей природе человека.

В этих размышлениях, в этих болезненных попытках понять непонятное и прошла для Колмакова съемочная смена.

По дороге в гостиницу он с раздражением слушал болтовню Борьки Лапина. Тот смеялся над Юрасиком.

— А что,— подзуживал Борька,— уложил сто штук в одну коробочку?

Это он имел в виду перегоревшие лампы, которые Юрасик в сердцах побросал с горы на камни.

Колмакова даже злило это веселье. А тут еще Иван заявил, что группа наконец-то отработала смену добротно и выдала хороший метраж. Колмаков не чувствовал в себе удовлетворения. Все было сделано как-то суматошно, без души, и сам он выехал на голом профессионализме.

9

В номере было жарко, но и на улицу идти не хотелось. Колмаков посмотрел в зеркало на густую черно-рыжую щетину, которая повылазила на щеках и подбородке, и решил побриться.

Делал он это обстоятельно: долго взбивал пену волосяным помазком в алюминиевом стаканчике, оттачивал бритву о тыльную сторону своего широкого кожаного ремня. Опасная бритва была старая, немецкая. Отец привез ее из Германии после войны.

Колмакову нравились холодные прикосновения бритвы

к натянутой коже, нравилось опасное соседство живой плоти с отточенным краем закаленного металла, соседство, так напоминающее ему о мужских смертельных забавах: дуэлях, абордажах, драках. Вряд ли Колмаков был романтиком. Он даже в детстве не грезил далекими временами пиратов и мушкетеров. Но когда довелось на съемках в одном из музеев подержать в руках настоящую дворянскую шпагу, у Колмакова защемило сердце от сознания невозможности владеть таким оружием и применять его в случае надобности. Это, казалось ему, многое упростило бы в его теперешней жизни, избавило бы от многих сомнений, от необходимости с нарочитым равнодушием закрываться в створках своей душевной раковины, сохраняя тем самым скудеющее в затворничестве душевное тепло. Обидчика, подлеца к ответу, к барьеру, один на один, глаза в глаза. Так было в детстве, и хотелось, чтобы так было всегда.

Убирая за собой и складывая бритвенные принадлежности, он подумал, что снова, как и всегда в экспедициях, встает перед ним проблема свободного вечера. Что делать? Куда себя деть? Оставшееся до ночи время представлялось ему бесконечно длинным и мучительным, как восточные пытки, о которых он где-то читал.

Он сходил к Ивану, надеясь как-то скоротать время, но тот сидел за неудобным гостиничным столом и что-то писал. Он даже не обернулся, когда вошел Колмаков.

Иван был гладко причесан после душа, и в комнате стоял терпкий запах тройного одеколона.

— Сценарий правишь? — разочарованно спросил Колмаков, глядя Ивану в затылок.

— Пишу,— оторвался-таки Иван от бумаги и обернулся.— Роман...

Колмаков кивнул и вышел из номера. Он подумал, что можно, конечно, пойти и к Розе, и его тянуло к ней, но, вспомнив весь вчерашний вечер, жалкие слова Розы, а потом, поутру, сомнения свои и беспомощное бегство от них, Колмаков ощутил брезгливость к себе и сделалось ему стыдно. Но мучения совести продолжались недолго, потому что опять сработала натренированная машина самосохранения; опять она отвлекла его на другое, слепо и пока безотказно сохраняя душу его от чужой боли и сопереживания ей.

И Колмаков уже поймал себя на мысли о Катерине и о том, что давно не думал о ней, так давно, что уж и не помнил когда. Ему вдруг стало понятно странное на первый взгляд занятие Ивана — эта писанина, которая как бы

держала его в привычных домашних рамках, в той, ленинградской их жизни, оставленной Колмаковым и неожиданно забытой. И чтобы вернуться к прежнему ощущению себя в мире, Колмаков насильно заставил себя войти в свой номер и сесть за письмо Катерине.

Но это было не обычное письмо, скорее, это было возвращением к тому недосказанному, недоделанному, недочувствованному между ними, к тому, что могло продолжаться бесконечно долго, не исчерпывая своего изнурительного неясного содержания ни в словах, ни в поступках; к тому, чего боялся Колмаков и от чего хранила пока его судьба. Но он уже чувствовал, как надвигаются на него эти мучительные вопросы, неотвратимо и не щадя его. Потому что уже была в его жизни Роза, были эти проклятые вечера, была смущающая душу неясность впереди. Ему надо было сейчас же, за столом, на бумаге, разобраться в себе. Это было главное, и без этого было не обойтись.

Он стал писать о своей любви к Катерине, о безответности ее, о чувстве страха перед тем, что Катерина может выбрать не его, о том, что все это заставляло панически гнать от себя мысли о любви и самой любви не давать раскрыться, расцвести: слишком мало ей обещалось возможностей обрести в ответ сочувствие.

Не написав и трех страниц, Колмаков скомкал их и выбросил в корзину. Но в нем уже горело желание говорить и быть понимаемым. Ему хотелось, чтобы его выслушали, участливо или безучастно, но выслушали. И было неважно, кто будет слушателем: Катерина или просто бумага,— лишь бы излиться, очистить душу от накопленных тайн ее.

Он снова сел писать, уже просто так, чтобы только не молчать, не быть с самим собой, не обегать в бессильной лихорадочной страсти углы этого вечного треугольника: Катерина, он сам и тот третий.

«...Я слышал, что Иван был когда-то самым молодым режиссером на студии. Были у него тогда призы и дипломы кинофестивалей, была какая-то премия, которую дают только киношникам, а лет восемь назад наградили его орденом. Каким, не знаю, но ордена ведь не дают даром...

У моей мамы тоже есть орден. «Знак Почета». Двадцать лет работы на одном предприятии со дня его основания, каждый день с девяти до шести, перевыполнение плана и просто его выполнение, а когда план горел — работа вечерами, а то и дома, ночами.

Работа — все. Тихий каждодневный подвиг, потому и орден...

Или у отца — фронт...

И нужно-то было не высоту взять или закрепиться на плацдарме, нужно было лишь выбить немецкую пехоту из передовых траншей. Артподготовка по этим траншеям не велась. Снаряды рвались дальше, вглубь круша линию обороны. Всего лишь? Нет уж! Потому что потом, после той рукопашной, их роту расформировали, а оставшиеся в живых стали орденоносцами.

Зато основная масса нашей пехоты не споткнулась, не зарылась в снегу под фланговым огнем из этих передовых немецких траншей.

Это ведь там, на фронте, так было: понятно и честно.

А сейчас? Сейчас какой-то дьявольский узел...

А Иван теперь не получает премий, не выходит перед своими премьерами к зрителям... Вот уж несколько лет он делает непрестижные картины, которые не везут с помпой в Дом кино, о которых не пишут в газетах. Такие картины незаметно и скудно тиражируют и показывают в узком кругу специалистов.

Престижные картины снимают другие. Не то чтобы те другие были талантливее Ивана, просто так получилось: что-то упустил он, проглядел... Может, это для него своеобразный фронт?

Теперь Иван пытается утвердиться в другом, пишет рассказы, повести, роман вот сейчас... Ведь нужна человеку опора, убежище души, надежда, чтобы жить. Но его не печатают. Ему присылают хвалебные рецензии, пишут, что и язык у него крепкий, добротный, и характеры сильные, выпуклые, хорошо прорисованные, — так и пишут; и композиционно вещи динамичны и вполне закончены. А в конце регулярно стоит «но». И это «но» уничтожает, стирает в порошок все перечисленные достоинства его прозы. А главное, это «но» — первое искреннее слово во всех рецензиях.

И можно понять рецензентов этих, что лгут Ивану сначала, чтобы потом двумя фразами все уничтожить, можно понять: они ценят его время, проведенное за письменным столом, чувствуют честолюбивые движения души Ивана и считаются с ними. Нельзя лишь ни понять, ни простить их желания обнадежить человека, бездарного в литературе, их вежливой лжи по такому святому поводу. Надо сразу отсекать больное, как отсекают гнойный аппендицит, чтобы не погиб человек.

Впрочем, Иван еще молодец. В частые минуты самобичевания он говорил друзьям, и мне говорил:

— К черту! Бросаю! И так давно ясно — я не писатель. Остается дерзнуть в кино последний раз.

И ведь ему все равно, где прославиться, на каком камне оставить свое имя. Я до сих пор помню, еще со школы, рассказ нашей исторички о древних египтянах. У них считалось, что высеченное на надгробной стеле имя усопшего как бы продлевало его жизнь в веках. И те, кто не имел средств на сооружение надгробия, втайне, может быть ночью, просто краской писали свои имена на чужих надгробиях.

А стереть имя врага — считалось в те времена самой страшной местью.

Иван, видать, тоже хочет оставить свое имя. И ему плевать, достанет ли у него таланта соорудить свое собственное надгробие или расписаться на чужом.

Но когда он говорит, что все бросает, я верю ему, потому что читал многое, им написанное; верю, что не возьмется он за перо и не подумает больше о том, о чем редко, наверное, думают настоящие писатели: как напечатают его повести, и придет слава, и перешлют деньги по почте...

А сегодня выяснилось — роман пишет... И мне больно становится за него. Я представляю Ивана дома за пишущей машинкой, которую он ставит, наверное, на кухонную табуретку, подстелив кусок толстого войлока; представляю, как жена его шикает на детей: «Тише! Папа работает!..», и уж вежливо спрашиваю, о чем рассказ или повесть, и он загорается, начинает рассказывать о чем, и я слушаю, кивая головой, и мне уж мерзко, стыдно за свое поведение.

Боже! Почему мы боимся сказать правду друг другу? Почему даже самих себя пытаемся оставить в дураках? И нет на нас ни войны, ни фронта, за грехи наши, нет страха наказания... А платим мы за все безвестностью,— чем же еще? — платим за ложь, за молчание, когда надо орать. Мы сами стираем свое имя, не успев написать его. И безвестность — наша медленная смерть. Да и кому интересны мы, мелочные, суетливые и неискренние?

Но всякий раз я опасаюсь за себя, поддакивая Ивану: вдруг и я бесталанен в своем деле, только еще не знаю об этом, и другие пока не знают, и некому сказать мне; вдруг обрушится это все на меня, как обрушилось на Ивана,— сознание своей бездарности.

Иван, закончив читать, спрашивает:

— Ну как?

— Хорошо!— кричу я в дутом восторге, силясь держаться естественнее и бодрее.— Здорово! Как закончишь, дай все почитать! Хочется иметь полное впечатление о вещи...

И чувствую, что говорю так потому, что боюсь, боюсь оказаться на его месте, и в боязни этой суеверно защищаю себя, открещиваюсь ложной похвалой, заботясь больше о будущем своем, чем о теперешней, ненужной мне правде. Ведь я тоже хочу оставить свое имя на камне...»

10

Съемки наконец наладились, и Колмаков уже неделю находился в состоянии сильного возбуждения. Ему нравилось, что все у них с Иваном теперь получалось, все само шло в руки. Одно только по-прежнему угнетало Колмакова — бесконечно длинные, ничем не заполненные вечера.

Бригадир дядя Саша казался ему на съемочной площадке богом во плоти. Он растолковывал буровикам указания Ивана, чистил, красил, мыл буровую, подметал мусор, заваривал для всех зеленый чай, сам снимался во многих эпизодах, и это помимо того, что добросовестно отстаивал у бурового станка свои положенные восемь часов по скользящему графику.

Колмакова удивляла его энергия, его постоянное внимание ко всему, что происходило на буровой, его умение быть ненавязчивым и терпеливым в помощи съемочной группе. И если сначала все это он приписывал честолюбивому желанию дяди Саши «прогреметь» со своей буровой на всю страну, то скоро переменил свое мнение. Было в помощи дяди Саши удивительное, тихое бескорыстие, которым славятся лишь очень добрые от природы люди, чуждые расчета и прямой выгоды, люди, которым само все дается: и слава, и умение, и почет, и награды. Просто вряд ли они наперед думают об этих наградах. Они вкалывают. И их замечают.

А не заметили б — ладно, вкалывали бы дальше, без обиды на невнимание, удовлетворяясь лишь самим процессом любимого дела.

Для Колмакова это было удивительно и ново, потому что сам он всегда где-то в потаенном уголке души хранил

предвкушение будущей благодарности за исполняемую им работу. И если благодарности не получал, то долго и мучительно переживал это. Поэтому в дяде Саше, в его отношении к делу, виделась Колмакову полная искренность, открытость чужой души, которой нечего было скрывать и которая в бесхитростности своей неуязвима. В этом и есть высшая правда, высшая не потому, что над людьми, а потому, что в них самих; правда, которой он не достиг еще, но она манила его уже тем, что была на свете. Дядя Саша обладал этой правдой, хоть и слыхом не слыхивал об имени на камне, да и никогда не мечтал, должно быть, остаться в веках. Однако Колмаков уже чувствовал, что дядя Саша куда ближе их с Иваном к этому своему бессмертию.

— Вы домой хоть заглядываете, дядя Саш?—спросил как-то Колмаков.

— Зачем домой?— удивился тот.— Я здесь нужен. Дома зять за меня. Сережа. Красивый. На тебя похож... Он и обед мне на мотоцикле привозит в ночную смену.

Борька Лапин шутил:

— Дядя Саша, наш герой, вечно борется с дырой!

— Со скважиной! — вежливо поправлял дядя Саша.— Дыра знаешь где?

— А где? — не унимался Борька.

— В ухе.

Собственно, столько хлопот у бригадира было оттого, что болел Задолжанский. Это он как ассистент режиссера должен был готовить объекты к съемке: красить, чистить, мыть, доставать нужный реквизит. Но Колмаков старался не думать о Задолжанском. По крайней мере, у него самого все было в порядке: свет горел, Борька бегал со сменной оптикой, переводил фокус, заряжал кассеты. А своим ассистентом пускай Иван занимается. Но перед дядей Сашей было стыдно.

Тем более что поведение Задолжанского было просто бессовестным. Болел он странно: то и дело ездил в Ташкент, разгуливал по базару, привозил своих детей и с ними пропадал целыми днями на речке, загорал и купался. Михти даже видел, как Задолжанский пил пиво у ларька в парке культуры и отдыха, в то время как его дети катались неподалеку на карусели.

— Хорошо, пройда, болеет! — язвил Юрасик.— Активно!

Но бюллетень Задолжанскому продлевали регулярно, что сильно возмущало Юрасика.

В конце концов Иван отправил на студию телеграмму

с просьбой отозвать Задолжанского и прислать другого ассистента и администратора.

«...ввиду сложных климатических условий»,— заканчивалась телеграмма.

И тут началось самое неожиданное. Колмаков так и не узнал, кто предупредил Задолжанского о телеграмме. Может быть, болтливый Борька, может, Иван, решив выступить с открытым забралом, сам ему о ней сказал. Но известие это сильно подействовало на Задолжанского. На следующий же день Иван пожаловался Колмакову, что Задолжанский, подкараулив в коридоре гостиницы, стал шантажировать его, угрожать, что если на студию не будет послано опровержение, то он, Задолжанский, поставит дирекцию в известность о том, что Иван был заводилой всех пьянок в поезде по дороге в Ташкент.

— И ведь отыскал, гад, самое больное место! — сокрушался Иван.— Сто лет не пью, а на студии все висит на мне это проклятье. Я ж и в опале до сих пор за прежние грехи. Так что если эта мразь действительно поставит в известность и доведет до сведения, опять мне сидеть на заказухах и не видать большого экрана. У нас ведь как? Ага! Пил! Бумаги были из милиции? Были! Все, неси этот крест до гроба. Как? Что? Было дело — вот и весь сказ. Нет тебе больше, Иван Николаич Рагозин, доверия нашего!..

Колмаков отнесся к его словам почти равнодушно. Ему непонятны были Ивановы опасения. Кому какое дело, что человек в дороге делает? Важно ведь, что за картину они привезут. И он для приличия только посоветовал Ивану не обращать на Задолжанского внимания.

— Оно легко так говорить,— не согласился Иван,— пока сам не столкнулся. Я раньше тоже так думал, что, мол, кому какое дело? Ан есть, оказывается, заинтересованные. И немало! Надо же как-то с дороги убирать конкурентов. Что ж, мол, что кино мы делать не умеем? Зато не пьем! Зато отличные семьянины! Да и они пьют, и они женам изменяют, только тихо, умело, чтоб никто не видел, не слышал. Лицемеры! Потому в них гнев праведный закипает, когда другие попадаются. А попадись они, мы им прощаем. С кем, мол, не бывает? Нет в нас изворотливости...— И, помолчав, добавил смеясь: — Только их такие женщины, как нас, никогда любить не будут. Везде в них расчет! И бабы на них будут только рассчитывать, а не любить!

Колмаков в ответ тоже засмеялся.

Задолжанский зашел к Колмакову в номер, тихо, без стука, сел напротив в кресло. Колмаков подсчитывал,

сколько осталось чистой пленки и сколько уже снято. Его покоробило бесцеремонное вторжение Задолжанского, но, помня недавний рассказ Ивана, он сделал вид, будто ничего не произошло.

Задолжанский успел хорошо загореть и выглядел вполне здоровым. Он молча сидел в кресле и курил, терпеливо ожидая, когда Колмаков закончит подсчеты.

— Слушай, Витя,— вкрадчиво начал Задолжанский,— тут режиссер против меня козни затевает. Я надеюсь, ты на моей стороне?

— Ты кто такой?! — не выдержал Колмаков.— Что-то я тебя не видел и не знаю!

Задолжанский усмехнулся, но глаза его свирепо сверкнули из-под бровей.

— Ежели так...— Он сделал паузу и поудобнее устроился в кресле.— Поговорим иначе! Мы сейчас одни, никто не слышит, и я могу быть откровенным. Со мной тут дети мои. Мне бы хотелось, чтобы они хорошо отдохнули за лето. Сергуньке в первый класс идти. Маечке вообще врачи прописали здешний климат... Вникаешь? Разумеется, мне нет никакого резона уезжать в Ленинград из этих сказочных мест. Да и кто им тут все покажет, везде поводит? Правильно я говорю? К тому же что там вам снимать-то? В одном месте, без переездов, на природе... Зачем я вам там? У вас там свои работяги имеются, ежели подать-понести что... Зачем раньше срока мне уезжать? Поэтому я использую все средства, чтобы здесь остаться...

— И ни хрена не делать! — закончил за него Колмаков.

— Что ты, переработал, что ли? — спросил Задолжанский с издевкой.— Я вам гостиницу сделал? Живите, трудитесь. Культурные условия создал? Скажите спасибо! Что вы как собаки на сене? Ни себе, ни людям. Вот что тебе-то не хватает? Или больше всех надо?

— Больше всех, я гляжу, тебе надо...— холодно заметил Колмаков, сжав кулаки.

— В общем так.— Задолжанский перешел на шепот.— Если ты не хочешь, чтобы на студии знали о твоем здешнем романе... Я имею в виду ту ночь, когда ты в гостинице не ночевал...

Колмаков подумал, что это все-таки Борька Лапин держит, наверное, Задолжанского в курсе дел.

— Если ты этого не хочешь,— продолжал Задолжанский свистящим шепотом,— постарайся подействовать на Ивана соответствующим образом. Тогда я — могила! За-

должанский умеет хранить чужие тайны! Надеюсь, ты правильно меня понял?

— Понял-понял...— тоже почему-то шепотом проговорил Колмаков, вскочил из-за стола и вплотную подошел к Задолжанскому.— А теперь вали отсюда.

Задолжанский, видимо, испугался, потому что хоть и улыбался сальной своей улыбочкой, а вздрогнул и даже сделал неловкое движение рукой, не то собираясь подняться, не то заслоняясь от Колмакова. Но кресла он так и не покинул.

Тогда Колмаков за бороденку выудил Задолжанского, подвел к двери и, открыв ее, пинком вышиб его в коридор.

— Следующий раз,— напутствовал Колмаков,— стучись, прежде чем войти!

Он захлопнул дверь, утер пот со лба и постоял без движений, слушая удаляющиеся шаги Задолжанского. Какое-то брезгливое ощущение осталось от всего происшедшего, словно незваный гость с ног до головы окатил его помоями, и еще хотелось вымыть руки, которые, казалось, помнили слабую колючую упругость жидкой бороденки Задолжанского.

11

На следующий день Задолжанский выздоровел. Утром, ни на кого не глядя, он сел в машину и всю дорогу молчал.

На буровой Колмаков все время ощущал присутствие чужого.

Иван с Задолжанским обращались друг к другу на «вы» и по имени и отчеству.

Но только теперь Колмаков вдруг понял, насколько сблизились они во время съемок: Иван, Юрасик, Борька, дядя Саша, Саид, Курбан и он сам. Даже Михти, целыми днями дремлющий в тени бытовки на снятом с машины сиденье, был уже для него необходим и дорог, и без него неполным казался Колмакову их мир.

Задолжанский и сам, очевидно, понимал, что он лишний. Даже когда вся группа вместе с буровиками села обедать, он отмахнулся от приглашения дяди Саши и поплелся по тропинке в гору в направлении городской свалки.

После работы Колмаков стоял под душем целый час — ровно столько, на сколько включали холодную воду по вечерам. Он думал о том, что все пока идет нормально, как и во всякой экспедиции. И даже эти мелкие интрижки — тоже часть обычной выездной их жизни. Думал о

том, что пора отправлять снятый материал на студию для обработки, что, если бы полетел в Ленинград Задолжанский, можно было бы ему всучить непроявленную пленку, а теперь вот все срывалось, и надо было выискивать другие способы.

Тело приятно обжигалось холодными струями воды.

Колмаков старался не думать о предстоящем пустом вечере, продляя памятью ощущения прошедшего дня. Он вспомнил, как лез с аккумулятором на плече и с камерой на шее по пыльным ступенькам на самый верх буровой вышки, как долго переводил дух, стоя на гулкой металлической площадке и озирая открывшиеся с высоты окрестности выжженных солнцем гор, как кричал потом Юрасику, чтобы он убрал осветительный прибор из кадра, и как Юрасик долго не мог расслышать его снизу, потому что слова Колмакова относились ветром, как началась выемка колонны и элеватор таскал из скважины свечу за свечой, стремительно приближаясь к Колмакову и вновь опускаясь, как мимо объектива проносились холодные, гладкие стволы свечей, падающие в запасник, как одна из них вдруг задела увлекшегося Колмакова и он в первый миг не почувствовал боли, а лишь подосадовал, что от толчка испортился кадр, как после онемела от удара левая рука и он продолжал снимать, превозмогая тупую ноющую боль, как в конце концов он медленно, осторожно спускался уже без камеры и аккумулятора,— их пришлось отправить вниз, привязав к замку элеватора,— спускался, цепляясь одной правой, и как дядя Саша, качая головой и цокая языком, обрабатывал рану на его плече...

Колмаков любил этот захватывающий его поток настоящей жизни, жизни без холостых оборотов, без долгого времени на раздумья, на принятие решений. И только в середине этого потока, в тесноте и гуле его, он чувствовал себя живущим полно и праведно, и после каждого прожитого так дня отрадно было на минуту-другую оглянуться назад, чувствуя тихое удовлетворение в мысленном созерцании результатов своего труда.

И если бы все было только так, полно до краев, щедро, безостановочно...

Колмаков смазал рану одеколоном и присыпал стрептоцидом. Потом он перечистил оптику, разрядил кассеты и продул их резиновой грушей от пыли, упаковал по коробкам отснятую пленку. Все это должен был делать его ассистент, но Колмаков нарочно настоял на том, чтобы съемочную аппаратуру хранили в его номере. Какое-никакое, а дело.

Он пошлялся по гостинице, посмотрел футбол по телевизору, сходил на базар и вернулся оттуда со здоровенной желтой дыней, разрезал ее, выпотрошил семена, съел несколько скибок, умылся оставленной в графине водой...

В комнату без стука вошла Роза.

— Если гора не идет к Магомету...— выпалила она известную поговорку и поставила на стол бутылку шампанского.

— Дыню ем...— растерянно сказал Колмаков, испытывая странное смятение чувств. С одной стороны, он обрадовался, что не надо бороться со скукой, с собой, с пустым временем, что Роза пришла сама и совесть его оставалась чистой. Но с другой стороны, его покоробило оттого, что Роза вошла без стука, как к себе, и этим напомнила ему об их недавней близости и о теперешних его немых обязательствах по отношению к ней.

Роза поцеловала его в щеку.

И радость пропала, а осталась лишь неприязнь и гнетущая мысль о том, что он как бы перед ней в долгу.

— Соскучилась! — сказала она плаксиво и села в кресло.

Колмакову и вовсе стало противно от этой наигранной плаксивости. Он даже представил, как будет плохо, если придется переносить такое всю жизнь, и совсем растерялся.

На Розе была легкая длинная юбка и блузка-безрукавка. Все цветастое и крикливое.

«Азиатка!» — подумал Колмаков.

— Завтра суббота,— сказала Роза.— Пойдем на бассейн? Позагораем, искупаемся...

Колмаков забыл о выходных, а с ними и о вынужденном безделье, поэтому чуть не взвыл от Розиного напоминания. Она заметила это. И тем стыднее ему сделалось потом, после того как он выпалил в фальшивом восторге:

— Пойдем! Конечно, пойдем! Даже поедем на такси!

Роза поморщилась и сухо сказала:

— В нашем городке нет такси. Только маршрутные.

И вместе со стыдом за свою выходку к Колмакову пришла жалость к Розе. Она-то в чем виновата?

Он подумал, что впереди еще полтора месяца съемок, что надо будет куда-то ходить, с кем-то разговаривать, делать что-то помимо работы. И чем плоха для него Роза? Ведь она говорила, что ничего ей от него не надо... Только почему это не надо? Нет ли тут какой хитрости, затеваемой против него?

А Роза как-то подобралась, сжалась в кресле и сидела молча, будто ожидала исхода борьбы его мыслей, а с ним и своей участи.

«Ну что она? — подумал он.— Что сделает? Ей и вправду ничего не надо...»

Он посмотрел ей в глаза и улыбнулся. Она ответила ему несмелой улыбкой. И уже стала она красива для него в пестром наряде своем, и ему захотелось запустить руки в черные вьющиеся ее волосы.

Потом они пили шампанское, ели дыню и болтали о пустяках. И у Колмакова появилось прежнее ощущение, будто все это только для него: и Роза, и шампанское, и то, что она пришла к нему, а не он к ней.

— Пойдем ко мне, а то Адам по тебе скучает. Спрашивает, где ты,— сказала Роза, вставая из-за стола.

Колмаков в легком опьянении подумал, что и пес где-то живет и скучает для него и что надо бы пойти к нему, чтобы он перестал скучать.

И они пошли.

— У нас впуск жильцов до часу ночи! — предупредила коридорная, когда они сдавали ключ от номера.

— Он не придет,— смеясь, заверила ее Роза.— Я забираю его навсегда!

Жара унималась к вечеру, и желтый свет низкого солнца легко касался кожи, и были теплы его прикосновения. У Колмакова чуть кружилась голова.

Они с Розой вскочили в какой-то случайный автобус, который не довез их до места. И дальше надо было идти пешком.

Шли по обочине шоссе, ведущего в Ташкент, и солнце — оранжевый приплюснутый шар — сопровождало их слева, скользило по лезвию горизонта.

— Солнце...— сказала Роза.

И Колмаков подумал:

«Что вижу, то и пою!»

— Красиво у нас? — спросила Роза и тронула его за руку.

— Сейчас поймаем солнце в клетку,— сказал Колмаков, заметив неподалеку громадную клетку беседки, сваренную из железных прутьев.

Там же, рядом с беседкой, высилось почти достроенное здание и кран над ним. Колмаков прочел на щите возле дороги, что это здание — будущий дом отдыха. И очевидно, в будущем же прутья беседки должен был оплести виноград. Но его еще не посадили, поэтому беседка стояла голая и рисовалась на фоне закатного неба громадной ажурной клеткой без обитателей.

Роза молчала, глядя, прищурясь, на солнечный диск, приближающийся к клетке. А Колмаков лишь сейчас расслышал в себе ее слова: «Красиво у нас?..»

Почему она так спросила? И что ему-то до того, красиво ли у них? Как приехал, так и уедет.

А солнце уже попалось, уже втиснулось в клетку, и свет его потускнел в неволе.

Колмаков остановился.

— Солнце в клетке... — растерянно сказал он и подумал, что вот и он сейчас у порога такой же клетки и, может быть, осталось немного, осталось только шагнуть в нее, и дверца захлопнется.

Ему стало не по себе от этого сравнения, и он даже отдернул руку от Розы и зажмурился. Веки чувствовали солнечное тепло, а приплюснутый диск, пересеченный прутьями, еще стоял перед глазами и медленно угасал.

Может, он зря идет к Розе? Еще не поздно вернуться, еще не так много должен он этой женщине, и можно откупиться малой ценой. Можно ли? И кто, кто устанавливал цены? А она все молчит рядом. И что́ в нем, в молчании ее,— бессилие или коварство?

«Клетка для солнца...— подумал горестно Колмаков.— Клетка для меня!»

Роза взяла его за руку. Ладонь ее была влажной и жаркой.

Колмаков открыл глаза. Клетка была пуста — солнце село.

Голова уже не кружилась. Колмаков ощущал слабость. Что-то давило, угнетало его, и наступило такое состояние, когда покорно ожидаешь чего-то, какой-то перемены, а она все не приходит. И неясно, перемены в себе или вне себя. Будто что-то давно уже должно кончиться и смениться новым и все не кончается, длится, изнуряет душу своей протяженностью. И больше всего в этом состоянии удивляла Колмакова его же собственная пассивность, невозможность или нежелание сдвинуться с этой мертвой точки души. Да и удивление его было как бы не в полную силу, а словно он лишь вспоминал об удивлении, когда-то, давным-давно, уже им испытанном.

Роза свернула с обочины и пошла вдоль бетонного русла реки. И Колмаков покорно поплелся за нею, слушая монотонный вечный шум воды. Ему стало казаться, что его состояние так же долго, почти бесконечно, как и шум реки, как и сама река в движении своем, в бурлении и водоворотах. Он даже остановился, чтобы вслушаться в этот шум... Но нет — это остановилась Роза, облокотившись о

железобетонный барьер. А он, Колмаков, лишь наткнулся на нее, как на преграду, и поэтому тоже встал в недоумении.

«Я устал...— вяло подумал он о себе.— Конец рабочей недели... Вот и устал...»

Он отвернулся от реки и посмотрел на дома за пустырем, на тусклые огни в их окнах, на звезды над домами, и вдруг Розина квартира с псом Адамом, с полумраком комнат, со скрипучим паркетом и с чьим-то жарким шепотом за дверью, вдруг она представилась ему единственным убежищем в этом незнакомом, чужом краю. И Колмакову тревожно захотелось туда, даже шевельнулось противное опасливое чувство: не прогонит ли Роза его, не передумает ли?

Колмаков посмотрел на Розу в надежде отгадать ее мысли. Но Роза свесилась за барьер к воде и застыла в этой неловкой, нелепой позе.

Колмаков представил, что она вот-вот бросится вниз, в темень и шум реки, и, схватив ее за плечи, повернул лицом к себе. Как нелепо, фальшиво должны они смотреться со стороны, и все-таки... Вдруг Роза и вправду кинется вниз головой, и тогда пропадут для него уют ее квартиры и возможность укромного отдыха там. Хотя нет,— он понял это в последний момент,— эти глупые, неестественно стремительные движения его были просто мостиком к дальнейшему, к необходимому сейчас для него сближению с Розой.

— Ты что? — спросила она испуганно.

— Мне показалось, что ты хотела броситься вниз,— соврал он, чувствуя гадливость к себе.

Роза высвободила плечи из рук Колмакова.

— Там низко и мелко.

И надо было лгать дальше, потому что его уже пугала ее раздраженность.

— Я обернулся и увидел, что ты висишь... И машинально кинулся...

Он мельком подумал, что очень уж скоро обвыкся во лжи и что даже пропала гадливость к себе. Он протянул Розе руки, желая замять неловкость, но она отстранилась.

«Она все понимает!» — с ужасом подумал Колмаков, чувствуя, что его обман не удается.

— Ты шут? — спросила Роза.

— Мне одиноко...— с противной самому себе плаксивостью в голосе сказал Колмаков и тут же пожалел, потому что это была правда, но правда неуместная.

— А знаешь, теперь мне не будет больно, если ты уйдешь,— медленно проговорила Роза.— Иди...

Колмакову сделалось холодно, будто его раздели на морозе.

— Я поняла, что ты как все,— жестоко продолжала она с усмешкой на губах. — Тебе тоже всего надо только для себя. Ты сам себе солнышко...

«Все понимает...» — в изнеможении повторил про себя Колмаков.

— Я жестокая, да? — дрогнул Розин голос.— Я баба. Бабы все жестокие. Я здесь живу и жду его...— Она запнулась и продолжала: — А он не приходит, а приходят другие, не те. А я думаю, что те, и только после понимаю... Вот и ты... Да знаю, знаю! Его нет! Принца, рыцаря... Наверное... Но что же тогда? Что же нам делать-то с тобой, Колмаков? — вдруг почти пропела она с отчаянием.— Что делать, мужчина ты мой красивый? Солнышко мое... в клетке. Да не бойся ты меня! Я слабая. Дура! Какая же я клетка? Я ведь тоже о себе думаю, как о солнышке, как о звездочке ночной,— кому достанусь? Да что же я, господи?! — будто спохватилась она.— Пойдем же, пойдем! Ты устал, верно, а я стою тут пнем. А еще к себе звала. Пойдем! Глядишь, и выйдет что у нас... А знаешь, я уж и фамилию твою примеряла. Выйду, думаю, за него и стану Колмаковой... Розой Колмаковой... Вот как!

Последнее она говорила ему уже на ходу, обняв за плечо и легонько подталкивая по направлению к своему дому.

«Я не люблю тебя», — хотел и не мог сказать Колмаков.

«А вдруг — люблю?..— думал он тут же в полном смятении, покорно следуя за Розой.— Вдруг жалеть стану, а будет поздно... Кто ж знает, что это такое?»

— Может, мне не надо к тебе? — робко спросил Колмаков уже у ее подъезда.

— Надо-надо!..— с какой-то нервной ласковостью сказала она, увлекая его за собой на второй этаж.

12

В понедельник Колмаков пришел на работу с синяком под глазом и ссадиной на скуле.

Борька Лапин, старательно хмурясь, дважды обошел вокруг улыбающегося Колмакова и сказал:

— Ничего, Витя, они тебя еще пожалели. Когда Васю Соловьева отделали в Одессе,— там это называется помыли,— на нем живого места не было. А страшно было смотреть! А у тебя это вроде украшений. Аккуратно и мужест-

венно! Скажи, где дают? А, это тебя за ту... худенькую? — В голосе его промелькнуло любопытство.— А за женщину пострадать почетно!..

— Будет тебе, пустомеля! — перебил его Юрасик.

По дороге на буровую Колмаков все перебирал в памяти недавние события выходных дней, и ему тяжелы были эти воспоминания. Он понимал, что все это от одиночества в затянувшейся экспедиции: и Роза, и глупая игра в семью, которую они затеяли.

«Дочки-матери!» — подумал он раздраженно.

Все действительно походило на эту детскую, невинную, подражательную игру,— так же все было у них понарошку. И лишь иногда за эти выходные дни душа проклевывала оболочку выдуманного, принятого даже не на веру, а черт знает как; душа его желала правды, и он на несколько мгновений прозревал, обретал способность видеть себя со стороны, и правда была горька, отвратительна ему.

Когда Роза втолкнула его в квартиру, навстречу со шваброй в руках вышла полная пожилая женщина. Роза была похожа на нее. И Колмаков подумал: вот так Роза будет выглядеть в будущем.

— От этого кобеля столько шерсти! На день по три раза выметаю. И завела ж ты его на мою голову! — сказала женщина и прошла в ванную.

Колмаков слышал, как льется вода за дверью, как гудят от вибрации водопроводные трубы, как шлепает половая тряпка о раковину. И эти привычные будничные звуки размеренной, устоявшейся людской жизни вогнали его в тоску. Звуки подчинили его, заставили ощутить себя причастным к этой чужой жизни, жизни, в которой давно не было тайны, не было неожиданностей впереди, которая обещала лишь то, что уже было вчера и позавчера. И будто бы уж появились у него свои нехитрые обязанности в налаженном давно и без него круговороте этого людского существования, будто и он стал одним из зубцов накатанной и пригнанной шестеренки: две женщины, пес и он.

Он огляделся и увидел, как, привычно присев на ящик с обувью, разувается Роза, как расслабленно откидывается она спиной к стене и опускает усталые руки в подол. Он сел рядом, снял туфли и привалился к Розе плечом.

Женщина вышла из ванной, отирая красное лицо тыльной стороной ладони. Колмаков подумал, что, наверное, она полоскала свою тряпку низко наклонившись и что это ей вообще трудно дается.

Но тут же плечом он ощутил, как собралась, напряглась Роза.

— Мама,— сказала она, вставая,— это Колмаков. Это он... Он поживет у нас.

Мать посмотрела на него без любопытства и устало сказала, пряча за спину руки:

— Раиса Павловна. Руки у меня мокрые...

Колмаков встал, кивнул ей и отвел глаза в сторону. Было для него что-то стыдное в усталости этой женщины, в ее равнодушии к его появлению.

А утром, когда он проснулся, Розы не было рядом. Он почувствовал, что боится вставать, боится встречи с Раисой Павловной, боится этой квартиры, пса Адама, боится вновь испытать вчерашнее угнетающее душу ощущение причастности к будничному, понятному и страшному в своей понятности миру этой квартиры. И лишь Роза еще представлялась ему шатким мостиком через эту глухую пропасть бестаинственности.

— Я постирала твою футболку,— сказала она, входя,— и брюки. Сейчас стекут, и я их высушу утюгом. Лежи пока. Какие-то ужасные пятна. Особенно на футболке. Мазут какой, что ли? Еле оттерла! Но все равно чуть-чуть заметны. Надо будет откипятить потом.

И Роза ушла. Снова Колмаков остался один. Отсутствие одежды и необходимость скрывать свою наготу под одеялом еще больше усилили в нем противное чувство всебоязни, и он еле дождался возвращения Розы и с облегчением, будто выздоровел, покинул горячую кровать, надел брюки и футболку.

Раисы Павловны дома не было, и это обрадовало Колмакова. Он даже, надев на Адама ошейник, вызвался с ним погулять по пустырю, пока Роза готовила завтрак.

Пес был испорчен. Видимо, женщины избаловали его. Он понимал все команды, но выполнял их с явным нежеланием, после многократных повторов, а когда Колмаков приказал ему сидеть, чтобы надеть снятый в начале прогулки ошейник, Адам зарычал, показывая клыки, и отскочил в сторону. Возвращаться он не хотел. Колмакову пришлось крикнуть на него, и это подействовало.

— Мужчину почувствовал,— сказала Роза, впуская их с Адамом в квартиру.— Он ни со мной, ни с мамой рядом не ходит. Так поводок тянет, что все руки в кровь! И непонятно, кто с кем гуляет. Семенишь за ним, упираясь, а он — теленок — куда хочет, туда и тащит. Мама рукавички надевает, когда на улицу его ведет...

Колмаков представил, как трудно двум женщинам справляться с большой избалованной собакой, как хлопотно. Часто люди вот так выдумывают, изобретают себе поме-

хи в жизни, выдавая их за благо, и мучаются и терпят, пока не настает последний момент, не приходит озарение: зачем все это? Но и потом еще трудно избавиться от этого, уже осознанного наваждения, еще кажется, что надо что-то переждать, проверить в себе и лишь тогда на что-то решиться... И часто помогает только случай. Вот и они с Розой так же тянут, так же ждут, что изменится что-то, хотя оба чувствуют, что ничего не изменится,— лишь хуже станет; ничего не появится, и что вся их близость исчерпала себя еще в ту первую ночь.

Потом они отправились на базар. И Роза, нагрузив Колмакова корзиной и сеткой, ходила вдоль прилавков, убегала вперед, словно забывала о нем, торговалась с узбечками, называя их то апой, то абой, и те сбавляли ей цены. Роза была своей на этом пестром, богатом базаре. Она переходила от ряда к ряду, пробовала виноград, дыни, персики, урюк, алычу, сплевывала косточки, отмахивалась от зазывал, ругалась, морщилась, улыбалась, оборачиваясь, Колмакову и снова неслась вперед. Если бы не черная пышная ее шевелюра, не ее красная юбка и звонкий голос, он давно бы потерял ее из виду. Он и так уже несколько раз останавливался, не заметив, куда свернула Роза, растерянно блуждал взглядом по ярким горкам фруктов и овощей, по струящейся толпе, по загорелым узкоглазым и скуластым лицам торговок. Но всякий раз она неожиданно возникала перед ним, улыбающаяся и стремительная, брала его за руку и тащила куда-то дальше, чтобы вновь исчезнуть, раствориться в пестроте, сутолоке и многоголосице.

«Вот она какая,— думал Колмаков, едва поспевая за ней.— Вот она настоящая!»

Все это не вписывалось в прежние его представления о ней, было ново и притягательно.

Выложив дома купленные на базаре дыню, арбуз, виноград, персики, помидоры, морковь, лук и какую-то зелень, они надели Адаму намордник и поехали купаться.

Река шумела и пенилась, обнажая в водоворотах каменистое, гремучее дно свое. Солнце зависло в зените, и свет его был жесток и колок.

Пока Роза с Колмаковым стелили поверх выжженной травы плед и раздевались, Адам, освобожденный от намордника и ошейника, подбежал к реке, понюхал воду и тронул ее лапой. Река ответила ему брызгами. Он отскочил от нее и залаял, как на живого. Колмаков, растянувшись на пледе, наблюдал за игрой Адама. Роза спустилась к бассейну.

Напротив, на другом берегу, компания парней и девушек в купальниках резала и ела арбуз. На газете разложены были помидоры, огурцы и хлеб — плоские румяные лепешки, стояли стаканы и вино в бутылках.

Колмаков огляделся. Кругом в тени кустов и деревьев расположилось много таких же компаний. Они пили и ели, смеялись, шли купаться или выходили из воды, играли в волейбол, в бадминтон, в карты. Всюду одно и то же. И может быть, зря он противится, зря ждет чего-то и ищет? Может быть, и Роза прекрасна, потому что такая, как все? Может быть, и нет ничего другого — только плод людского воображения, несбыточная мечта, которой человек оберегает себя от одиночества?

Вернулась Роза и легла рядом.

— Почему ты не купаешься? — спросила она.— Нам, наверное, скоро придется уйти. Тут бывшие мои знакомые. И кажется, пьяные... Они могут пристать...

— Но ведь и я могу! — раздраженно буркнул Колмаков.

Ему уже было неприятно, что возникла какая-то опасность, что в привычный образ жизни ворвались какие-то новые, нарушающие устоявшееся равновесие души обстоятельства.

Потом пришли эти бывшие знакомые. Их было трое.

Первым приблизился к ним Виталик, тот самый, что дожидался Розу у ее подъезда. За Виталиком подошли остальные. Все трое были хорошо сложены и загорелы, но роста невысокого, и Колмаков подумал:

«Карманные Гераклы!»

Он решил подождать, что же будет, заранее настраивая себя на терпение. Как всегда перед дракой, он не ощущал страха, а лишь почувствовал привычное возбуждение. Зрение сделалось острее, отмечая перемещение противников, их расположение относительно него, слух чутко улавливал перемену интонации в разговоре, и тело Колмакова уже само собой принимало необходимые для обороны положения.

Гераклы не очень изощрялись в тактике, можно сказать, перли напролом. При всей видимости полного безразличия к Колмакову, они в сущности только о нем и говорили, обращаясь то к Розе, то друг к другу.

Колмаков и сам вдруг отчетливо, даже как-то оголенно представил все происходящее со стороны. Вот он приехал, увел у этого Виталика бабу, а теперь торчит с ней на людях. Что остается делать Виталику? Конечно, мстить! Он почти сам ощутил, как мучился Виталик рев-

ностью и злостью, как жаловался товарищам, крыл Розу, Колмакова последними словами и грозил расплатой; и как друзья его поддакивали в ответ; и как Виталику было страшно решиться на это одному,— ведь он, Колмаков, малый здоровый; и как, перебарывая страх, Виталик заручался поддержкой своих дружков, распаляя и в них ненависть к приезжему и чужому. И как бы ни был он противен, этот Виталик, все же он прав сейчас, потому что Колмаков не любил Розу, а Виталик, может быть, и любил,— пусть по-своему, но любил; и была она в его глазах единственной и прекраснейшей. Колмакову запомнилось осторожное прикосновение Виталика к Розиной руке там, у подъезда.

Ему бы просто извиниться перед Виталиком, одеться и уйти, и оставить ему Розу. Что-то подсказывало ему, что именно так правильно, так нужно сделать. Но это еще и значило бежать с позором, сдаться, заплатить за все стыдом. Такого Колмаков не мог перенесть и отмел как неприемлемое.

Оставалось драться. И чтобы не тянуть, потому что все равно к тому шло, Колмаков сам помог Гераклам перейти от слов к делу. Что-то дерзкое сказал он, и они ответили ему так же дерзко. Колмаков поднялся с пледа, держа всех троих в поле зрения.

Виталик первым кинулся на него и тут же, сбитый с ног, отлетел в сторону, обдирая кожу о камни. Рядом уже были двое других. Что-то кричала страшным, срывающимся голосом Роза. Колмаков уворачивался, приседал, прыгал, перебегал с места на место. Гераклы делали то же самое. Ребятами они оказались крепкими. Они наседали и отлетали, били и получали удары...

В этих стремительных перемещениях, в жестокости лиц, в отрывистых, нечленораздельных выкриках, в тупой обоюдной злости, в упорном стремлении сделать друг другу как можно больнее было что-то низкое, постыдное, словно возвратились они к самым диким временам и законам человеческого существования, словно больше ничего и не было у всех у них за душой, кроме этой дикости и жажды чужой боли. И Колмакову захотелось опустить руки и крикнуть: «Постойте! Посмотрите, как страшны мы, как безобразны!»

Адам заставил Гераклов обратиться в бегство.

Потом весь вечер, а за ним и следующий день Роза была утомительно нежна с ним, Раиса Павловна ругала Виталика и всех его друзей, и даже Адам все порывался лизнуть ссадину на скуле Колмакова, а он стыдился их всех.

13

На буровой их встретили холодно. Дяди Саши не было, а Саид с Курбаном, занятые работой, даже не оглянулись на подъехавший «газик» киногруппы.

— Да-а-а...— протянул Иван, пожимая плечами. Он уже сходил к буровикам.—Я понимаю, что радоваться нам нечего, но чтоб не здороваться!..

Борька с Юрасиком разгрузили аппаратуру и уселись на лавку возле бытовки. Задолжанский обнаружил вдруг интерес и рвение к работе, заходил, засуетился.

— Иван Николаич,— спросил он,— что стоим? Почему не начинаем? Что у нас сегодня за эпизод? Может, подготовить что надо, побелить-покрасить?

Все это он говорил громким жестяным своим голосом, и Колмакову захотелось заткнуть ему рот.

— Вы, Иван Николаич, странно нерешительны сегодня,— продолжал Задолжанский.— Подумаешь, не поздоровались с вами! У них, может, голову с похмелья ломит, не с той ноги люди встали... Что ж, из-за этого работа должна страдать? У нас и так отставание на пятьдесят полезных метров!

Он знал, что буровики слышат его, и все равно продолжал говорить о них, словно их не было рядом.

Колмаков не выдержал, подошел к буровикам, поздоровался и спросил, что случилось.

— Дядя Саша умер. Вчера в ночной смена сердце прихватил. Инфаркт! — с укором глядя на Колмакова, буркнул Курбан.

Саид оторвался от работы и, подойдя к Колмакову вплотную, так, что тот почувствовал запах его пота, стекающего по разгоряченному лицу, сказал, в волнении еще больше коверкая слова:

— Ты давай не нада кино. Сегодня не нада, завтра не нада... Три дня не нада! Потом снова кино давай.

Колмаков, ошарашенный новостью, не нашелся что ответить и, опустив голову, отошел прочь.

— Не на одном дяде Саше земля держится! — заявил Задолжанский, когда Колмаков рассказал о случившемся.— Что говорить, хороший был мужик. Но все мы не вечные. Думаю, надо позвонить в геологоразведку, чтобы прислали замену. Незаменимых нет! А пока будем снимать, что можно, без...

Договорить ему не дали.

— Да, не на одном дяде Саше! — крикнул Иван.— Не на одном! Но он — один из тех! Слышь, гнида? На нем как

раз и держалась земля! Не на тебе, не на мне!.. На нем! Это тебя можно заменить! Позвонить, и пришлют такого же. А дядя Саша — один! Нет другого!

Юрасик был немногословен.

— Сволочь! — сказал он хрипло и сплюнул.

Колмаков нервно прохаживался возле Ивана, Юрасика и Задолжанского, сжимая и разжимая кулаки. Ему почему-то казалось, что он первым должен был сказать все это Задолжанскому, да вот не успел, и невысказанное жгло его изнутри.

— Витя,— приблизился к нему Борька Лапин,— ты бы рознял их. А то недалеко и до греха! У Ваньки глянь как кулачищи-то чешутся! Я в том смысле, что Задолжанский ведь развоняется. До студии дойдет...

Тут уж Колмаков не выдержал.

— И как это ты все последствия предвидишь?! — рявкнул он на Борьку так, что тот отпрянул в испуге. — В том смысле, не в том? Сам-то что не разнимешь? Или перестраховаться решил? Кто разнимает, того бьют?

Борька, оправившись от оцепенения, махнул рукой и сел в машину.

— Во-во! — прокричал ему вслед Колмаков.— Вали подальше, а то заденет!

Задолжанский попятился от них троих.

— Ну, Иван Николаич! Ну!..— лающим от волнения голосом кричал Задолжанский, отступая.— За такие ваши слова!.. При людях!.. Вам это не пройдет!.. Доведу, кому следует. Обо всем, обо всем в известность! Вы у меня запляшете! — окинул он всех диким и злобным взором. — Все вот здесь будете,— показал он сжатый кулак.

Иван вдруг отвернулся от него и, не видя ничего кругом, пошел к буровой. Колмакова испугала страшная бледность его лица.

Задолжанский, затравленно озираясь, пошел по щиколотки в дорожной пыли по направлению к городу.

«Километров десять ему...» — без сожаления подумал Колмаков и отвернулся.

— Грузимся и поехали,— сказал Иван, поднял из-под навеса чемодан с оптикой и сел в машину.— В гостиницу, оттуда к дяде Саше домой... Вот адрес,— протянул он листок из сценария Михти. — А где этот?..

— Своим ходом двинул,— зло буркнул Юрасик, помогавший уложить Борьке чемодан с камерой в машину.— Он здешний — не пропадет. Дерьмо не тонет!

Задолжанского нагнали за вторым поворотом дороги. Он шел, повязав голову грязным носовым платком. Михти

было взял в сторону, чтобы объехать его, но Задолжанский сам опасливо отбежал на обочину.

— Может, подберем его? — спросил Борька Лапин, ни на кого не глядя.

Несколько мгновений все молчали. Михти уже поравнялся с настороженной фигурой Задолжанского.

— Останови...— вдруг попросил Иван.

Машина резко затормозила. В кабину ввалилось облако пыли.

— Садись, Леха,— крикнул, приоткрыв дверцу, Борька Лапин и закашлялся.

— Ну уж нет! — прорычал Задолжанский, видимо решивший страдать до конца.

Михти тронул машину. Колмаков оглянулся, но не увидел Задолжанского в заднее пыльное стекло кабины.

Дорогой молчали.

Колмаков думал о том, что сказал Задолжанскому Иван. Это ведь и его касалось. Ну, чем он лучше Задолжанского хотя бы в своем отношении к Розе? Разве за его ложь, за самолюбование, за весело проведенное время не платили другие? Платили, потому что за все надо платить. И если он сам избежал пока расплаты, то вовсе не значит, что все сошло с рук, потому что всякий порок как магнит. Он тянет за собой новые пороки и приобщает к себе других людей. И уже эти другие, ни в чем не повинные, сами того не ведая, расплачиваются за него по его же счетам.

14

Иван, Борька Лапин и Юрасик поехали проститься с дядей Сашей, а Колмаков вышел у гостиницы.

— Кто мы ему? — сказал он.— Потом, у них там обычаи свои... Стоит ли беспокоить?

Вернулись они скоро. Иван позвал Колмакова к себе в номер и молча сунул ему в руки несколько исписанных листков бумаги. Колмаков узнал свой почерк.

«...Вдруг обрушится это все на меня, как обрушилось на Ивана,— сознание своей бездарности»,— успел прочесть урывками Колмаков, то и дело с удивлением взглядывая на Ивана.

— Это не я...— спокойно сказал Иван, и Колмаков как-то сразу понял, поверил ему, что, конечно, не он выкрал письмо.— Моя вина в том, что я прочел,— опустил Иван голову.— Ухватил один фронтовой абзац. Просто все рассыпалось по полу, когда вырывал это у Задол-

жанского. Потом собирал, и этот абзац... Прости! Что касается меня, я понимаю, что ты так думаешь.. Твое право! Понимаю, что никогда бы ты не сказал этого всего мне,— кивнул он на листки,— и намека не сделал бы... Понимаю. Но неужели ты действительно так думаешь? Слава и деньги по почте... Ну согласись, что сгоряча! Ну? Ей-богу ж, не так все! Сложнее. Ты же все мосты сжигаешь, никакого выхода мне не даешь... Все, мол, неудачник! Баста! Я думал об этом, что, наверное, неудачник я... Но не всегда! Только в самые тяжкие минуты, когда чернуха кругом. День, два, и проходит, и снова надеюсь, верю... Понимаешь, верю! Цепляется душа. А как же иначе? Ты думаешь, есть кто-нибудь, кто всю дорогу себя неудачником считает? Есть? Врешь! Все верят! Хоть чуть-чуть, хоть шепотом!.. Потому что как же без веры-то? Попробуй — не выйдет! Сдохнешь без веры!

— Прости...— прошептал Колмаков, не глядя Ивану в глаза.

— Я верю... Я знаю...— радостно, словно камень с души снял, затараторил, сбиваясь, Иван.— Тебе теперь стыдно... Ты совестлив!.. Мы совестливы! И если оступимся, согрешим, томиться будем, мучиться совестью... пока не покаемся... пока не простят нас или не накажут. Я и об этом думал... И ты меня прости... Прости, и ладно.

Иван отвернулся к окну.

В номере было душно и жарко, журчала вода в унитазе. Колмаков бросил письмо на стол и, не включая света, лег. Вдали, за невидимыми в ночи горами, вспыхивали молнии и едва слышно ворчал гром.

В дверь постучали.

— Не заперто,— сказал Колмаков.

Вошла Роза и остановилась у двери. Колмаков не видел ее, а лишь угадывал по легкому ореолу на ее волосах от пробивающегося через закрытую дверь света из коридора.

— Еле уговорила вашу вахтершу! Как в больнице.

Она отделилась от двери и приблизилась. Колмаков оставался лежать на кровати поверх простыни. Роза села у изголовья, нежно провела рукой по его лицу.

— Солнышко мое! — И вздрогнула, когда Колмаков, приподнявшись на локтях, сел на кровати.— Ничегошеньки у нас не получилось... Ты молчи, и я уйду скоро. Уйду... Пускай. Я дура... Я и ухожу. Мне легче. Вот и кончилось... Чей ты будешь? Кому достанешься?

Она встала, но тут же снова присела у изголовья и поцеловала Колмакова в лоб. Губы ее были холодны, гла-

за темны и сухи. Она сидела легко, невесомо, почти не приминая кровати, и казалось, готова была вот-вот вспорхнуть и улететь, растаять в темноте.

— О чем ты думаешь? — спросила она устало.— Что я стыд потеряла? Нет, ты не думаешь так, не можешь думать. И что это такое: стыд и скромность? Что?! Когда вот так, когда болит кругом... Душа болит. Господи, дайте мне слабой быть! Не терять стыда... Где все? Кавалеры, поклоны?.. Где?! — Роза огляделась в темной комнате, и Колмакову на мгновение показалось, что и его она не замечает.— Как страшно они тебя били! — вдруг вспомнила она, взглянув на него.— Но это не то, не то! И все-то голо и буднично...— развела она руками.— Твоя гостиница... Я отпуск взяла, еле вымолила, чтобы с тобою быть. А ты не приходишь.. И скоро опять на работу. Эта гнусная почта, мухи, марки, штемпели, сургуч... «Девушка, что вы такая грустная?» «Что вы делаете сегодня вечером?» Да ведь им и дела нет! Танцплощадка, какая-нибудь скамейка в темноте, в парке, жадные руки. Все боятся упустить, опоздать, не успеть... Да я же больше могу дать! Только возьмите, если под силу... И чуточку подождите... Капельку... Что же ты, Колмаков, не взял? Не захотел? Что же, тяжело?.. Ну бог с тобой. Будь счастлив. Я ведь все так... Мне даже не больно. Сама виновата. Ты решил, что я распутная? Да? Молчи! Игра нужна. Даже с теми, которые понимают, которые все понимают... Тайна нужна! Святость!

Колмакову уже хотелось обнять ее и пожалеть. Обнять и пожалеть — так просто, естественно это было бы. Но это— минута, час, ночь... А потом?

Он проводил ее навсегда и вернулся в гостиницу.

15

И снова кругом была пустыня, голая и враждебная. Она шелестела, накатывалась... Она была желта и суха. Она выжила под палящим солнцем, приспособилась, и теперь, сознавая вечность свою, она вбирала в себя остатки беспомощной чужой жизни, заносила песком, усыпляла дурманным звоном песчинок, душила, истирала в себе, принимала, как дань.

Он шел по ней по колено в рыхлом, растекающемся песке, шел с пересохшими губами, гортанью, с сухим шершавым языком, шел в бреду, шел без веры и голоса, почти оглохший, почти ослепший от желтого струящегося марева, шел, отдавая в бессмысленном движении последние

капли телесной влаги, которая скатывалась по лицу его и была солона и горька на вкус. Распухшие вялые ноги увязали в зыбком сыпучем звоне, и с каждым шагом все труднее было вытаскивать их на поверхность. А впереди — безнадежно и дико, и воспаленным глазом не за что зацепиться. За барханом — бархан. И желтое небо сливалось с желтым песком на горизонте.

«Я сплю!.. Сплю!..— ослабевшим сознанием попытался уверить он себя.— Или это не сон? Тогда что же? И как я попал сюда? Где все? Все... Все... Все-е-е... — подхватило вдруг эхо его мысли.— Почему я один? Один... Оди-и-ин... И почему я должен умереть здесь? Здесь... Здесь...»

В стороны разбегаются желтые, едва заметные на песке молнии ящериц, беззвучно скользя, расползаются змеи, пауки судорожно зарываются в песок, чтобы жить там в ожидании чужой смерти.

«Они набросятся! Они придут, если я упаду! И я еще буду жить, чувствовать их гадкие прикосновения и укусы. И как несправедливо это! Это... Это-о-о...— снова подхватило эхо его мысли и понесло над пылающим пространством.— Где же, где все? Все... Все-е-е... Почему они спаслись, а меня забыли? Забыли... были... и-и-и...»

Он шагнул на гребень бархана и упал, зарывшись руками в песок.

Внизу, за неожиданным обрывом, была долина, рассеченная прямоугольниками хлопковых полей, и далеко было видно, и взгляду было просторно. В долине был город: дома, арыки, все в зелени и цветах. А за городом, распоров желтое брюхо горы, ступеньками возвышался, восходил в синее небо медный карьер. Зеленый, малахитовый разрез горы отражал солнце и весь сверкал в его лучах. Он, как густая, раскидистая крона неведомого дерева, нависал над городом, словно храня покой его и тепло его жизни. По ступенькам карьера двигались горбатые самосвалы, и то поднимали, то опускали зубатые головы красные длинношеии экскаваторы. Самосвалы увозили горстки зеленой кроны горы, замысловато петляя по узким террасам. То тут, то там распускались бутоны взрывов, и зеленая их пыльца оседала беззвучно и долго.

«Это разведал дядя Саша! — как-то сразу сообразил он, поднимаясь на гудящие, непослушные ноги. — Это его карьер! Его медь! Медь... Медь... Вот где все они! Вот их город! Город... Горо-о-од».

Ему мучительно захотелось скорее спуститься туда, к ним ко всем, к дяде Саше, который вспомнит, узнает его и встретит добром.

Но кругом уже была клетка. Может быть, была она и раньше, а он не заметил ее, не почувствовал, как попал в ее сквозное нутро. Ужас охватил душу его, животный страх жертвы, попавшей в западню. Но он в последнем усилии все же стронулся с места, пошел, пополз по этому замкнутому кругу в желании, в поисках выхода. И пальцы рук были слабы, и едва волочились распухшие ноги.

А клетка будто и вовсе не имела выхода, сходилась черным ажурным куполом в тугой пучок вверху и нависала.

Но надо, надо было выбраться, освободиться, чтобы жить, чтобы быть со всеми. И он в немом упорстве, теряя остатки сил и мужества, переползал от прута к пруту, от прута к пруту... Черные пруты были чуть податливы и извивались, вибрировали от его слабых прикосновений, но скрытая в них сила возвращала их в прежнее положение.

Вдруг что-то мелькнуло там, на другом конце клетки, какая-то брешь, пролом, выход. Там словно разогнуты были прутья, порваны струны.

Он пополз туда, увязая в песке, проваливаясь руками, обдирая подбородок и щеки о пылающую желтым зноем поверхность пустыни.

Выход то исчезал за пологими барханами, то вновь появлялся, таинственно и обманчиво, как мираж. И казалось, он совсем не приближался, а все так же далек был, как прежде, когда он только увидел его, всем своим существом почувствовал.

«И есть ли он вообще? Не мираж ли он? Он... Он... О-о-он...» — в смятении подумал он и проснулся.

Желтое солнце лупило в окошко. Мокрые простыни липли к горячему телу. Во рту было сухо и жестко. Колмаков беспомощно откинулся на спину, сбросив с себя обжигающую зноем простыню. Он все не мог избавиться от пережитых только что во сне впечатлений, и вся окружающая его реальность — голый и душный гостиничный номер — еще воспринималась как продолжение сна, как новая каверза воображения. И выход, выход из клетки еще тревожил его своей желанностью, своей недостижимостью.

Колмаков долго лежал неподвижно, пытаясь вспомнить, восстановить по меркнущим крупицам недавно виденное, понять, в чем же он — выход, где он и был ли он на самом деле?

Так он и лежал в оцепенении, когда в дверь постучали и Борька Лапин крикнул из коридора бодрым утренним голосом:

— Витя, вставай! А выезжаем через полчаса! И умывайся скорей, а то воду отключат.



I. НА ПУТИ К ДВЕРИ

— **Где нож, с которым я** всегда хожу за грибами? Где мой нож?

Мне никто не ответил. Жена и дочь еще спали. На письменном столе горела лампа. Чтобы свет не падал в ту часть комнаты, где стоят наши кровати, я прислонил к лампе журнал.

В конце концов я нашел нож. Он оказался в верхнем ящике письменного стола, там же, где лежат поздравительные открытки, полученные бог весть когда, старые ремешки от ручных часов и полиэтиленовые винные пробки. Это маленький обоюдоострый кинжальчик с лезвием чуть длиннее указательного пальца, с костяной ручкой, уже пожелтевшей от времени. Раньше были и кожаные ножны, но года два назад они неожиданно пропали. Думаю, что безнадежно пропали. Еще раньше я не однажды слышал от жены, что с ножнами этот кинжальчик очень похож на холодное оружие, на то самое, за которое сажают в тюрьму. А без ножен он якобы больше похож на обыкновенный ножичек для заточки карандашей. После пропажи я у нее не однажды спрашивал: «Где ножны?» Но она с раздражением отвечала: «О господи, откуда я знаю, где твои ножны!» И оттого, что она всегда отвечала одно и то же и одним и тем же тоном, я только более утверждался в своих подозрениях.

Как всегда, собираясь за грибами, надел прорезиненный плащ, шляпу с широкими полями и резиновые сапоги. Корзинки для грибов у меня нет, поэтому, отправляясь в лес, я всегда беру с собой ведро из оцинкованной жести. То самое, в котором жена кипятит белье. От стиральных порошков жесть в ведре покрылась белым неотмываемым налетом, и, чтобы грибы не касались стенок, я постлал внутрь газетный лист. Как раз на дне оказался портрет какого-то передовика, но и оттуда, со дна, передовик по-

смотрел на меня с гордой улыбкой. Так улыбается человек, уверенный, что ему причитается слава и денежная премия.

Уже стоя посреди комнаты с вещевым мешком за плечами, взглянул на кровать, где сладко спала дочь, и на другую кровать, где спала жена. Мне показалось, что ее лицо и во сне сохранило выражение недовольства, и я подумал: «И ножны от моего ножа выкинула, и еще сама же недовольна! Вот проснешься утром, а меня нет, вот и как хочешь...»

Я стоял посреди комнаты с вещевым мешком за спиной. В мешке лежало ведро из оцинкованной жести и нож, завернутый в холщовую тряпку, чтобы лезвие не билось о жесть и не затупилось. И два бутерброда с сыром. И полиэтиленовая фляжка со сладким чаем.

«Все взял? Вроде все»,— подумал я. Погасил настольную лампу и в темноте пошел к двери.

2. НОЧЬ ЗА ОКНОМ ЭЛЕКТРИЧКИ

В электричке я задремал, прижавшись виском к оконному стеклу. Иногда открывал глаза и видел толстого дядьку, сидящего напротив. На голове у него был натянут по самые уши красный берет. Возле, на скамье, лежал вещевой мешок. А мешок, как и у меня, такой формы, будто в него запихнуто ведро.

Дядька дремал, уткнувшись подбородком в грудь и покачиваясь в такт колебаниям вагона. Он покачивался и покачивался и от этого все оседал и оседал. Его голова оказывалась все ниже, весь он становился как-то все меньше и меньше. Можно было ожидать, что если он вскоре не проснется и не выпрямится, то, когда поезд дойдет до конечной станции, от него останутся только красный берет и брюки.

Я захотел взглянуть в окно, но в окне отражался наш освещенный вагон и все тот же дядька в красном берете.

Прижавшись лбом к стеклу, я ладонью заслонил глаза от света и сразу оказался лицом к лицу с бесконечной ночью. Электричка шла через лес, и я увидел стволы ближайших деревьев и придорожные кусты, освещенные от окон нашего поезда. Они возникали против окон и сразу же пропадали, оставались где-то там, сзади. И деревья и кусты казались одинакового серого цвета. Мне удалось на мгновение остановить взглядом ствол березы, который вы-

делялся своей белизной, но только на мгновение, потому что он тут же вырвался из-под взгляда и пропал. Будто не электричка проносилась через лес, а лес сам старался как можно скорее промчаться мимо, чтобы скорее остаться наедине с собой. Чтоб потом облегченно вздохнуть в темноте: «Все, проехали, теперь никто не подглядывает!» И тогда опять начнут расти под деревьями грибы, в чистой тишине прошелестит листьями осина, будто по-своему вздохнет во сне, и, мягко ступая, боясь помять сырую траву, пройдет ночной зверь.

3. АВТОБУС ДО САМОГО ЛЕСА

Но когда я вышел из освещенного вагона на перрон, ночь уже не показалась такой непроглядной. Небо светлело. Только большие тополя, росшие вдоль перрона, еще хоронили в глубине своих крон остатки ночи.

Коротко прогудев, электричка тронулась с места, простучала на стрелке колесами, и еще некоторое время был слышен ее ровный шум. Чем дальше она уходила, тем этот шум становился все ровнее, незаметнее, пока совсем не растаял в воздухе.

Я сошел по мокрым бетонным ступеням на привокзальную площадь. Здесь же рядом была остановка автобуса. И уже подъехал автобус, у дверей которого сразу столпились грибники; каждый с корзинкой или ведром, и каждый норовил войти скорее, поэтому все долго толкались у дверей, мешая друг другу. Потом общими усилиями все же втолкнули внутрь автобуса старичка с большой корзинкой, потом молодую женщину с корзинкой поменьше, и уже тогда перестали толкаться и начали спокойно входить по одному.

Когда я вошел в автобус, свободные места оставались только на заднем сиденье. Я сел. По салону ходил водитель, собирая с пассажиров деньги.

— До леса двадцать копеек,— говорил он. И обещал: — Довезу до самых грибов.

Собрав со всех по двадцать копеек, он сел на свое место; автобус затрясся, качнулся, и мы поехали.

Двое мужчин, сидящие впереди меня, беседовали о погоде.

— День будет пасмурный.

— Да,— согласился второй,— будет пасмурный.

— Пасмурный,— опять сказал первый.— Но дождя не будет.

Проехали молча несколько километров, потом второй согласился:

— Да, дождя не будет.

Остальные пассажиры сидели молча. Теперь никто не дремал, как в электричке. Все сидели задумчивые; каждый готовился войти в лес и сразу собрать свои грибы.

Я тоже подумал о своих грибах. О том, как они стоят сейчас под деревьями мокрые от росы и потихоньку растут и растут. Скоро я приду и соберу их.

4. ЧЕРЕЗ МОСТИК И — В ЛЕС

От остановки до леса шел быстрым шагом. Уже совсем рассвело, и нужно было торопиться — грибы уже ждут меня.

Перешел по бревенчатому мосту тихую речку. По берегам разросся то ли водяной перец, то ли почечуйник — я их всегда путаю. Сойдя с моста, оглянулся и посмотрел, как колышутся над тусклой неподвижной водой клубы белесого тумана.

Все было пропитано утренней сыростью. Пахло мокрыми травами и землей. А когда вошел в лес и проходил между двух берез, то сразу почувствовал запах мокрых березовых листьев.

В лес вошел тем же быстрым шагом, но вот одна еловая ветка задела по щеке. Я было зажмурился от этой неожиданной ласки, но тут же вторая ветка хлестнула прямо по глазам. Я поморщился. Нет, по лесу так не ходят. Я не по проспекту тороплюсь, не в гастроном. По лесу нужно идти осторожно, всегда наготове склонить голову или выставить вперед руку.

Среди ветвей березы блеснула паучья сеть. Капельки росы осели на паутинные нити; от легкого движения воздуха вся сеть вздрагивала, и при этом ярко сверкала то одна нить, то другая. Я подумал, что такое чудо не могло быть создано за одно утро. Прошли века, прежде чем паук научился плести такую паутину, и прошли еще века, прежде чем выпала сегодняшняя роса. А сейчас пришел в лес я и все это увидел, и понял, что это красиво.

«Но где мои грибы? — вспомнил я. — Где они?»

У старого пня, вокруг которого разрослись кустики черники, мелькнула красная грибная шляпка. «Ага, вот и первый гриб! — подумал я. — И еще много будет!» Но, подойдя ближе, увидел, что это обыкновенная розовая поганка.

Пнул ее носком ботинка — ах ты обманщица! — и тут же застыдился. Стоял под березой, перед сковырнутой розовой поганкой, и стыдился. В чем виновата розовая поганка? Кто кого обидел?

5. САМЫЙ ПЕРВЫЙ ГРИБ И ДЕД-ЛЕСОВИК

Это самое важное: найти первый гриб. Пока в моем ведре нет хотя бы какой-нибудь сморщенной сыроежки, я еще не грибник. Без грибов я еще не пойми что в этом лесу. Болтается человек по лесу, смотрит по сторонам, сбивает розовые поганки — а зачем?

И вот я увидел свой первый гриб. Он вырос возле тропинки между двух елок, приподняв над низкой травой красную шляпку.

Здравствуй, гриб!

Я снял вещевой мешок, достал из него ведро и нож.

У гриба была длинная рябая ножка и маленькая, еще не развернувшаяся шляпка. На ножке оказалась круглая белая ямка, а к ней прилип слизняк. Я осторожно кончиком ножа вытолкнул его на землю. Все, поел и хватит, теперь это мой гриб.

И только я сделал несколько шагов — где тут еще грибы? — как увидел второй подосиновик. Такой же красивый.

Все, лес принял меня. Я обрадовался и почувствовал, что должен благодарить кого-то, кому-то должен сказать спасибо. А не то кто-то обидится, и я больше не встречу ни одного хорошего гриба.

Когда-то в детстве бабушка рассказывала мне, что в лесу живет Дед-Лесовик. Он маленький и кряжистый, будто сосновый пенек. Борода у него черная, широкая — во всю грудь. На голове зимой и летом шапка-ушанка. Зимой ушки у шапки опущены вниз, а летом завернуты вверх, но не связаны на затылке, а так и болтаются по сторонам как крылья. Дед-Лесовик, он ничего, он добрый. Но если человек ему не понравится, то он спрячет от него все грибы. Человек с корзинкой или с ведром только подойдет к грибному месту, а Дед-Лесовик забежит вперед и — раз! раз! раз! — упрячет все грибы под землю. Человек пройдет, посмотрит: вот, вроде грибное место, вроде должны быть грибы, но почему-то нет ни одного; наверное, кто-то уже собрал.

Но самое страшное другое. Если не угодишь Деду-Лесовику, он может так тебя закружить, что ты будешь целый день ходить вокруг одного дерева. «Пойду вон туда, в тех елочках должен быть гриб». Но подойдешь туда и удивишься: «А ведь я уже был здесь! И этот мухомор уже видел. Пойду-ка в ту сторону». А через полчаса опять: «А ведь я этот мухомор уже видел! Что же это такое, так разэтак!»

Поэтому Деда-Лесовика нужно ублажать. Нужно благодарить его за каждый гриб. Впадать в лесть нельзя, ведь Дед-Лесовик не дурак, все понимает, хотя и живет в лесу. Но спасибо нужно говорить, чтобы он знал, что ты помнишь о нем.

— Спасибо за грибы, Дед-Лесовик. Мне бы еще десяточка два молодых подосиновиков.

6. СЛОЖНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Деду понравилось мое вежливое обращение. Проходя между двух молодых елок, разостлавших по земле свои нижние зеленые ветви, я заметил под одной из веток бугристую коричневую шляпку. «Белый! — обрадовался я.— Царь грибов!»

— Спасибо тебе, Дед-Лесовик.

Я срезал белый под самый корешок и положил в ведро. И обошел вокруг этой елки, надеясь найти еще такой же. А потом обошел вокруг соседней елки. А потом два раза обошел вокруг обеих елок, все расширяя круг.

— Дед-Лесовик,— тихо говорил я,— один белый — это ни то ни се. Даже друзьям не похвастаешь. А если будет хотя бы еще один, то можно будет сказать, что нашел несколько. Два — это уже не один, а несколько.

Но Дед-Лесовик решил, что достаточно побаловал меня. Хватит. Мне встретились одна червивая сыроежка и большой мухомор, который мне показался вовсе насмешкой: вот, мол, тебе гриб, а не хочешь, то как хочешь. Но я не поддался обиде и смиренно сказал:

— Ну что же, Дед-Лесовик, не хочешь мне дать еще грибов, и не надо. Ты хозяин, твое дело.

Я догадался, что он не рассердился на меня. Он только проверяет мое терпение, ожидая, не буду ли я ругаться: ах ты, Дед-Лесовик, старый, косолапый, такой-сякой, где грибы? Но, услышав от меня смиренное: не хочешь дать, и не надо, ты хозяин,— он смилостивится и опять одарит.

7. ВСТРЕЧА СО СВОИМ ЦВЕТКОМ

Обойдя густой, сросшийся в один куст молодой ельник, я вышел на поляну. На этой маленькой поляне трава была такая же, как в лесу, редкая, низкая. А в самом центре взметнулось вверх желтое соцветие коровяка. Еще его называют: царский скипетр, но мне нравится проще: коровяк. Его серые, будто присыпанные пылью листья тянулись вверх, почти прижимаясь к стеблю. А наверху сияло желтое соцветие. Внизу соцветия распустились большие цветки, а чем выше, тем цветки были все мельче и мельче. И поэтому соцветие ровно сужалось кверху и заканчивалось острым наконечником из зеленых, еще не распустившихся цветков.

Я всегда рад встрече с коровяком. Он вырастает в самых неожиданных местах, и встреча с ним всегда как подарок. Высокий, почти в человеческий рост, с роскошным по-царски соцветием, он вдруг взметнется перед тобой, а ты остановишься и подумаешь: откуда здесь такая красота?

Я подошел ближе, полюбовался желтыми цветками с красными крапинками тычинок.

— Что же, и за это спасибо тебе, Дед-Лесовик.

Протянул руку и погладил мягкий, будто из тонкого войлока, лист. Сорвать коровяк я не могу, потому что это мой цветок. Каждый относится к своему цветку по-своему. Другой встанет перед ним на колени, сорвет и потом долго нежит в руках. Но ведь как ни ласкай, все равно он завянет и придется бросить его.

Свой цветок нужно оставить расти. Чтоб потом долго, на годы, казалось, что он так еще и растет там, на той поляне, твой цветок.

8. ТАМ, ГДЕ ЗВЕРИ ХОДЯТ

Вдруг лес пошел в низину. Я спустился и оказался перед густыми зарослями ольшаника. «Пойду вперед»,— решил я.

На листьях ольхи роса уже высохла, но высокая трава была еще мокрая. Раздвигая ее перед собой, я чувствовал, какая она отяжелевшая от влаги.

Неожиданно пришлось остановиться. Прямо передо мной оказался ручей. Вернее, он был подо мной. Я стоял на верху крутого берега, местами даже нависающего над

водой. Внизу быстро несся прозрачный ручей, до того чистый, что хорошо было видно ровное песчаное дно.

Вода в ручье была мелкая, а местами у берега даже образовались из нанесенного песка сухие пятачки. Мне нужно было спрыгнуть на такой пятачок и перейти ручей здесь же, благо берег не очень высок, чуть выше моего роста. Но я почему-то пошел вдоль берега, может быть рассчитывая, что поблизости окажется мост, наведенный для того, чтобы я мог перейти на тот берег.

Моста не оказалось, но я вышел на тропу, которая рассекала обрывистый берег,— получался пологий спуск к воде. «Вот здесь и перейду»,— решил я. В этом месте дна не было видно, но мне показалось надежнее перейти именно здесь. Раз многие уже прошли здесь и протоптали тропу, значит, и я пройду. Я вошел в ручей, сделал шаг, другой — и вдруг нога провалилась в воду по колено. Холодная вода заполнила сапог. Мне подумалось, что я угодил в какую-то случайную яму, а вообще-то здесь должно быть мелко, раз тут проложена тропа и раз тут все ходят. Я смело шагнул вперед. И вторая нога так же провалилась в воду. «Э, теперь все равно!» — решил я.

Выбравшись на другой берег, я скорее сел переобуваться. Брюки тоже пришлось снять, чтобы отжать штанины. «Дурак ты дурак — ругал я себя.— Кто ходит по этой тропе? Это лосиная тропа. Лоси копытами растоптали дно, потому так и оказалось там глубоко. Мог перейти в любом другом месте, а не идти по звериной тропе. Наука на будущее: ходи там, где тебе лучше, а не там, где ходят звери».

А только обулся и только взял в руки ведро с грибами, опять вспомнил про Деда-Лесовика. Ведь это его шутки. Это он навел меня на лосиную тропу. Если бы не он, неужели я полез бы в ручей в самом глубоком месте?

9. ПОРА И К ДОМУ

От влажных портянок холодели ноги, и, чтобы согреться, я пошел быстрее.

Среди по-молодому зеленых елок сияли белизной стволы берез. Кроны берез вознеслись высоко вверх, а белые стволы будто вонзались в чистую зелень ельника.

Земля здесь укрывалась под слоем мелкого мха. Я шел как будто по ковру, и от этого ощущения мягкости ногам показалось теплее.

«Должны быть грибы,— думал я.— Это грибное место. Здесь должны расти и белый, и подосиновик, и подберезо-

вик». И вот: «Спасибо тебе, Дед-Лесовик. Я знал, что ты ко мне хорошо относишься. Ведь и я к тебе — тоже». Под елкой плотненький, будто мужичок-лесоруб, будто в самом деле живой, стоял белый. Когда я наклонился к нему с ножом, то увидел, что рядом вырос еще такой же, но поменьше. Он еще не поднялся из мха, а только чуть раздвинул мох своей шляпкой.

«Спасибо, Дед-Лесовик. Правда, в ручей это ты меня завел, но ладно, не будем считаться».

Я еще походил среди елок, но больше — ни одного белого, и решил, что пора поворачивать обратно. Ведро заполнилось уже за половину, а пока выйду из леса, успею набрать полное. В крайнем случае, решил я, наберу свинух — эти попадаются часто.

И я повернул обратно.

На этот раз не искал перехода через ручей. Спрыгнул с обрывистого берега прямо в мелкую воду и перешел на ту сторону.

10. А МЕДВЕДИЦА ПУСКАЙ КАК ХОЧЕТ

Дядьки из автобуса оказались правы. Время было уже к полудню, а небо так и оставалось ровное, серое. В такой день кажется, что все вокруг светлое само по себе, а не потому, что где-то далеко над землей есть солнце.

В пасмурный день грибы быстрее растут и меньше червивеют. Солнечный день плох для грибника уже тем, что при ярком солнце все оказывается ярче. Каждая былинка, каждый лист, каждая щепка, все оказывается высвечено солнцем. А тот гриб, который ищешь, вдруг становится самым неприметным. Пройдешь сощурившись мимо, пнешь носком сапога нахальную поганку, которая так и лезет в глаза, и еще подумаешь: «Что-то грибов нет. Грибница прошла, что ли?»

И вдруг я опять вышел к густому ольшанику. «Неужели опять ручей?» Вошел в ольшаник — и действительно: передо мной этот же самый ручей. «Что же такое? — всполошился я.— Может, того не заметив, я сделал крюк и теперь мне нужно идти в обратную сторону? А может, это ручей делает крюк, а я иду правильно?»

Выбравшись обратно из ольшаника, я снял с плеч рюкзак, достал из него бутерброды и фляжку, а пустой рюкзак разостлал на земле и сел на него. «Умные мысли приходят после еды»,— решил я.

Я ел бутерброд с сыром, запивал сладким чаем из

фляжки и думал о том, в какую сторону мне пойти. Туда пойду—не знаю, куда приду. А туда пойду—тоже не знаю, куда приду. Лес, он большой, темный, зверей в нем больше, чем людей. Куда идти, кто скажет человеку дорогу? Вот выйдет из-за куста медведь и подойдет ко мне. «Здравствуй»,— скажет он. «Здравствуй, Михаил,— скажу я. — Иди, садись рядом. Нá тебе бутерброд. Хочешь чаю?» Так мы будем сидеть рядом и есть бутерброды с сыром. «Вкусно,— скажет он.— Взял бы ты меня с собой. Хотелось бы мне узнать, что это за жизнь по-человечески».—«С чего это, Михаил, тебе захотелось пожить по-человечески? С медведицей поцарапался, что ли?» — «Да, есть немножко. Ворчливая она. Вот уйду, пусть попробует одна в лесу пожить».— «Нет, Михаил, не могу я тебя взять с собой. Ты зверь лесной, а у нас комната маленькая».— «А я на улице буду жить. Возле твоего дома».— «Нет, Михаил, это опасно. Пристанет к тебе какой-нибудь пьяный дурак, полезет драться. Лучше оставайся в лесу. Помирись с медведицей. Что с ней ругаться? Баба, она баба и есть».— «Да,— вздохнет он,— баба, это верно».— «Ты скажи, Михаил, в какую сторону мне идти, чтобы выйти на большую дорогу?» — «Иди в эту сторону. Тут недалеко».— «Ну спасибо, Михаил».— «И тебе спасибо. Хороший был бутерброд».— «Прощай, Михаил».— «Прощай».

11. МОЙ ОСИННИК

Нужно было торопиться, ведь теперь неизвестно, сколько еще придется плутать по лесу и куда в конце концов выйду. Закрутил все-таки меня Дед-Лесовик.

Я пошел в сторону от ручья.

Шел быстро, почти не оглядываясь по сторонам и подбирая только те грибы, которые попадались прямо под ноги. Вон мелькнуло сбоку что-то красное, может шляпка подосиновика. «Нет, прошлогодний лист или поганка»,— убеждал я сам себя и шел дальше.

Часто останавливался и слушал, не донесется ли шум проезжающих по шоссе машин. Нет, машин не было слышно. Но в какой-то момент, когда я так остановился и прислушался, все вокруг вдруг заполонил вроде бы негромкий, но все-таки пронзительный шум. Оказалось, я зашел в осинник. Под порывами легкого ветра осины прошелестели, будто вздохнули. И еще раз вздохнули. Я стоял и слушал, как с каждой осины сыплется и сыплется этот шелест; сыплется прямо на меня. «Пусть ос-с-танется»,—

прошелестело в одной стороне. «Пусть ос-с-станется,— прошелестело в другой, пус-с-с...» — и это «с» вдруг растянулось, повторилось сразу со всех сторон.

Я онемел, вслушиваясь в этот невнятный шум. Я мог бы так долго стоять, прислушиваясь к этому беспрерывному, иногда ослабевающему, но тут же опять нарастающему шуму. Захотелось лечь на землю и слушать, как ветер, будто сам ветер времени, проносится надо мной и над деревьями. Я бы лежал, слушал, и мне казалось бы, что это века проносятся над моим осинником...

Я почти бегом заторопился прочь. Скорее и скорее, чтоб не слышать этого, проникающего в кровь и в мозг, шума. И, только выйдя на большую поляну, почувствовал себя спасенным. Осинник еще шумел за спиной, но я был уже вне его власти.

12. КАК ВЫЙТИ ИЗ ЛЕСА

Решил передохнуть. Поставил на землю потяжелевшее ведро и лег, будто нырнул, в траву. Прямо перед моими глазами покачивалась на длинном стебле ромашка поповник.

Роса давно высохла, и травы теперь пахли свободно, уже не отягощенные влагой. Сосредоточившись, можно было выделить и запах сырой земли, и теплый запах ромашки — от этого запаха, казалось, обязательно должна быть оскомина. И очень чувствовался легкий летучий запах какого-то цветка; это должен быть маленький нежный цветок, вроде фиалки. И сладковатый запах клевера. И неожиданно откуда-то донесся терпкий, удушливый запах; так пахнет лопух, если помять меж пальцев кусочек его листа.

Вот так же больной зверь ложится на землю, принюхивается и безошибочно узнает те травы, которые ему нужны. Потому что болезнь неизбежно совпадает с запахом нужных трав, а неиспорченное чутье наводит зверя на эти травы.

Сзади в осиннике хрустнула ветка. «Что? Кто там идет?» Я приподнял из травы голову и увидел старика. Он шел в мою сторону. За спиной у него, стволом вниз, болталось ружье.

— Добрый день,— сказал он, подойдя ближе.

— Добрый день.

— Набрал грибов? Да, вижу что набрал. В этом году грибов много.

На нем были ватные стеганые штаны и кирзовые са-

ноги, никогда не знавшие гуталина. Ватник в поясе был стянут солдатским ремнем с медной пряжкой. Почти на самые глаза была нахлобучена ушанка; только ушки не болтались в стороны, а были связаны наверху.

— С утра в лесу,— сказал я.— Вот, ходил, ходил и заблудился. Теперь не знаю, куда идти.

— Заблудился?

Он улыбнулся — мне показалось, что хитро улыбнулся. От улыбки его старое лицо сморщилось, и сузившиеся глаза затерялись среди многих глубоких морщин.

— Нехитро заблудиться, лес большой. А шоссе рядом. Иди прямо. Пройдешь мимо болотца, оно останется по правую руку. А ты так и иди, все прямо и прямо.

— Спасибо, а то я уже совсем...

— Да, нехитро закрутиться. Закрутиться — это проще простого.

— Лесник? — спросил я.

— Лесник,— ответил он и опять сморщился от улыбки.

Он постоял рядом, молча глядя, как я надеваю за спину рюкзак. Я взял ведро и попрощался:

— До свидания. Спасибо за грибы.

— Будь здоров. Только не сворачивай, старайся все прямо и прямо,— напомнил он.

Когда я, немного отойдя, обернулся, он еще стоял на том же месте и глядел мне вслед.

Как он и советовал, я старался идти не сбиваясь в сторону, помня одно: прямо и прямо,— и скоро действительно вышел на шоссе. Мимо, громко гудя, проезжали тяжелые самосвалы. Легко, будто шелестя по асфальту, проносились легковые машины.

А Дед-Лесовик остался там, в лесу.

МОЙ ЗАВХОЗ, ИЛИ ЩИТ ИЗ НИЧЕГО

рассказ

В мастерской проектного института работают всего два столяра — это я и Борис Владимирович.

Мой верстак стоит у самого входа, сразу за дверью, а Борис Владимирович со своим верстаком отъехал в другой конец мастерской, в самый дальний угол, и оттуда каждое

утро кричит: «Зорька занялась, баба за работу принялась. При-ступаем!»

Над его верстаком горят две лампы дневного света, а чуть ниже сияет его собственная лысина, обширная, как привокзальная площадь.

Мы раскладываем на верстаках инструмент и приступаем к работе. Но прежде я включаю на полную мощность радио. Дело в том, что Борис Владимирович создан очень неэкономно: когда он что-то делает руками, он в это же время говорит, как будто руки и язык у него работают от одного выключателя. «Долго, ой долго еще до обеда,— говорит он.— А вчера на Московском проспекте трамвай с рельс сошел. Что за работа? Где здоровый коллектив? Нет здорового коллектива. Мы с тобой — это тоже коллектив, но чтобы в домино сыграть, нужно еще два человека. Не нравится мне. Ну всё в Африку!» Я слушаю передачу последних новостей, потом слушаю инсценировку классического произведения, слушаю песни советских и иностранных композиторов. Но и наших и иностранных исполнителей забивает хорошо поставленный голос Бориса Владимировича. «Шел я вчера по Невскому,— рассказывает он,— подходит ко мне такой представительный мужчина в белой шляпе. А чего подошел? Погода хорошая, ходи сколько хочешь. Ему, видите ли, скучно, плохо ему без коллектива. А шел бы в Африку, там народу много».

Когда он настроен мрачно, когда ему что-нибудь не нравится, он часто это повторяет: «В Африку! В Африку!» — как будто все на свете готов отправить туда, подальше, с глаз долой. Но вдруг находит полоса веселая, даже игривая, и Борис Владимирович начинает рассказывать: «А после войны в зоопарке показывали трехметровую бабу. Чудо! Баба, а с бородой. Вот это да! Хоть лестницу приставляй!» — и тут же сбивается, начинает говорить о кошке, которая живет у них в квартире. Слушаю все его рассказы — о бабе с бородой, о кошке, о соседке, которая приходится кошке тезкой, потому что и ту и другую звать Нина,— и мне начинает казаться, что мои собственные мысли бегают друг за другом и все никак не могут встретиться. Чтобы хоть на время задержать Бориса Владимировича на одной теме, спрашиваю: «Неужели голая?» Борис Владимирович вздрагивает и удивленно глядит на меня. «Кто? Кошка или соседка?» — «Баба, которую показывали в зоопарке».— «А, баба! Вот не помню. Наверное, голая, потому все и ходили смотреть».

Склонившись над верстаком, Борис Владимирович мастерит шкатулку под нитки-катушки — хочет подарить пле-

мяннице на день рождения — и продолжает: «А вот когда я работал на мясокомбинате, у нас был еще тот коллективец! Чудо!»

По радио в это время передают: «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан...» — хорошая песня.

Ровно в пять минут двенадцатого хлопает во дворе дверь, а потом в коридорчике перед нашей мастерской слышны шаги и скрип половиц. Дверь распахивается, и в мастерскую входит завхоз. «Здравствуйте, молодцы! — кричит он.— Как дела?»

Мы уже подготовились к его приходу. Борис Владимирович спрятал свою шкатулку и разложил на верстаке детали стула, который нужно починить. На моем верстаке тоже стоит поломанный стул. Пол мы тщательно подмели, чтоб не валялось ни одной стружки, и побрызгали водой. Работа работой, а наш завхоз любит, чтобы в мастерской был полный порядок. Порядок прежде всего, потому что без порядка уже никакой работы быть не может.

Мы стоим, каждый возле своего верстака, я со стамеской в руке, а Борис Владимирович — с молотком. Сразу видно, что мы работаем.

«Молодцы! — говорит завхоз, прохаживаясь по мастерской.— Так держать! Какая у нас впереди задача? Почините стулья, а потом... Вы,— обращается он к Борису Владимировичу,— сделаете шкафчик. Пойдете... возьмете... сделаете... чтоб было...» Борис Владимирович слушает и кивает головой: «Ясно... ясно... ясно...» Ему ясно, как под небом Сицилии. Потому что уже вторую неделю завхоз дает нам одно и то же задание. Борис Владимирович должен сделать подвесной шкафчик для хранения папок с документацией, а я должен сделать щит для институтских объявлений.

«А вы,— говорит завхоз,— сделайте щит. Пойдете... возьмете... сделаете... чтоб было...» — «Но,— говорю я,— из чего делать? Где доски? Еще две недели назад мы вам сказали, что нет ни досок, ни фанеры».

Завхоз глядит на меня задумчивым и печальным взглядом. Я даже укор чувствую в его взгляде, как будто он спрашивает: «Ну зачем, зачем ты это сказал?»

«И что ты за человек!» — говорит он. Голос у него теперь тихий, усталый. Теперь он обращается ко мне на «ты», и я естественно принимаю это обращение,— перед человеком с таким усталым голосом все равны и все равно.

«И когда ты поймешь? — спрашивает он.— Говорит тебе начальник, а ты отвечай: есть, есть, есть,— и нечего разводить критику. Вот ему,— он указывает на Бориса

Владимировича,— я сказал что делать, и он мне одно ответил: ясно! — а ты десять слов в ответ. Вот если бы я тебя спросил, почему до сих пор не сделан щит для объявлений, то ты мог бы мне объяснить и про доски, и про фанеру. Но ведь я тебя не спрашиваю. Скажи, не спрашиваю? Теперь все понял? Повторяю тебе еще раз. Сделай щит... пойди... возьми... чтобы было...»

О, это будет прекрасный щит! Вдоль щита можно прибить узкие планочки, к которым удобно будет прикалывать объявления. Сам щит можно покрыть коричневым бейцем и отделать лаком, а планочки подкрасить охрой. В левом верхнем углу нужно сделать выступ, чтобы само слово «объявления» оказалось как бы над щитом. В конце концов, я все-таки умею работать; не зря я когда-то учился в ремесленном училище. Да, это будет великолепный щит! То, что надо, почти икона.

Слушаю завхоза и говорю: «Есть... есть... есть...» — хотя нет ни досок, ни фанеры.

«Зачем ты с ним препираешься? — спрашивает Борис Владимирович, когда завхоз уходит.— Ведь он дурак!» — «Я не препираюсь,— оправдываюсь я,— а только спрашиваю».

Борис Владимирович достает из-под верстака заготовки для шкатулки — хороший будет подарок племяннице! — и, взяв в руки стамеску, начинает: «Что за работа! Где здоровый коллектив? Нет здорового коллектива...» Я скорее врубаю радио, но и сквозь звуки какого-то марша слышу: «В домино не сыграть. Матерьяла нет. Начальник дурак...»

Это у Бориса Владимировича больная тема.

Давно я заметил, что у каждого здорового человека есть своя тема, до которой, как до зуба с дыркой, лучше не дотрагиваться. Можно говорить с этим человеком о росте населения, о президентских выборах в Америке, о ценах, о чем угодно,— он будет улыбаться, отшучиваться, но стоит одним словом задеть его тему, и он сразу перестает понимать шутки, делает глаза на татаро-монгольский манер, потом начинает топать ногами и метать молнии. В общем-то не страшно, пусть себе мечет, лишь бы не попалось ему под руку что-нибудь острое, а то вдруг он сделает нервное движение и отмахнет себе уши, и вот получится кровопролитие.

У меня тоже есть своя тема, но, чтобы меньше волноваться, я предпочитаю помалкивать.

«Дурак, а командует!» — кричит Борис Владимирович и размахивает стамеской.

«Уши! Уши!» — думаю я и отворачиваюсь, чтобы не видеть его страшных движений.

* * *

Светокопировка рядом с нашей мастерской. Работает в светокопировке дочь нашего завхоза.

Ирочка, так звать ее. Любой мужчина, произнеся это имя, по-моему, должен хорошенько задуматься. Ведь звучит-то как: И-роч-ка! Заходит в светокопировку какой-нибудь хлюст из отдела и спрашивает: «Ирочка, вы сделали мои листы?» Но в том-то и дело, не из-за листов он зашел, а только затем, чтобы при ней произнести ее имя. «Ирочка, вы сделали...» — «Нет, еще не успела».— «Ах, Ирочка, пожалуйста, Ирочка, нам срочно...» Врет он все, ничего ему не срочно; пусть она хоть полгода делает эти листы, ему только предлог будет еще и еще раз зайти к ней.

Я тоже часто захожу в светокопировку. Потому что мы соседи. Выйдя во двор, нужно только открыть соседнюю дверь, пройти коридорчиком, таким же, как перед нашей мастерской, и, войдя в помещение, где стоит светокопировальная машина, уже можно сказать: «Здравствуй, Ирочка!»

Сажусь на стул и достаю из кармана сигареты.

И вдруг сюда заходит наш завхоз. Он пришел что-то сказать Ирине и, увидев меня, страшно удивлен. «А ты почему здесь?» — «Да вот, зашел перекурить».

Я всегда курю сигареты «Прима», так сказать, демократические, а Ирочка курит только с фильтром — «Опал» или «Стюардесса». «И для чего женщине курить! — возмущается завхоз.— Не бил я ее, пока она была маленькая, и вот в этом все дело». Ирочка смеется и соглашается: «Да, папочка. А теперь уже поздно».— «Да,— соглашается и завхоз,— теперь тебя пусть муж перевоспитывает. А ты,— обращается он ко мне,— здесь не засиживайся. Помни, что у тебя работы выше головы. Помнишь?» Я, разумеется, помню. Он почему-то внимательно вглядывается в наши лица, как будто заподозрил нас в чем-то. Потом молча поворачивается и уходит, забыв сказать, зачем приходил.

Ирочка сидит на столе, длинном, как прилавок в магазине, на этом столе грудой свалены листы кальки и разлохмаченные рулоны светочувствительной бумаги. Я сижу на стуле напротив. Между нами почти через все помещение растянулась копировальная машина. Ирочка расска-

зывает о своем женихе. «Ты понимаешь, положение, положение получилось ужасно дурацкое. Согласия своего я еще не дала, но обещала подумать. Получается, что все-таки обнадежила. Он меня со своими родителями уже познакомил, и я его к нам приводила. Папе он очень понравился».

Ее жених в этом году заканчивает мореходку, получит офицерский чин, будет плавать по морям и океанам.

«Но, понимаешь, не лежит у меня к нему душа. Парень он красивый, высокий, непьющий. Знаю, для семьи он будет очень хороший. Но ничего не могу поделать с собой. Есть у него такая привычка: когда идем с ним по улице, он обнимет меня за талию и весь как будто прилипнет ко мне. А я даже злиться начинаю. Что за деревенская манера! Ты не смейся,— говорит она мне,— это очень серьезно, это только кажется, что ерунда. Мне одна подруга так и сказала: «Ты, говорит, посмотри, как он ест, и если поймешь, что всю жизнь сможешь просидеть с ним за одним столом, то смело соглашайся». А он, знаешь, как он ест? Нет, не чавкает. А уткнется в свою тарелку и, как машина, только рукой шевелит: в тарелку — в рот, в тарелку — в рот. Скучно с ним за одним столом, понимаешь?»

«Ирочка, не забывай,— говорю я,— что моряк почти не бывает дома. Не придется тебе часто сидеть с ним за одним столом».

Она смеется. Она прямо на пол стряхивает с сигареты пепел и, улыбаясь, глядит на меня. А я гляжу на нее. Она умная, она все понимает. Мы долго молчим.

«В том-то и дело,— говорит она,— я себя знаю, я буду верной женой. Я ужасная трусиха и никогда не смогу изменить своему мужу». Она старательно мнет окурок о край стола и бросает его в ящик с бумажными обрезками.

«Поэтому мне нужно выйти замуж за человека, с которым мне будет всегда хорошо. Пусть он будет некрасивый, пусть он будет намного старше меня...»

У меня такое ощущение, что я уже где-то слышал эти слова и произнесены они были с такой же интонацией, намекающей на искренность. Наверное, и тогда я слушал с таким же точно недоверием. О чем-то она собирается соврать, если уже не соврала.

«Ирочка...» — говорю я. И тут лампочка под потолком начинает мигать и гаснет. Наши прибористы из механической мастерской часто испытывают новую технику, которую сами изобретают, и примерно раз в неделю весь институт час-два сидит без электричества.

Окна в светокопировке закрыты глухими шторами, и мы с Ириной сразу оказываемся в темноте.

Я не успеваю ничего придумать и говорю первое попавшееся на язык. «Черт подери»,— говорю я. Ирина не отвечает, и у меня появляется ощущение, что я вдруг оказался один в этой темной комнате. «А у меня как раз кончились спички»,— говорю я и жду, ответит ли она. «А мои в сумочке, но я не помню, куда ее положила».— «Сейчас найдем»,— уверенно говорю я. Теперь, когда знаю, что я не один, у меня сразу прибывает решительности. «Сейчас, Ирочка, не бойся. Кажется, твоя сумка лежала на стуле у двери».— «Нет, я положила ее где-то на столе. Я хорошо помню, как доставала сигареты...»

Ее голос звучит справа от меня. А вроде бы, когда погас свет, она сидела напротив, ее по-мальчишечьи острые колени были обращены как раз в мою сторону. А справа должна находиться дверь, но если справа оказалась Ирочка, то дверь у меня за спиной.

Вдруг понимаю, что заблудился в этой комнате. Вот стул, на котором я сидел, и значит, дверь в той стороне. «Ты где?» — спрашивает она. Теперь ее голос оказывается у меня за спиной. Наверное, я все-таки пошел не туда. «Хочу найти твою сумочку»,— говорю я. Делаю еще несколько шагов и вдруг наталкиваюсь на что-то. Испугавшись, что толкнул слишком сильно, обхватываю обеими руками и говорю: «Ирочка, как ты напугала меня!» — «Ой!» — с опозданием говорит она.

«Ирочка, как у тебя бьется сердце!»

Свет как погас, так же неожиданно загорается. Я вижу ее лицо, на нем такая растерянность! Это, конечно, оттого, что свет загорелся слишком неожиданно. Я тоже весь растерян, и лицо у меня, наверное, точно такое же — какие-то остатки вместо лица. Теперь попробуй найди, где мы с ней что обронили!

«Смотри, вон твоя сумка»,— говорю я только для того, чтобы хоть чем-то занять и себя и ее.

Сумочка лежит на столе между рулонов светочувствительной бумаги.

«Господи, надо же так затеряться!» Она подходит к столу и достает из сумочки пудреницу. Сейчас она глянет в зеркало, где надо подпудрит, подправит помадой и потом повернется ко мне уже собранным лицом. И увидит, что я так и стою дурак дураком. Наверное, я должен что-то сказать и скорее уйти, чтобы не тянуть дальше это состояние растерянности.

«Надо же,— говорю,— как быстро они починили свет!»

«Вдруг кто-нибудь зайдет,— говорит она,— тебе лучше уйти».

Она оборачивается в мою сторону. Она может не бояться, ничего не заметно по ее лицу. Только щеки охвачены красными пятнами, но это скоро пройдет. Да глаза чуть-чуть прищурены, как будто от слишком яркого света.

«Уходи,— и она улыбается, наверное для того, чтобы я не обиделся,— уходи, нельзя нам».

Да, она лучше меня знает, что нам можно и чего нельзя.

После ее слов мне оказывается легко повернуться и выйти.

* * *

Это было уже дважды.

Один раз мне приснилось, что я сделал хороший щит для объявлений, с узенькими планочками, подкрашенными охрой. Подошел Борис Владимирович, посмотрел на щит и вдруг закричал: «Нет матерьяла... матерьяла. Дурак, дур...» — обернулся вороной и улетел.

А в эту ночь приснилось, что иду я по коридору нашего института, а вдоль стены висит один длинный щит для объявлений. Иду и сам удивляюсь: «Как я такой щит сделал? Хороший щит, много всяких объявлений можно повесить, теперь не будут стенку кнопками портить». И вдруг вижу, бежит навстречу завхоз, обеими руками придерживает живот и кричит: «Ты что это наделал! Как ты посмел!» Смотрю на него удивленно и думаю: «О чем он?» Вижу красный прыщик на кончике его носа — и так мне захотелось сказать: «У вас прыщик на носу», что даже проснулся.

«Все, хватит!» — решаюсь утром. Жена как будто чувствует, что в этот день мне предстоят подвиги; она необыкновенно внимательна ко мне. «У тебя есть деньги на обед?» — «Есть, есть»,— но она все равно пихает мне в карман рубль.

Бориса Владимировича в этот день не должно быть в мастерской, он уже неделю как на больничном. А завхоз должен с утра и на весь день уехать в командировку — получить на комбинате новые столы для отделов. Сегодня никто не будет мешать, сегодня можно поработать.

Щит будет что надо. Не зря мастер ремесленного училища, у которого я учился, однажды сказал: «К твоим бы рукам да деловую голову!» Хороший он был человек, мой мастер, и умелец и умница, хотя и слишком часто рассуж-

дал о каких-то деловых способностях — наверное, это была его больная тема.

Стружка завивается в рубанке и летит на пол. Было бы из-за чего расстроиться завхозу, окажись он сейчас в мастерской. Много сегодня будет стружек!

Когда рубанок хорошо настроен, работается легко; он пролетает над доской, как будто не касаясь ее, только раздается звук, похожий на свист, и вот на пол падает новый сосновый локон. Очень красивый локон. Если стружка выходит некрасивая, как-то не так весело работается.

В обед, прежде чем пойти в столовую, захожу в светокопировку. Сам не знаю зачем; когда вышел из своей мастерской, подумал: «Вот сейчас пообедаю»,— и еще подумал, что на второе нужно будет взять что-нибудь помяснее, а ноги почему-то сами повернули в другую сторону — как будто кто-то повел меня за руку. Открывая дверь, спохватился: «Зачем? Нельзя нам»,— но уже переступил порог, и пришлось говорить: «Здравствуй, Ирочка».

Она стоит возле стола, перебирает бумаги. Оглянувшись в мою сторону, кивает: «Здравствуй».

«Кажется, ты собираешься уходить?» — спрашиваю я. «Да, ты понимаешь, мне нужно срочно отнести чертежи в отдел». Понимаю, как не понять! Сейчас, в обеденный перерыв, кому-то срочно нужны чертежи.

Выйдя на улицу, вспоминаю: «Пообедать нужно. На второе возьму что-нибудь отбивное»,— и мне кажется, что голова у меня ясная, как никогда. Все я понимаю. Дело только в том, что иногда не хочется все понимать.

После обеда опять пилю и строгаю. Гора стружек возле верстака все растет, и временами уже веселю себя мыслью: «Ничего получается!» — потому что уже кое-что начинает получаться. Щит будет что надо.

А на следующее утро вышел Борис Владимирович — врач вылечил его и выписал на работу. Перешагнув порог, он останавливается и удивленно глядит на щит. Осталось только прибить планочки, к которым удобно будет прикалывать объявления. «Что, матерьял привезли?» — «Нет,— успокаиваю его,— нет, не привезли». Вполне понятен его испуг. Скоро день рождения племянницы, а шкатулка под нитки-катушки еще не готова. «А из чего делал? Пару досок ты мог у жактовских столяров взять, но где ты фанеру достал? А, догадываюсь! Тут рядом старый дом на капитальный ремонт пошел, не оттуда ли проволок? Там сторожа нет, волоки сколько хочешь. Можно там и фанерой разжиться. Это только наш начальник ничего не может. Дурак он».

Я доделываю щит, укрепляю и подкрашиваю охрой планочки. Борис Владимирович полирует крышку шкатулки и рассказывает: «Вчера наша кошка заболела. И соседку звать Нина, и кошка Нина. А однажды я человека чуть не убил. Слышишь? Да ты не слышишь, что ли?» Нет, я хорошо его слышу, хотя радио над моим верстаком кричит во всю силу.

В пять минут двенадцатого хлопает дверь со двора. Потом — шаги в коридоре, и в мастерскую входит завхоз. У Бориса Владимировича лежит на верстаке развалившийся стул, а сам он стоит рядом со стамеской в руке. Я стою без молотка, с пустыми руками, но зато на моем верстаке лежит уже готовый щит. Хороший все-таки получился щит! Пол в мастерской чисто подметен.

«А это что такое?» — спрашивает завхоз. Я делаю вид, что удивлен его вопросом. «Как что? Щит для объявлений».— «Вижу, что щит. Но ты скажи, из чего ты сделал? Где взял доски и фанеру? В подвале взял? Но я же запретил!»

В институтском подвале свалены старые шкафы, столы и стулья, предназначенные на списание. Но пока они не списаны, завхоз запретил их трогать. Нет, не трогал я старую мебель в подвале. «Но тогда из чего сделал? Ведь у нас ни досок, ни фанеры, ничего нет».— «Вот из вашего ничего и сделал». — «Слушай,— говорит он,— я люблю порядок, мне щит из ничего не нужен». Я развожу руками, мол, что есть, из того и сделал.

«Вы,— обращается он к Борису Владимировичу,— принимайтесь за шкафчик. Пойдите... возьмите... сделайте...» Но даже заключительное «чтоб было!» звучит так, что понятно, сегодня завхоз сам не верит, что будет когда-нибудь сделан этот шкафчик для папок. Потом вдруг поворачивается и уходит, как будто начисто забыл обо мне и о моем щите. «Обидел ты его,— говорит Борис Владимирович.— Ничего, пусть! Так ему и надо!»

Через полчаса я сам захожу в кабинет завхоза, в руке держу заявление с просьбой уволить меня по собственному желанию. «Это еще что такое! — удивляется он.— Ну, ладно, почудил, сделал щит неизвестно из чего, а заявление-то зачем? Ты что, ребенок, что ли? Чем тебе здесь не работа? Заработок у тебя есть, а премию разве я тебе не обещал? Что тебе еще надо?» — «Вы считаете себя хорошим человеком? — спрашиваю я.— Не стесняйтесь, скажите: да, считаю. А я тоже хочу считать себя хорошим человеком. Имею я на это право или нет? Меня мама так воспитала. «Будь человеком!» — говорила она».— «Это хоро-

шо, что ты про маму вспомнил,— говорит завхоз,— это ты правильно. Родителей надо уважать».— «Вот поэтому не хочу я у вас работать. Не хочу из ничего делать. Нет, мне не тяжело, для меня это пустяк, я из ничего дворец могу построить. Но не хочу! Это же преступление расходовать ничего на какие-то щиты для институтских объявлений».

«Ну зачем же,— говорит завхоз,— зачем же из ничего делать? Материала кругом сколько хочешь! Вон возле мебельного магазина гора лежит. Там каждый день мебель в упаковке получают, и тебе только благодарны будут, если ты доски заберешь. На́ твое заявление, иди работай. Что ты такой упрямый! Пойми, не хочу я с тобой расставаться. Правда, ты часто задаешь дурацкие вопросы, но это только потому, что не имеешь настоящего понятия о порядке. Я тебе как-нибудь все объясню».

И объяснит. Я верю, он все хорошо объяснит. Но вот вопрос: захочется ли мне в ответ на его объяснения рассказать ему о своей больной теме? Нет, вряд ли. Тут он кое в чем схож с Борисом Владимировичем. Один все поворачивает к своему: «Начальники дураки!» — а второй обязательно скажет: «Должного порядку нет!» — и как отрубит. Оба они что-то понимают и умеют объяснять. Удивительно, почему они до сих пор не поняли друг друга.

«Догадываюсь,— говорит завхоз,— ты хочешь перейти на работу, где тебе пообещали больше денег. На завод пойдешь?» — и глядит на меня даже без осуждения, довольный тем, что все понял. «Правильно, ты молодой, тебе и приодеться надо, и все такое... Не все быть возле жены. А на баб много денег надо, они деньги любят».— «Нет,— говорю я.— Деньги нужны, это верно, но сейчас я работу буду искать, а не деньги. Деньги можно и на улице найти. Вон один мой приятель на Невском двадцать пять рублей нашел. Но ведь это же не профессия!» — «Что не профессия?»— «Деньги искать».— «Конечно, не профессия»,— соглашается завхоз. «Вот я и говорю. Буду искать работу».— «Да это же хорошо,— говорит завхоз,— что тебе поработать захотелось. Поэтому и прошу тебя остаться. Вдруг нам завтра или послезавтра доски привезут».— «Нет,— говорю я,— не привезут».— «А ты почему так уверен?» — «Если привезут, то будет совсем плохо. Представьте, что у нас тогда в мастерской будет. Стружка, пыль! Никакого порядка!» — «Это ты верно! — И завхоз вздыхает.— Порядка уже не будет».



*Шаврова затянуло в эту исто*рию случайно. Был болен начальник лаборатории, и Шавров пошел вместо него к заместителю директора Фомину подписать накопившиеся письма.

— Разрешите, Павел Степанович? — спросил он, приоткрывая дверь.

Осторожная почтительность Шаврова была, разумеется, несколько излишней: они с Фоминым знали друг друга лет десять, не один раз бывали вместе в командировках. Однако мало ли что бывает в командировках на отдыхе. Служба должна быть службой. Шавров считал, что фамильярничать с начальством значит прежде всего не уважать свою работу.

— А-а, Геннадий Семеныч! — неожиданно обрадовался Фомин.— Вот вовремя ты, ей-богу, вот кстати! Выручай! Придется тебе в командировочку съездить. На недельку. В Кремнев. Ты там был когда-нибудь?

— Это еще зачем? — насторожился Шавров. Он с Кремневским заводом работ не вел, значит, его собирались отправить по чужим делам.

— Да пустяки! — ответил Фомин.— Взлетела там установка акрилона. От нас требуют двух человек в комиссию. Поедет Литвинов из техники безопасности, и кого-то надо от технологов. Вот тебе сам бог и велел: ты же у нас бывший специалист по взрывам.

— Не могу я ехать,— попробовал упереться Шавров.— У меня работы выше головы.

— Знаю, знаю,— отмахнулся Фомин,— ты у нас всегда самый занятый. Вот и съезди: отдохнешь, проветришься. Ничего с твоей работой за неделю не случится.

В лабораторию Шавров вернулся в скверном настроении и еще с порога закричал:

— Людмила! Бери блокнот!

Людмила подошла, усмехаясь:

— Опять уезжаешь?

— Да ну! Шавров уже ко всем бочкам затычка! Хоть бы за неделю обернуться.

— Да ты не переживай, мы тут справимся.

Шавров покосился на ее белокурую головку:

— Справитесь вы...

Группа Шаврова состояла из пяти молодых женщин. Руководить таким коллективом было, разумеется, невозможно, но Шавров, сам порой удивляясь своему терпению и дипломатическим способностям, все же как-то руководил.

Начался ритуал передачи дел. Шавров, припоминая, диктовал, какие в его отсутствие приготовить образцы, какие составить бумаги, что сделать в цехе, а Людмила, которая оставалась за старшую, записывала. В конце концов дел набралось столько, что Шавров, просмотрев список, даже повеселел: а и в самом деле неплохо вырваться из этой круговерти хоть на недельку. Тем более, Валерка Литвинов — попутчик веселый.

— Людей-то много погибло? — неожиданно спросила Людмила.

— Где? — изумился Шавров.

— В Кремневе.

— Да ты что?! Это еще откуда такие слухи?

— Ничего не слухи! Командировочный из Москвы рассказал.

— Вот черт!..— воскликнул Шавров.— Это значит, Фомин мне т а к о е дело подсунул!

На памяти Шаврова в отрасли не было серьезных аварий, и тем более не гибли люди, во всяком случае, он об этом не слыхал. Сейчас ему сразу представились бесконечные обследования, заседания, составление бесчисленных бумаг, и, все более разгораясь гневом на Фомина, он повторил:

— Вот черт! Если б я только знал, послал бы я его подальше. Да оттуда в месяц не выберешься!..

— Слухи не слухи,— сказал Валерка Литвинов,— а двух бабок ухлопало. Погляди.

Валерка Литвинов был толст, щекаст и до того белобрыс, что казался безбровым. Был он выпивоха, болтун, но парень добродушный и товарищ надежный.

Шавров взял у Валерки бумагу — письмо главка, пробежал глазами строчки: «...установка предварительной по-

лимеризации... смертельно травмированы две аппаратчицы... создать комиссию в составе...» Он бросил письмо на стол:

— Ты мне попросту, русским языком объясни — что случилось?

— Да чего объяснять? Разнесло в хлам! Ты технологию акрилона представляешь?

— Понятия не имею.

— Ну смотри.— Валерка взял листок и начал чертить схему: — Установка предварительной полимеризации в отдельном здании. Мономер жидкий, идет из бака по трубопроводу. С другой стороны в реактор подают растворитель. Негорючий, что самое интересное. Сюда вводят инициатор полимеризации. Раствор продукта уходит из реактора по этой трубе. Все. Три года назад установку пустили, три года полный ажур, и вдруг — бац! Ни с того ни с сего. У нас по главку теперь все показатели травматизма полетели — и за квартал, и за год. Нам с тобой, Гена, в темпе за билетами надо ехать, время летнее, в кассах очереди.

— Да ты погоди, не тарахти! — сказал Шавров.— Ты объяснить-то можешь, почему рвануло?

— А хрен его знает! Раз в сто лет, говорят, и палка выстрелит. Там уже прокуратура разбиралась, никого не привлекли, значит, бабки сами что-то нарушили. Ты не беспокойся, работы будет немного. Нашей комиссии дело теперь формальное — отзаседать и приказ по главку подготовить... Да ты чего такой кислый?

— Не знаю,— сказал Шавров. Он все еще разглядывал схему, начерченную Валеркой.— Неприятно это все как-то. Знал бы, ей-богу, отказался бы ехать.

— Да брось ты, съездим! Что ж делать, что неприятно! Там все-таки юг, тепло, вино дешевое. Ну чего ты в самом деле... — На добродушном поросячьем лице Валерки отразилось огорчение.— Ну хочешь, я сам съезжу билеты возьму?

Когда заместитель директора Фомин с усмешкой называл Шаврова «бывшим специалистом по взрывам», Шавров не обижался, хотя, по совести, иронизировать было не над чем: в свое время он действительно работал взрывником. Началось с того, что в армии, куда его призвали после техникума, он попал в саперную часть. Шаврову было тогда девятнадцать лет, он только что, перед самым призывом, прочел Сент-Экзюпери и, когда узнал, что ему предстоит обучаться взрывному делу, испытал нечто вроде жутковатого восторга. Ему казалось, что он попадет в осо-

бый мир суровых и сильных людей, которые, подвергаясь ежедневной опасности, подобно героям «Ночного полета», просветленно живут «по ту сторону декораций». Но все оказалось гораздо прозаичнее. Не было особого романтического мира. Офицеры, люди в большинстве семейные и, по тогдашним представлениям Шаврова, немолодые, озабоченные хозяйством, переводами по службе, учебой детей, тоже мало походили на героев Сент-Экзюпери. А главное, не было и той повседневной опасности, к встрече с которой он так напряженно готовился. То есть она, конечно, существовала, и в наставлениях и инструкциях, которые они изучали, многие работы так и именовались — «опасными», даже «особо опасными»; но как раз оттого, что опасность казалась такой будничной, известной, предусмотренной, в ней не было ничего устрашающего и ничего романтического. Получалось даже, что это как бы и вовсе не опасность, а просто необходимость учить и соблюдать определенные правила.

Шаврову казалось, что он просто-напросто попал не в настоящую саперную часть, и в этом все дело. Настоящие саперы,— он знал это из фильмов,— те, кто ищет и обезвреживает залежавшиеся в земле с войны бомбы и снаряды. А они служили на севере, где никогда никакой войны не было, и занималась их часть в общем-то мирными делами: вела обычные взрывные работы для строителей. Первое время Шаврову по-мальчишески был интересен самый момент взрыва: вспышка, вулканическое облако дыма, песка и пыли, громовой удар воздушной волны,— но постепенно и это стало привычным, обыденным. Да и усталость отбивала любопытство, ведь им приходилось не столько взрывать, сколько готовить взрывы: бурить, копать и таскать, таскать до изнеможения — оборудование, инструмент, мешки с взрывчаткой.

Правда, они знали: и на такой работе бывает всякое. Но возможные ошибки, от которых их предостерегали на занятиях, выглядели нарочито нелепыми, таких они никогда, конечно, не совершили бы.

Никакой особой любви к взрывному делу Шавров из армейской службы не вынес и если, демобилизовавшись, пошел на работу во «Взрывпром», так только из-за заработка. Платили там хорошо, вдвое больше, чем он получал бы на заводе со своим техникумовским дипломом. Да и частые командировки ему тоже нравились: тогда он еще любил ездить. Возможно, он работал бы взрывником и по сей день, если бы не встретил Любу. Это она настояла,

чтобы он перешел в НИИ: ей не хотелось, чтобы он часто уезжал, и вообще она за него боялась. Он сам не подавал ей ни малейшего повода для страха, не рассказывал, как другие ребята своим девушкам, всякие небылицы о работе взрывника, наоборот, старался объяснить, что это такое же дело, как всякое другое, не лучше и не хуже. Но она все равно боялась и особенно тревожилась, когда он уезжал, требовала, чтобы он писал ей ежедневно. От этой ее тревоги за него, почти беспочвенной, Шавров чувствовал себя неловко. Получалось так, словно он, обыкновенный парень, завоевал ее любовь незаслуженно, каким-то обманом. Ведь это и в самом деле было незаслуженным подарком судьбы — то, что его полюбила такая красивая, умная девушка. Вначале ему казалось: чудо вот-вот разрушится, она поймет наконец, что он ей не пара. Он же замечал, как иногда, не подавая вида, Люба все-таки бывала удивлена, если оказывалось, что он тоже читал некоторые из тех книг, которые нравились ей. Но вот ведь — полюбила. Такого, каким он тогда́ был. И, радостно подчиняясь ей, он сперва перешел на ту работу, которую она для него выбрала, а потом с ее помощью поступил и в институт, на вечерний.

Да, нелегко им тогда пришлось, зато теперь все трудности остались позади, жизнь наладилась, устоялась. На работе он получил «ведущего», у них с Любой была отличная квартира, Светке, дочери, исполнилось десять лет, она училась в английской школе. Все было хорошо, все — слава богу. Конечно, кто-то, может быть, добивался большего, защищал диссертации, обходил Шаврова по служебной лестнице, но он, Шавров, никому не завидовал. Что завидовать? У них — так, а у него — так. Зато в чем-то другом у него лучше: сам здоров, как вол, жена хорошая, дочка умница. Если у каждого все плюсы и минусы его жизни сложить, так еще неизвестно, что у кого в итоге получится. Хотя, скорее всего, у всех поровну.

И он даже сердился на себя за то, что все-таки не может, не умеет быть полностью довольным своей нынешней жизнью.

Все чаще вспоминалась Шаврову его прежняя, молодая, глупая жизнь, о которой вроде бы и вспоминать не стоило. Теперь, когда все так отдалилось, ему казалось иногда, что в той саперной службе, в работе взрывника действительно было нечто мужественное, возвышающее, чего он тогда просто не мог понять; что, может быть, взрывное дело и было тем единственным делом, которое он по-насто-

ящему любил в жизни. Отчего приходило к нему это странное сожаление о прошлом, он не знал. И этим невозможно было поделиться ни с кем. Даже с Любой.

На вокзал Шавров приехал, как всегда, ровно за четверть часа до отправления поезда. Валерка же ввалился в купе в последнюю минуту и, распахнув портфель, радостно бухнул на столик бутылку портвейна. Они выглотали вино под осуждающими взглядами соседок, двух пожилых женщин, потом покурили в тамбуре, пока те укладывались спать, и сами завалились на свои верхние полки. Валерка мигом захрапел, а Шавров долго еще лежал без сна. Поезд, разгоняясь, раскачиваясь, несся на юг, к маленькому городу Кремневу. В купе было темно, только по краям опущенной на окне шторы пробивалось слабое свечение белой ночи да порой, вздрагивая в такт колесному перестуку, пробегали по стенкам и гасли желтые лучики фонарей... Когда вчера он сказал Любе, что уезжает в командировку, Люба начала ворчать. Она говорила то же, что говорила всегда в таких случаях («Опять ты едешь! Ты никогда не можешь отказаться!»). Шаврову, как обычно, надо было только отмолчаться, переждать. Но он, неожиданно для себя, вдруг не выдержал и сказал ей, куда и по какому делу едет. Люба сразу примолкла, растерялась. Да... Неприятно... Какая нелепая фраза в письме из главка: «смертельно травмированы». Почему придумали такую нелепую фразу вместо того, чтобы просто написать — «погибли»? Наверное, потому, что звучит обтекаемо, и словно бы нет непоправимости. Так в армии, когда речь идет о своих потерях, вместо «убит» говорят «выведен из строя»... И вдруг Шавров подумал о том, что никогда он ни разу еще не сталкивался по-настоящему со смертью. До тридцати шести лет дожил, а не сталкивался, никого не хоронил. Отец погиб на войне, когда он сам был еще грудным, а мать — жива-здорова. Он перебрал мысленно всех своих немногочисленных родственников и друзей: все были живы-здоровы. Случалось, конечно, умирал кто-то, кого он знал, но всегда этот «кто-то» был достаточно дальний. Да, везло ему...

И, думая об этом, Шавров заснул.

В Москве в их купе оказались две молоденькие попутчицы, как видно студентки. Шавров лежал на своей верх-

ней полке, перелистывая газеты; девушки сидели внизу напротив и весело болтали. Одна из них, хорошенькая, маленькая, черненькая, смеясь, говорила подруге: «Я все равно что-нибудь себе куплю, я всегда найду, что себе купить!» Говорила она громко, сквозь стук колес Шавров слышал каждое слово. Он понимал: она кокетничает. Не всерьез, конечно, а так, автоматически, бессмысленно кокетничает перед ним, далеко не таким уже молодым и красивым, просто потому, что он в эту минуту единственный мужчина рядом (спящий Валерка Литвинов, как видно, не в счет). В другой раз это показалось бы забавным, но сейчас Шаврова раздражал ее резкий голосок, хотя он и не мог понять причину своего раздражения. Может быть, все оттого, что за этим кокетливым смешком, предназначенным не для него, но как бы для всех, и в том числе для него, Шаврову чудилось и нечто пренебрежительное; она словно подчеркивала свое превосходство — превосходство двадцатилетней, красивой, свободной, знающей цену и красоте своей, и свободе, над ним, затурканным командировочным, над его засунутым под подушку бумажником с удостоверениями, справками и тощей подотчетной суммой, над его залысинами, над вольной и невольной рассчитанностью всей его жизни далеко вперед, может быть до самого смертного часа... «А, ерунда»,— подумал Шавров, рассердившись уже сам на себя за то, что дает волю каким-то дурацким мыслям. Что для него эта дурочка, дочка маменькина? И, отвернувшись к стенке, натянул на голову тощее вагонное одеяло.

В Кремнев поезд пришел в шесть утра. Студентки еще спали. Собираясь, Шавров взглянул на спящую черненькую. Личико ее во сне было совсем детским и милым, маленький рот полуоткрыт. Он задержался на секунду, удивленный. Почему-то стало вдруг совестно за вчерашнее раздражение и неприязнь к ней. И что-то защемило в груди, неясное, тревожное: не то сочувствие (почему — сочувствие?), не то сожаление (о чем?). Поезд уже мягко тормозил у платформы, и в тамбуре лязгало железо: проводница готовилась открыть вагонную дверь...

Утро было холодное. Несмотря на ранний час, на вокзале — у касс, у буфетной стойки, над которой поднимался пар от «титана»,— уже толпились люди. Многие дремали на скамьях и по углам в ожидании своих поездов, окруженные сумками и корзинами: женщины в обнимку с детьми, деревенского вида мужички в кепках, несколько сол-

дат. На маленьких вокзалах маленьких городов, среди их кочевого люда, Шавров, ленинградский житель, всегда испытывал чувство, близкое к неловкости, словно был в чем-то незаслуженно благополучен.

Ему не приходилось прежде бывать в Кремневе; почти на всех заводах главка был, а здесь — ни разу. И он послушно шел за Валеркой. Уже по вокзальной площади было видно, что здесь город с химической промышленностью: скамейки в скверике и деревянный заборчик вокруг него были раскрашены так, как могут раскрасить только в таком городке, где чего-чего, а собственных красок хоть залейся,— каждая планка, каждый столбик в свой цвет — желтый, зеленый, красный, синий, белый. Все было невероятно аляповато, безвкусно, но почему-то весело. Валерка Литвинов, хоть и был здесь не в первый раз, не удержался, хохотнул:

— Вот размалевали, делать им нечего!

На автобусной остановке, к которой они вышли, уже стояла толпа. Пришлось поставить вещи и тоже ждать. Шавров осторожно, искоса рассматривал людей: это были рабочие с того самого завода, собиравшиеся на смену. Он прислушивался к разговорам, невольно ожидая услышать что-нибудь о взрыве. Но женщины говорили о продуктах, магазинах, рынке; мужчины молча покуривали. Подошел автобус, набитый битком, они с трудом влезли и ехали минут двадцать в страшной давке.

В заводской гостинице, занимавшей, как везде, один этаж общежития, дежурная записала в журнал их командировки и открыла номер. Номер был без удобств, но чистый, прибранный. Впечатление неожиданно портило одно из двух окон: стекла в нем были разбиты, часть треснула, но удержалась, а там, где вылетел большой кусок, стоял лист фанеры.

— Это сегодня сделают,— сказала дежурная.— Стекольщик днем придет.

Валерка плюхнулся на койку, потянулся, зевнул.

— Ну что делать будем? Поспим немного или пойдем доложимся?

Шавров пожал плечами. Его самого тянуло скорее попасть на завод, но раз уж он сегодня следует за Валеркой, значит, тому и решать.

— А с другой стороны,— рассудил Валерка,— только с утра кого-нибудь на месте застанешь.— Он хлопнул себя по коленкам и поднялся: — Черт с ним! Пошли покрутимся!..

Главный инженер Смирновский был крупный моложавый мужчина лет сорока пяти, с очень чистым розовым лицом и густой гривой красиво седеющих волос.

— Здравствуйте, Юрий Владимирович! Давненько у вас не был! — с порога объявил Валерка.

Смирновский поднял брови в приветливом недоумении.

— Из Ленинграда, Литвинов,— пояснил Валерка,— в комиссию по взрыву. Это со мной — Шавров Геннадий Семеныч.

— А-а,— заулыбался Смирновский,— высокая комиссия! Мандаты — на стол!

Он быстро черкнул что-то на их командировочных предписаниях.

— Ну, как у вас там погода в Ленинграде?

— Какая погода — холодно, дожди.

— Вот и у нас то же самое. Не лето в этом году.

Зазвонил телефон, Смирновский снял трубку и принялся отчитывать кого-то. В это время в кабинет вошли сразу трое и встали перед столом, потеснив в сторону Валерку и Шаврова, так что Смирновский, положив трубку, тут же заговорил с этими троими. Потом вошли еще люди, еще, и в результате Валерка и Шавров оказались окончательно позади. Валерка, у которого, видно, иссяк прилив энергии, махнув рукой, сел в кресло у стены. Шавров последовал его примеру. Они сидели долго, наблюдая за все новыми появлявшимися в кабинете людьми, поневоле слушая их разговоры, споры, жалобы. Смирновский вспомнил про них только через час, когда кабинет снова ненадолго опустел.

— Ну что, ребята? Чего скучаете? Идите отдыхайте с дороги, совещание только через два дня.

— А где можно материалы посмотреть? — спросил Шавров и тут же почувствовал, как Валерка дернул его за рукав.

— В отделе техники безопасности, где же еще,— усмехнулся Смирновский. — Приятель ваш знает. Если любопытно, можете пройти на территорию, к взорванному зданию. Там еще не убрали.

В кабинет снова кто-то вошел.

— Значит, выяснили уже, почему взорвалось? — быстро, пока его не перебили, спросил Шавров.

— Решено: утечка мономера. Сами об этом почитаете. Тут Булавин сидит из московского института, разработчик,— можете с ним поговорить.— И, обращаясь уже не столько к Шаврову, сколько к своему вошедшему сотруднику, Смирновский добавил: — Подсунули москвичи хво-

робу с этим акрилоном! В завод чужого главка влезли! Замминистра — их бывший директор, вот они, черти, что хотят, то и делают!

В отделе техники безопасности пожилая сотрудница положила перед ними две пухлые папки. Шавров ожидал, что придется пересмотреть много бумаг, но оказалось, о взрыве существует всего два документа, в каждой папке по одному: письмо главка, которое он уже знал, и распоряжение по заводу. Шавров несколько раз перечитал распоряжение:

> «...Смертельно травмированы работницы тт. Васильева и Камалова... Проверкой, проведенной компетентными органами с привлечением экспертов, установлено: инструктаж по технике безопасности в цехе проводился регулярно, росписи инструктируемых, в том числе тт. Васильевой и Камаловой, в журнале инструктажа наличествуют. Осмотры и планово-предупредительный ремонт оборудования производились в соответствии с утвержденным графиком. Системы аварийной сигнализации и автоматического пожаротушения были в исправности. Взрыв мог быть вызван непредвиденно возникшей утечкой и испарением мономера с образованием взрывчатой смеси его с воздухом. Непосредственной причиной следует считать собственную неосторожность тт. Васильевой и Камаловой, выразившуюся в нереагировании на возникшее отклонение от технологического режима... Начальнику и старшему механику цеха объявить выговор... Старшим механикам всех цехов в трехдневный срок произвести дополнительную проверку всех емкостей, трубопроводов горючих газов и легко воспламеняющихся жидкостей...»

Когда они вернулись в гостиницу, в свой номер, вместо разбитых стекол в окне стояли новые. Они только что пообедали, обоим хотелось спать. Шавров прилег отдохнуть и вдруг вспомнил, что еще не написал Любе. Она начнет волноваться. Надо будет пойти дать телеграмму: «Доехал благополучно». Хотя на самом деле все как раз не благополучно. Не то, конечно, как доехал, просто от всего прожитого дня осталось ощущение неблагополучия, непорядка. Шавров еще в армии был приучен к порядку, и именно непорядок сильнее, чем что-либо другое, мог вывести его

из равновесия. Он стал перебирать все события сегодняшнего дня, пытаясь понять, в чем же дело. Во-первых, непорядком было то, как их принял Смирновский. Слишком обыденно, как будто они в самую обыкновенную командировку к нему приехали. Во-вторых, это распоряжение, написанное явно в радости, оттого что по документам все оказалось в порядке и под суд никого не отдадут. Даже выговор начальнику цеха и механику — как вздох облегчения. За десять лет работы в НИИ Шавров научился читать документы: не только по строчкам, но и между ними. Между строк этого распоряжения кроме радости проглядывала какая-то заискивающая неуверенность («мог быть», «следует считать») и трусоватое отпихивание вины на погибших женщин. Все это не нравилось Шаврову, не нравилось...

Он задремал, но его почти сразу разбудил стук в дверь. Заглянула дежурная:

— Стекла вставили уже? Ну, хорошо! Я этого стекольщика пока допросилась!

— Кто вам их побил? — спросил проснувшийся Валерка.— Командировочные, наверное, по пьянке?

— Ой, что вы! Это когда здание взорвалося! И интересно побило так: в первом этаже — ничего, а во втором, в третьем — по два окошка. Мы уж так перепугались! — сказала она, улыбаясь.

Когда дежурная ушла, Шавров взглянул на часы. Было еще рано — около четырех, сейчас на работу должна была идти вторая смена.

— Валерка,— сказал он, поднимаясь,— пошли на завод!

— Чего это ты вдруг?

— Пошли, здание посмотрим.

— Что мы, завтра не успеем, что ли?

Шавров уже снял плащ с вешалки:

— Не хочешь, один пойду!

Валерка сел на койке и внимательно посмотрел на него:

— Заставили дурака богу молиться...

Завод был похож на все старые химические заводы: здания, домики цехов и мастерских в окружении деревьев и кустарника, трубопроводы на эстакадах, асфальтовые дорожки, решетчатые мачты громоотводов. Листья и трава сейчас, в середине лета, были блеклые, с оттенком желтизны: зелень сильнее, чем люди, чувствовала рассеянные в

воздухе пары органики и кислот. Сразу же за проходной на асфальтовой площадке пофыркивал мотором старенький автобус.

— До взорванного здания довезете? — спросил Шавров у пожилого шофера.

Шофер, хмуро покосившись в его сторону, кивнул. Он был чем-то недоволен.

В автобусе уже сидели десятка полтора работниц, ехавших на смену. В большинстве — пожилые, но были две или три молоденькие, которые сразу, с неприкрытым веселым любопытством начали глазеть на Валерку и Шаврова. Шавров заметил несколько татарских лиц и подумал, что эта Камалова тоже, наверное, была татаркой. И ехала она со своей напарницей на смену на этом самом автобусе, возможно, вместе с этими самыми женщинами.

— Поехали, что ли? — спросил шофер.

— Андреевны нету! Андреевну нашу подожди! — загалдели женщины.

Хмурый шофер подождал несколько секунд, потом, буркнув что-то, захлопнул дверцу и дал газ.

Они поехали по заводской дороге, похожей на аллею, мимо все тех же бесконечных цеховых зданий и домиков, то старых, из почернелого кирпича, то более новых, светлых, то щедро выкрашенных в самые неожиданные цвета — розовый, желтый, светло-синий; мимо полускрытых в чахлой зелени серебристых газгольдеров и колоннообразных баков. Возле одного дома притулился такой же старенький автобус.

— «Козел» стоит! — со смехом загалдели женщины.— У столовой! «Козел» — он всегда у столовой застрянет!

Наконец они остановились, и женщины, все так же шумно, со смехом, высыпали из автобуса. Хмурый шофер захлопнул за ними дверцу:

— Сороки проклятые! Чем им плох «козел»? Что возит их, толстозадых, тридцать лет? Тьфу, народ! Им все хорош не будешь!

Проехав еще немного, он остановил машину:

— Выходите. Слева тут.

В первую минуту Шавров ничего не понял: перед ним была какая-то груда обломков, как ему показалось, совсем небольшая, словно бульдозером сгребли со строительной площадки в одну кучу битые кирпичи и осколки бетона. Потом он сообразил: производство акрилона небольшое, и само здание было совсем небольшим. Это только гово-

рится по-заводскому — «здание», а на самом деле — мастерская, маленький домик, разделенный на три клетушки: в одной — реактор, в другой — пульт и лаборатория, в третьей — бытовка.

Шаврову никогда не приходилось взрывать здания, он взрывал только землю и камень, и сейчас он с жутковатым любопытством всматривался в обломки. Взрыв не разметал, а только развалил домик; раздробленные стены лежали глыбами сросшихся кирпичей; темные с наружной поверхности, кирпичи эти ярко краснели на изломах.

Шавров обошел вокруг развалин. В горле пересохло, хотелось курить, но курить на заводе было нельзя. Автобус с хмурым шофером уже уехал.

— Сильно рвануло,— сказал Валерка.

Шавров пожал плечами. По воронке в грунте он мог бы рассчитать мощность заряда, а здесь — черт его знает. Да и какая разница: сильно или нет, тем двоим хватило... Он вспомнил, как смеялись женщины в автобусе. Сколько же времени прошло с того дня? Три недели?

Вечер уже обозначился удлинившимися тенями.

— Пойдем,— сказал Валерка,— пешком до проходной полчаса топать.

— Подожди.

Что-то удерживало Шаврова у этих развалин. Он снова обошел вокруг, примерился и отвалил в сторону одну кирпичную глыбу, другую, оттащил смятый лист кровельного железа и кусок бетонной балки. Из-под обломков показалась погнутая, помятая труба и еще что-то, серебристо-блестящее, разорванное, торчащее во все стороны зазубренными лентообразными лепестками.

— Валерка, это что за труба? Растворителя или мономера?

— А черт ее знает!

— Но вот это, из нержавейки, реактор?

— Вроде реактор... Да что ты меня спрашиваешь?! Что я — больше тебя знаю?!

Плащ спереди был перепачкан розовой и белой пылью, полосами копоти. Шавров, спохватившись, начал отряхиваться.

— Ты как хочешь,— заявил Валерка,— а я пошел!

Пришлось идти за ним. Они возвращались пешком по той же заводской дороге, мимо тех же заводских зданий, трубопроводов, баков и колонн. Но что-то неуловимо, настораживающе изменилось вокруг. Только на середине пути Шавров догадался: в автобусе из-за шума мотора не были слышны обычные заводские звуки, а теперь они

окружали, сопровождали их: шипение пара или сжатого воздуха, гул моторов, звон металла. В другой раз Шавров не обратил бы на это внимания, но сейчас ему было не по себе, он невольно ускорял шаг, проходя мимо зданий, откуда доносился особенно резкий шум. И вдруг понял: он просто боится.

Это было так неожиданно, что он даже остановился и обругал себя. Это было нелепо. Он никогда не был трусом. Да он с такими вещами работал, против которых все эти мономеры-полимеры — детские игрушки! Но обращение к прошлому не успокоило. Мало ли, что было. Тогда он и сам был другим. Нервы... Нет, врешь, никаких нервов, не будь идиотом... И он двинулся дальше, заставляя себя замедлять шаг, все больше и больше отставая от поспешавшего впереди Валерки.

Валерка почему-то дулся на него. Это было обидно, и, кроме того, Шаврову необходимо было поговорить с ним. Впрочем, зная Валерку, можно было предположить, что долго он дуться не станет. Так и вышло. Время было ужинать, Шавров вызвался сходить в магазин, принес булку, сыр, бутылку местного крепленого вина.

Где-то наверху, в общежитии, на полную мощность гоняли магнитофон.

— Ансамбль этот...— сказал Валерка.— Шведский...

Он слегка захмелел и принялся подтрунивать над Шавровым, над его дурацкой бабьей чувствительностью, с которой не стоит и по улицам ходить: в Ленинграде теперь на каждом углу афишки ГАИ — сколько народу на этих самых улицах давят.

— Валерка! — сказал Шавров.— А ведь взрыв-то был в самом реакторе!

Валерка осоловело уставился на него:

— Иди ты! В нем же растворитель. Негорючий. Хлоруглерод.

— Если бы рвануло снаружи, его бы только помяло, там нержавейка видел какая толстая. А его разорвало, в лепестки. Когда я служил, нам старые снаряды показывали после неполной детонации. С такими же лепестками...

Валерка поморщился.

— Черт его знает... В общем-то это не наше с тобой дело.

— Не знаю, наше или не наше, а только раз я в комиссии, так я никаких документов с их объяснением взрыва подписывать не буду. Липа ведь!

— Ну, ты формалист известный...

Некоторое время они молчали. Валерка — озадаченно, Шавров — собираясь с мыслями. Что-то надо было делать, добраться поскорее до какой-то ясности.

— Валерка,— сказал он,— здесь Булавин сидит, от разработчиков. Может, пойдем к нему?

Круглое безбровое лицо Валерки покраснело, не то от вина, не то от напряжения.

— Знаешь что,— сказал он,— чего мы к нему вдвоем попремся? Ты сходи, поговори, потом вместе обсудим... Только, знаешь, Гена...

— Ну?

— Не петушись. Ты же парень спокойный, разумный. Тут и без тебя мудрые головы думают. Не петушись...

Булавин оказался ровесником Шаврова. Может быть, даже помоложе. Во всяком случае, так выглядел: высокий, подтянутый, прибранный. Лицо тонкое, спокойное. У себя в номере за книгой сидел в белой рубашке с галстуком и в отглаженных брюках. Шавров почему-то всегда робел перед такими. Ему сразу стало неловко за свой мятый тренировочный костюм. Потом он спохватился, что от него, должно быть, пахнет вином, и поэтому, когда Булавин предложил ему сесть, сел подальше, с другой стороны стола, и еще стул постарался назад отодвинуть.

Булавин выслушал его внимательно. И, когда Шавров закончил, не заговорил сразу, а вежливо помолчал еще немного, так что Шавров сам не выдержал и сказал:

— У меня, собственно, все.

— Ну, хорошо...— Булавин задумался, глядя куда-то мимо Шаврова. Потом спросил:— Вы специалист по технике безопасности?

— Я взрывником был шесть лет. Три года в армии, три — после.

Булавин чуть усмехнулся:

— Я спрашиваю: у себя в институте вы—кто?

— Ведущий инженер.

— И чем занимаетесь?

— Разным приходится. В основном — клеями.

— Клеями,— понимающе кивнул Булавин.— Ну, и чего же вы хотите?

Шавров растерялся.

— Разобраться... — сказал он.

— Хорошо, давайте разберемся.— Булавин встал, прошелся по комнате взад-вперед, остановился перед Шавро-

вым: — Акрилон — продукт малотоннажный, но ценный. Мы разработали оптимальный способ его производства, на который получены не только авторские свидетельства, но и патенты за границей. Понимаете?

Шавров кивнул и тут же рассердился на себя за этот дурацкий кивок: что это он как школьник, в самом деле.

— Теперь о том, с чем вы ко мне пришли. Думаете, мы до вас в этих обломках не копались? Еще как копались! И я вам скажу: помяло реактор, разорвало реактор — это детский разговор. Будем говорить о фактах. Несомненный факт номер один: был взрыв, погибли люди... Вы думаете, я не понимаю, что утечка мономера — первая попавшаяся причина, за которую ухватились потому, что она всех устраивает? Прекрасно понимаю: и это могло быть причиной, и что-то другое, и третье, и десятое... Теперь факт номер два: установка здесь, в Кремневе, проработала несколько лет без всяких казусов. Все документы в полном порядке, к ответственности привлекать некого и не за что. Какой вывод делается в таких ситуациях? Несчастный случай, понимаете... слу-чай — и, скорее всего, по вине самих работников. И решать по-другому глупо. Погибшим не поможешь, а живым — ненужные неприятности... Факт номер три: уже подготовлено решение нашего предстоящего совещания. И в решении записано: производство акрилона восстановить не по старому проекту, а по новому — в огороженном здании с дистанционным управлением. Это, разумеется, здорово затянет дело, но безопасность людей будет обеспечена раз и навсегда!

Булавин вернулся к своему столу, сел, вынул сигареты.

— Рафаэлянц Сергей Перович не в вашем институте работает? Мы с ним защищались вместе.

— Нет,— сказал Шавров,— я такого не знаю.

Спал Шавров плохо, как-то неглубоко, и утром поднялся с тяжелой головой. Он еще вечером пересказал Валерке все, что услышал от Булавина, но Валерка тогда отмолчался, а заговорил об этом только в столовке.

— Чего ты расстраиваешься, ей-богу? — сказал Валерка.— Ну, поставил он тебя на место, так в общем-то он и прав: не в свое дело не лезь, что надо — без тебя предусмотрели. Поедем лучше в город — на рынок, в универмаг,— все лучше, чем здесь болтаться.

— Ты поезжай, а я все-таки разобраться хочу, отчего на самом деле взорвалось. Два дня еще есть, покопаюсь в документах.

— Да на кой тебе это надо, Гена? Свое «я» хочешь показать?

Шавров ответил не сразу. Не хотел он показать свое «я», никогда не хотел, а сейчас меньше всего. Но как ему было объяснить Валерке то, что подталкивало его теперь, не давало успокоиться? Для этого надо было бы объяснить все: и то, что он прочитал между строк распоряжения, и то, о чем думал, глядя на лица тех женщин в заводском автобусе, и то, как трудно было дотрагиваться до обломков взорванного здания, и нелепый свой испуг из-за шумевших в цехе насосов.

Валерка ждал ответа, и, не отыскав нужных слов, Шавров повторил то, что, как ему казалось, понятнее звучало для Валерки, а может быть, и для него самого:

— Я разобраться хочу... Увижу, что действительно трубопровод с мономером потек и те две женщины сами виноваты,— слóва больше не скажу, подпишу то, что все... В технический архив пойдешь со мной?

Валерка отрицательно покачал головой:

— Я тебе уже говорил... Не петушись. Подумай: кто ты такой? Ведущий инженер. У себя на фирме ты — какая ни на есть фигура, тебя уважают. Ладно. А в масштабе главка? В масштабе министерства?.. Вот то-то... И раз так, самое тебе разумное — плевать на все. Не выхлопочешь ты ничего, кроме неприятностей... Понял ты меня?

— Понял,— ответил Шавров.

В техническом архиве он попросил комплект чертежей установки. Это оказалось ошибкой. Он надеялся найти какую-то подробную, но достаточно понятную общую схему, а в громадной, толстенной папке никаких схем не было, были десятки, сотни чертежных синек на отдельные устройства, узлы, детали. Он смог только убедиться, что тот разорванный сосуд из нержавеющей стали действительно реактор. Но этого было недостаточно.

В другом архиве ему дали отчеты московского института по разработке самой технологии. Это было уже существеннее. Но понимание и здесь давалось трудно; кажется, совсем недавно учился, а вот уже все позабыл — всю теорию, всю органику. Выходит, он ничего и не знает, кроме нескольких своих клеевых составов. Чтобы лучше разобраться, Шавров переписывал в блокнот расчеты реакций.

Архив помещался в заводоуправлении. Когда голова совсем чугунела, он выходил в коридор покурить. Один раз мимо прошел Булавин. Шаврову показалось, что на лице его промелькнуло удивление. Они поздоровались.

Рабочий день подходил к концу, когда Шавров убедил-

ся, что так и не может ни до чего докопаться. Он воспринял это уже с каким-то безразличием: нет так нет. В гостиницу идти не хотелось. Шавров побродил по городку, зашел в промтоварный магазин посмотреть что-нибудь для Любы и Светки, ничего не купил, поплелся дальше... Нет так нет. В конце концов, он пытался сделать то, что мог, и не его вина, если он, оказывается, может так мало. Значит, прав Валерка. Булавин, по естественной, житейской логике, тоже, наверное, прав, утверждая: иначе, чем есть,— нельзя. Ведь и женщины в заводском автобусе спустя всего три недели после взрыва, после страха своего и горя, болтали о другом и смеялись не от душевной черствости, а тоже потому, что иначе нельзя: им жить дальше, им дальше работать на заводе. Ведь он и сам, пусть не вдумываясь в это, всегда считал, что воспитан на подобной, не мудрствующей житейской логике, считал, что живет, подчиняясь ей. Так отчего же ему сейчас так тревожно и словно бы стыдно? Перед кем стыдно? Перед Валеркой, что ли, единственным свидетелем его попытки? Хотя, наверное, и перед Валеркой тоже...

Валерка лежал с журнальчиком. Едва Шавров вошел, журнальчик отбросил и поднялся. Видно было, что ждал его.

— Ну что?

— Не знаю...

Шавров сел на койку. Заснуть бы, подремать хоть немного. Что-то у него действительно нервы стали ни к черту... А ведь решение есть, не может его не быть, знать бы только, за что ухватиться... Ну хорошо, а если бы он и в самом деле задался целью показать свое «я» наперекор тому же Булавину, с чего бы он тогда начал? Наверное, с того, что разобрал бы их версию — мог в принципе быть взрыв от утечки мономера или нет? Мог или нет?..

— Валерка!—крикнул он.—Ты у нас специалист по ТБ! О взрывах газовоздушных смесей знаешь что-нибудь?

— Читал, конечно.

— Что нужно для взрыва такой смеси?

— Да она от любой искры взорвется.

— Это я и без тебя понимаю. Что еще-то нужно: температура воздуха, влажность—что?

— Ну, концентрация газа в воздухе должна быть определенной. Ниже какой-то минимальной концентрации не взорвется, и выше максимальной — тоже.

— Завтра утром пойдешь со мной,— сказал Шавров.

В технической библиотеке нашлись нужные справочники. Уже через час стало ясно: для того чтобы в одной только секции, где стоял реактор, накопилась опасная концентрация, мономера должно было бы вытекать столько, что процесс в самом реакторе прекратился бы задолго до взрыва. И еще раньше о такой сильной утечке просигналили бы приборы-расходомеры. Аппаратчицы не смогли бы не заметить всего этого, не забить тревогу.

— Ясно,— сказал Шавров. — Ну, спасибо за помощь, теперь уходи.

Валерка, поднимаясь, взглянул на него с недоумением.

— Уходи, уходи,— повторил Шавров,— я дальше сам.

Он прогнал Валерку, это было несправедливо, но ему хотелось остаться одному. Только теперь он понял, что в душе все время немного надеялся: объяснение взрыва, против которого он выступил, на самом деле подтвердится, во всяком случае, не будет опровергнуто... Вот как. Значит, все-таки надеялся.

Он поднялся и зашагал между стеллажами, подхваченный приливом какой-то злой собранности.

Что же все-таки могло взорваться? Что?! Не попадал он еще, оказывается, в своей жизни в серьезные переделки. Бог миловал: не было никаких непредвиденных взрывов, а к тем мелочам, которые не укладывались в его понимание разумного порядка, всегда можно было отнестись именно как к мелочам... В реактор идут: мономер, растворитель, инициатор полимеризации. Растворитель — негорючий, такими жидкостями пожары тушат, и, значит, никакого взрыва в реакторе быть не может. Не может. А там — эта груда обломков на траве, словно из другого мира. Думай, думай, бестолочь, раз ввязался в такую историю! Привык много брать на себя, всю жизнь спешил и суетился, а разве оттого, что необходимость свою так уж чувствовал? Просто боялся, что кто-то другой окажется не таким старательным.

Думай! Инициатор — перекисный, органические перекиси сильно взрывчаты... Нет, чепуха: инициатора идут капли; если бы весь бачок с ним и рвануло, дело обошлось бы выбитыми стеклами и взрыв-то все равно был бы не в реакторе, а снаружи... Зря отпустил Валерку... Думай! И все-таки органическая перекись — это единственное, что реально могло взорваться...

К Смирновскому он пошел в самом конце рабочего дня. Перед этим потерял много времени — старался подкрепить

свою догадку расчетами, но в конце концов махнул рукой: одному все равно не рассчитать, а главное, кажется, и так ясно. И тут уже он заторопился, боясь, что опоздает, не застанет Смирновского; даже забежать в гостиницу посоветоваться с Валеркой было некогда...

Его остановила секретарша:

— Там начальник ОТК.

Он кивнул ей и быстро прошел в кабинет. Смирновский беседовал с пожилым мужчиной. Оба повернулись к Шаврову. Смирновский поднял брови в приветливом недоумении.

— Я по делу о взрыве,— сказал Шавров,— мне срочно нужно с вами поговорить.

Брови Смирновского опустились.

— Подождите, пока мы закончим. Если хотите, в приемной.

— Ничего,— сказал Шавров,— я и здесь могу посидеть.

Но он не сел сразу, а сначала вышел и предупредил секретаршу, чтобы она никого больше в кабинет не впускала. Потом он и сам удивлялся тому, что проделывал.

— Слушаю вас,— сказал Смирновский, когда они остались вдвоем.

Шавров положил перед ним пачку листков со своими записями.

— Я установил, что причиной взрыва не могла быть утечка мономера. Взрыв был в самом реакторе...

Он начал говорить быстро, сбивчиво, но Смирновский слушал его с таким спокойным, сосредоточенным лицом, время от времени чуть хмурясь в знак усиленного внимания, что Шавров поневоле заговорил медленнее, медленнее, постепенно остывая и даже немного стыдясь своей первоначальной горячности.

Смирновский взял листки и начал просматривать цифры: расчет концентрации газовоздушной смеси, данные из справочников. Шавров замолчал. В кабинете стало так тихо, что отчетливо слышалось незаметное жужжание ламп дневного света под потолком. Не отрывая взгляд от листков, Смирновский протянул руку в сторону и выключил верхний свет. В зашторенном кабинете стало полутемно, ярко был освещен только письменный стол.

— Ну хорошо,— сказал наконец Смирновский,— что же тогда, по-вашему, могло взорваться?

— Все это, конечно, очень тонкая химия, это нужно еще исследовать специалистам...

— Я спрашиваю: что — по-вашему?

— Самая вероятная причина: в результате побочной реакции в аппарате образуется не только полимер, но и перекись мономера. Взрывчатая. Реакция обратима, и обычно перекись тут же разлагается, но при каких-то условиях она начинает накапливаться...

— Значит, это самая вероятная причина? — переспросил Смирновский с ударением на слове «вероятная». Он забрал у Шаврова сразу все оставшиеся листки и несколько минут просматривал их.— Что ж, может быть... А почему вы пришли с этим именно ко мне?

Шавров растерялся:

— Я хочу, чтобы в решении совещания была записана настоящая причина взрыва.

— Настоящая? Очень хорошо. Допустим, мы это запишем. А вы представляете, что будет, если мы запишем в решении то, с чем вы ко мне пришли? Какой хвост это за собой потянет?.. Может быть, вас уполномочило ваше руководство на такое решение? — Смирновский подался ближе к столу, в круг яркого света, и с любопытством глядел на Шаврова. Из-за резких теней, особенно в глазных впадинах, его гладкое моложавое лицо казалось в этом освещении заострившимся, постаревшим.— Нет? Не уполномочило? Значит, вы просто как заезжий витязь: прискакали на лошадке, одним махом разобрались, нас, бедных, просветили, задачу всем поставили и скок-поскок дальше? Любопы-ытно! — Смирновский неожиданно рассмеялся, но тут же оборвал смех.— Ну хорошо, раз вы настаиваете, то, как председатель комиссии члену комиссии, я вам должен сказать: предположения ваши о причине взрыва любопытны, но ничего вы толком не установили и ничего до конца не доказали. Вы же сами признаете, что в этой области не специалист.

Шавров молчал.

— Мне интересно узнать,— сказал Смирновский,— чего же вы все-таки хотите? Что вас, как бы это выразиться... побуждает?

— Люди погибли,— сказал Шавров. Он произнес эти слова и сам удивился, как неуверенно прозвучали они сейчас, здесь, в тихом, уютно освещенном кабинете. А в самом деле, было ли это?

Смирновский нахмурился.

— Вы что же, меня в душевной черствости хотите упрекнуть? Не стоит такими обвинениями бросаться. То, что люди погибли,— печально, но все, что полагается сделать в таком случае, сделано... Одна из них была одинокая, а у второй семья — и пособие будет получать, и квар-

тиру выделим вне очереди... Что же еще прикажете? Всему заводу дела кинуть и сидеть слезы лить?.. Послушайте, сколько вам лет?

— Тридцать шесть.

Губы Смирновского искривились на мгновение в странно-печальной усмешке. Но в следующую секунду он улыбнулся уже вполне добродушно и, поудобнее откинувшись на спинку стула, в полутемноту, заговорил:

— Вот что я вам скажу, глубокоуважаемый член комиссии. Решение завтрашнего совещания подготовлено, отпечатано, менять в нем никто ничего не станет. А вам могу посоветовать: когда будете подписывать, сделайте приписочку — «с особым мнением». И прямо тут же,— внизу или сбоку, где место окажется,— кратенько изложите свои соображения. Решение пойдет в главк, в министерство, пусть там наверху почитают ваши выводы. Ну и — что будет, то будет... Думаете, мне этот акрилон хоть с какого-то бока нужен? Пропади он пропадом! Прикажут мне его делать — буду делать, снимут с плана — свечку поставлю! — Смирновский взглянул на часы.— Идите отдыхать. Совещание завтра в девять, здесь, у меня в кабинете... Листочки свои возьмите!

— Пойми ты, дурень,— сказал Валерка,— они тебе правильно втолковывают: есть реальность, и есть условность.

— Мне так никто не говорил.

— Ну, я разъясняю. То, что комиссию созывают, нас с тобой сюда прислали, заседать будут, решение принимать — это условность, обряд, ритуал. Понимаешь? И без того ясно, что надо делать: восстанавливать производство, только в более безопасном виде. И без того бы это сделали. А теперь давай разберемся по трезвости: чего ради ты дергаешься? Принцип тебя заел? А что он такое, твой принцип? Условность в чистом виде, только твоя собственная! И не лезь в драку с одной условностью ради другой. Смысла-то, смысла нет!

Шавров молчал. Наверху, в общежитии, снова гоняли магнитофон. За стенкой, в холле, был включен телевизор, слышались позывные программы «Время».

— Что завтра делать-то будешь? — спросил Валерка.— На совещании?

— А ты—что?

— На тебя посмотрю.

— Смотри...

За длинным «заседательским» столом, протянувшимся вдоль стены в кабинете Смирновского, разместились девять человек. Перебирая какие-то бумаги, сидел Булавин, рядом с ним — молодая строгая женщина в очках, как видно, сотрудница из его института. Сидели две женщины из заводского отдела ТБ, на столе перед ними — Шавров видел — лежало то самое распоряжение, где «подписи наличествуют...». Сидели поодиночке, молча, еще двое мужчин и женщина,— наверное, представители с разных заводов; перед ними были чистые листки бумаги. Сидели и Шавров с Валеркой.

Смирновский, не обращая внимания на собравшихся, что-то сосредоточенно писал за своим рабочим столом. Ровно в девять он поднялся, наклонился к переговорному устройству и, нажав кнопку, бросил в микрофон: «Таня! Ко мне — никого! Совещание!»

— Расчеты где твои? — тихо спросил Валерка.

Шавров отмахнулся. Пачка смятых листков с расчетами лежала у него в загашнике пиджака. Он хотел переписать основные доказательства набело, но вчера вечером был слишком усталым, а сегодня с утра — не успел. Вернее, может быть, и успел бы, если бы было настроение...

— Ну что же, товарищи,— начал Смирновский,— собрались мы здесь из-за чрезвычайного, можно даже сказать, трагического происшествия...

Он стоял — высокий, массивный,— сцепив руки за спиной; чуть хмурясь, смотрел куда-то поверх голов слушавших его людей и говорил медленно, негромко, твердо:

— Вы знаете, какое внимание уделяется у нас вопросам техники безопасности. Уровень производственного травматизма у нас ниже, чем на аналогичных производствах в западных странах, и продолжает неуклонно снижаться. Тем более нетерпимыми являются отдельные случаи, вроде того, который имел место на нашем заводе...

«Зачем он все это говорит?» — удивился Шавров. Ему даже показалось почему-то, что Смирновский говорит это для него.

— Проверкой установлено, что наиболее вероятная причина взрыва...

Валерка засопел и покосился на Шаврова. Булавин что-то записывал в блокнот.

— В проекте решения совещания рекомендуется произвести на всех заводах нашего главного управления...

Шавров слушал и не слушал, занятый своими мыслями. Сейчас, когда Смирновский закончит, надо будет встать и взять слово. Только бы не перебивали...

Он почувствовал чей-то взгляд. Молодая женщина, сотрудница Булавина, сквозь стекла изящных очков внимательно смотрела на него. Когда их взгляды встретились, она с равнодушным видом отвела глаза. «Знает от Булавина о нашем разговоре,— подумал Шавров,— и тоже любопытно ей. Черт бы вас всех побрал...»

— ...а также провести среди предприятий отрасли смотр-конкурс на лучшую организацию мероприятий по технике безопасности.

Смирновский замолчал. Несколько секунд в кабинете стояла тишина.

— Кто-нибудь хочет выступить? — спросил Смирновский.

Валерка на этот раз не обернулся, однако Шавров почувствовал, как он напрягся, и понял: ждет. Вставать не хотелось, но этого уже нельзя было не сделать. Это необходимо было сделать. Хотя бы для того, чтобы все скорее кончилось. Он начал подниматься, замешкался на секунду, спохватившись, что листки с расчетами так и лежат во внутреннем кармане, еще секунду промешкал, вытаскивая и разворачивая листки...

— Да, вот еще что,— неожиданно сказал Смирновский,— возможно, это стоит обсудить: есть предположение, что взрыв произошел в самом реакторе... Пожалуйста, Геннадий Семенович!

Шавров поспешно поднялся.

В голосе Смирновского ему почудилась усмешка («Робеешь, приходится тебя вытаскивать...»). Это было несправедливо, обидно, и неожиданная поддержка не вызывала благодарности, скорее настораживала.

— Пожалуйста, Геннадий Семенович,— повторил Смирновский (запомнил его имя и отчество с того раза, когда они впервые пришли к нему с Валеркой).

Шавров начал говорить, глядя в свои листки. Он не смотрел вокруг, но почувствовал, как на мгновение застыли, а потом снова оживились, расслабились сидевшие за столом, и понял, что говорит слишком быстро, невнятно, неубедительно. Перевел дыхание, заговорил медленнее и громче: утечка мономера не могла создать взрывоопасную концентрацию! Цифры, цифры... Он снова завладел общим вниманием, но это не было победой: по самому молчанию слушавших его людей он чувствовал, что говорит все равно плохо, не так, как надо, потому что не может найти слова, которые бы выразили главное, мучившее его, заключавшееся в том, что дело не в цифрах, во всяком случае — не в одних цифрах, черт побери!.. Но без цифр вы-

ступать здесь было нельзя, и когда он заговорил о своем объяснении взрыва, не подкрепленном твердыми расчетами, то сразу почувствовал,— еще прежде, чем пробежал за столом первый шепоток,— как дрогнуло и ослабло внимание к его словам. Он замолчал, выдохшийся.

— Спасибо,— поблагодарил Смирновский.

— Садись! — шепнул Валерка.

Но Шавров, напряженно ожидавший того, что должно было сейчас произойти, вызванное его словами, так и остался стоять.

Смирновский истолковал это по-своему:

— Вопросы есть к Геннадию Семенычу?

И снова в тоне его голоса Шаврова кольнула едва уловимая усмешка. «Игра это для него, что ли?» — раздраженно подумал Шавров, хотя и понимал — за поддержку Смирновского сейчас надо цепляться, на нее вся надежда. Он успел ощутить особенную напряженность тишины, повисшей в кабинете, и обрадоваться этому...

То, что произошло потом, произошло как-то помимо него, очень буднично, а главное — так быстро, что он лишь с запозданием ухватил суть.

— Юрий Владимирович! — не вставая, обратился к Смирновскому Булавин.— Ну к чему все это, ей-богу? Что здесь происходит? Виноватых ищут? Хотят доказать, что процесс у нас не отработан до конца? Отработан. И мы вам заявляем: если все сырье, все реагенты чистые, по техническим условиям, то никаких побочных реакций быть не может, никакой перекиси.

— Логично,— спокойно и даже одобрительно, как арбитр, отмечающий удачный ход, сказал Смирновский.

— Когда была та проверка, сразу после взрыва, поднимали ведь паспорта на сырье, поднимали результаты анализов, все в порядке было. Так в чем же дело теперь? Мы-то этим документам верим, в работе ваших заводских служб не сомневаемся.

— Ну разумеется, разумеется,— быстро сказал Смирновский. Он помолчал секунду, потом спросил: — Есть у кого-нибудь еще вопросы?

Булавин придвинул к себе свой блокнот и стал листать его.

— Нет вопросов... Тогда садитесь, Геннадий Семенович.— И, видя, что Шавров продолжает стоять, Смирновский вежливо, однако уже с прорывающимися нотками раздражения, повторил: — Садитесь, пожалуйста!

Валерка дернул Шаврова за полу пиджака.

...Совещание длилось еще часа полтора. Выступали представители других заводов, говорили что-то об обмене опытом, о каких-то единых инструкциях. Говорили оживленно, и чем дальше, тем все более оживленно, как будто, вынужденно отвлекшись от своего главного дела, получили наконец возможность вернуться к нему и спешили наверстать упущенное.

Шавров решил было подняться снова. Начал даже готовить какие-то слова — резкие, весомые, чтобы сразу привлечь внимание, начал выбирать момент. Но разговор за столом шел плотно — не вклиниться, и разговор этот так стремительно уносило все дальше и дальше от взорванного здания, от всех его забот и боли последних дней, что Шавров отброшенно сник и, не желая больше сидеть и слушать, все-таки сидел и слушал...

Около одиннадцати Смирновский взглянул на часы и мягким движением руки остановил говоривших:

— К сожалению, время, товарищи!

Он вынул из папки решение совещания — несколько машинописных листков, прижал ладонью последний лист, размашисто расписался, собрал листки и перебросил Булавину.

Вот и Булавин подписал и в свою очередь передал дальше. Полный злого спокойствия, Шавров ждал, когда решение обойдет всех. Им с Валеркой выходило подписывать последними.

Когда листки пришли к нему, за столом уже громко разговаривали, мужчины нетерпеливо доставали папиросы. Не торопясь, не обращая внимания на шум, он прочитал решение от первой строчки до последней, хотя сразу было ясно, что оно слово в слово повторяет выступление Смирновского. На последней странице, где подписи, было напечатано: «От ленинградского института...», но ни его, ни Валеркиной фамилии не было; очевидно, когда готовили решение, еще не знали, кто приедет. Шавров приписал: «с особым мнением». Внизу на странице было свободное место, и он начал излагать это особое мнение. Места было немного, приходилось тщательно обдумывать слова, чтобы изложить хотя бы самое основное. Он написал, что, прежде чем восстанавливать производство акрилона, необходимо заново исследовать, достаточно ли безопасен сам способ, а также проверить, как ведется на Кремневском химзаводе контроль сырья и материалов перед запуском в производство.

Закончив, он посмотрел на Смирновского и Булавина. Те как будто не обращали на него внимания. Не было ни

удовлетворенности, ни просто чувства облегчения оттого, что все наконец кончилось. Было тоскливо и почему-то стыдно, словно какую-то гадость сделал.

Валерка взял решение, прочитал его приписку, секунду подумал, поставил свою подпись внизу страницы рядом с подписью Шаврова, ни к кому не обращаясь, негромко, но так, что Шавров отчетливо расслышал, сказал: «Дурак!» — и отбросил решение к Смирновскому.

В Кремневе было два ресторана: один на вокзале, другой — «Центральный» — на главной площади. Они с Валеркой сидели в «Центральном». Как-то неожиданно решили уехать не сегодня в вечер, а завтра, утренним поездом; сегодня же — гори все огнем!

Зал был полон той публики, которая всегда собирается по вечерам в ресторанах провинциальных городков. Сидели, тяжело хмелея и все еще споря о каких-то наболевших за день делах, командировочные; веселилась компания мужчин и женщин среднего возраста, наверняка сослуживцев с местного предприятия; сидели, хорохорясь, длинноволосые мальчишки в ярких рубашках и девочки, вчерашние школьницы, с перепачканными косметикой нежными личиками, с ошалелым жадноватым блеском в детских еще глазах; супружеские пары, шумные молодцы южного вида, черноглазые, смуглые и золотозубые, несколько офицеров. Оркестр — четыре помятых музыканта и певец,— оглушая зал, грянул «Мясоедовскую»:

Улица, улица, улица родная,
Мясоедовская улица моя-а-а!..

Несколько парочек уже отплясывали перед ревущим певцом.

Шаврова пронзила вдруг отчаянная тоска оттого, что они тут зря сидят, зря теряют время. Он впервые физически ощутил это «зря»: зря работает сердце, зря кровь пульсирует в сосудах, легкие зря вытягивают из угарного табачного воздуха кислород, и клеточки какие-то с каждой секундой изнашиваются, отмирают — зря. Он сказал об этом Валерке.

— Гена!— крикнул Валерка.— Иди ты на хрен! Надоел с твоим нытьем! Что тебе, умнее чего-нибудь хочется? Не сидел бы ты, не пил здесь, так пил бы в гостинице! Ну не пил бы — читал, письма своей Любке писал, отчет бы по работе писал — отче-от! Это что было бы, не зря?! Кончай скулить! Пей вот и молчи в тряпочку!.. Нет, честное слово, первый-последний раз я с тобой поехал!

Я согласен на обмен,
Но прошу учесть момент:
Только вместе с улицей мое-е-ей!..

Удары аккордов и рев певца, усиленные динамиками, канонадой били в уши, грохотали каблуки, и за соседним столиком осоловелый парень с бычьей шеей одобрительно качал головой в такт.

Им удалось взять билеты в купейный вагон. Соседом в купе оказался старик москвич, возвращавшийся из санатория. Старик был живой, словоохотливый. Прихлебывая чай, балагурил: «В отпуск едешь — ресторан налево, из отпуска едешь — кипяток направо». Любопытствовал:

— А что, молодые люди, у вас в Ленинграде можно на работе участочек получить для садоводства?

— Мы не интересовались.

— Ну как же? — недоумевал старик.— Надо интересоваться! К пенсии надо иметь участочек — садоводство, дачу. И машину. Обязательно!

— С наших заработков машину не купишь.

— Чепуха! — горячился старик.— Надо копить! Надо цель себе поставить.

Валерку старик забавлял, он болтал с ним, хохотал над его поучениями. Шавров то и дело выходил в тамбур курить, ему хотелось побыть одному. Поезд несся, раскачиваясь; дым от его папиросы странными толчками, в такт содроганиям вагона, вытягивался в окно. Может быть, он никогда больше не увидит ни города этого, ни завода, ни одного из этих людей. Перебирая в памяти случившееся, он запоздало ругал себя: делал все бестолково, говорил еще бестолковее... Продолжалось то, что началось с ним там, в Кремневе, в заводской библиотеке. Он словно сводил счеты сам с собой, но теперь на смену возбуждению и злости на себя пришло иное. Трезво, даже отрешенно, словно чужую жизнь, вспоминал он свое прошлое, и ему казалось, что он уже давно, но только неосознанно испытывает это недовольство собой, что и порой находившее на него странное сожаление об армейской службе, и даже его нервность и нудная мелочность в работе — то, что ему, возможно, прощали другие, но чего он сам не любил в себе,— все это от того же, от спрятанного в душе смутного беспокойства: надо жить по-другому. Но как по-другому?.. Он смотрел в окно вагона и вспоминал, как четырнадцать лет назад они, демобилизованные солдаты, таким же летним днем ехали домой, смеялись, дурачились, орали песни на весь вагон; как они, двадцатидвухлетние мальчишки мирного времени, казались сами себе взрослыми мужчи-

нами, познавшими все на свете. Наверное, он и до сих пор жил все еще не по-взрослому, как-то несамостоятельно, и то, что случилось с ним сейчас, должно было случиться намного раньше. Не взрыв, конечно,— избави бог,— но эта тревога, это принятие чужой боли и осознание пусть не силы своей, но необходимости — иной, более важной, чем обыденная необходимость в роли мелкого начальника на службе, мужа и отца в семье. Он даже подумал, что тогда, быть может, не случилось бы и этого взрыва. И сразу спохватился: черт знает, до чего додумаешься в таком состоянии!..

Ему показалось, будто за время его отсутствия на институтской территории что-то переменилось, и он не удивился этому...

Людмила бухнула перед ним на стол пачку бумаг:

— Меня тут на части рвут. Дня без тебя прожить не могут. Можно подумать, на одном Шаврове все предприятие держится. Разбирайся!

— Подожди! — сказал Шавров. — Подожди ты, ради бога. Ты знаешь, что там было, в Кремневе?

— Ну? — спросила она. — Ну говори.

— Ладно. В другой раз как-нибудь.

Он потянул к себе бумаги. Перебирал их, привычно оценивая, что сумеет сделать сегодня, что останется на завтра и пойдет обрастать, как снежный ком. Еще час назад ему казалось, что взрыв в Кремневе, как гранью, разделил его жизнь на две части — прежнюю и настоящую. Но только теперь, за своим рабочим столом, он стал догадываться о том, насколько это непрочная, зыбкая грань.

Дома Люба спросила: «Теперь-то уж, надеюсь, долго никуда не поедешь?» Он неожиданно для себя сорвался, крикнул: «Откуда я знаю! Отстань!..» Весь вечер Люба дулась, и ему самому неловко было: впервые за всю их семейную жизнь накричал на нее.

Со следующих дней его уже вовсю закрутило в привычной круговерти: лаборатория, цех, задания, графики, акты, программы. Утром по дороге на работу, в спешке, в толкучке метро и автобуса, сосредоточиться на своих мыслях было невозможно, в суете рабочего дня — некогда; потом приходила отупляющая усталость. И все же, шагая вечером домой, он снова вспоминал Кремнев и не знал, как же ему теперь быть. Там ему казалось, что он обрел какое-то новое понимание, а теперь выходило, что понимание это бесполезно для будничной, реальной жизни, он сам не

знает, что с ним делать. Может быть, на самом деле он и не понял ничего, и не повзрослением все это было, а напротив — смутными мальчишескими мечтаниями, наивными для его возраста?..

Он пошел к Фомину.

— Ну и правильно сделал! — сказал Фомин, выслушав его. — Правильно написал, так им и надо! Чего ты беспокоишься? Акрилон — московская разработка, нам за него не отвечать. Знаешь, я тебе скажу: если и прикроют этот акрилон совсем, тоже беды большой не будет, обойдется промышленность, теперь всяких материалов полно. Может, боишься, что они тебя снова потянут разбираться из-за твоей резолюции? Не бойся, в обиду не дадим! Занимайся спокойно своим делом. Тебе, кстати, в этом квартале сроки по договорам переносить не надо?..

Однажды на работе ему позвонил Валерка Литвинов и попросил зайти. Они после возвращения встречались в институте — на ходу или в курилке,— случалось, и разговаривали, но только не о том, что было в Кремневе.

На столе у Литвинова лежал только что полученный приказ по главку и приложение к нему—отснятое на «Эре» решение их комиссии. Шавров пробежал глазами приказ, где говорилось и об установке с дистанционным управлением, и о смотре-конкурсе. Валерка сидел, глядя в сторону, словно стеснялся. На последнем листке Шавров нашел свое «особое мнение». Его было еле видно, буквы — словно стершиеся. Шавров понял: плохо отснялось оттого, что он писал не черной шариковой ручкой, а синей.

— Что скажешь? — спросил Валерка.

Шавров не ответил. Он и раньше понимал, что дело скорее всего закончится чем-нибудь в этом роде, тихо, беззвучно, но это и казалось обиднее всего. Пусть бы уж снова вызвали, пусть хоть скандал... Мелькнула даже сумасбродная мысль: еще и теперь можно что-то сделать — написать, поехать,— но тут же и погасла. От чьего имени будет он выступать, от своего собственного? Кто ему подпишет такую командировку? Да и поздно. В Кремневе уже очистили, наверное, площадку от обломков здания, все, кто имел отношение к взрыву, заняты другими делами, и только он, дурак, не родственник и не знакомый тем двум погибшим, мается еще своей нелепой дурью... Да, этот взрыв теперь действительно был в прошлом, и думать следовало уже о том, что будет дальше, в обычной жизни без взрывов.

Шавров всматривался в еле различимые буквы «особого мнения», с трудом узнавая собственный почерк.



КАЛЬЯН

По ночам бабушка сильно кашляла. Спали мы вместе в одной комнате. При свете керосиновой лампы, сидя на пестром ватном одеяле, я часто видел, как она заходилась от кашля, беспрерывно мотая головой, и в конце концов превращалась в бездыханный синий клубок. Я приносил ей воду в алюминиевой кружке, зачерпнув из ведра, стучал ладонью по спине — это, конечно, не помогало. Было одно средство — кальян, но я его не подавал, пока не протягивались, шаря, ее дрожащие руки. Только припав к кальяну, вдохнув целебный дым, она успокаивалась.

Курила бабушка с первых лет замужества. По ее рассказам я представлял молодух, сидящих кругом и из рук в руки передающих медный гравированный кальян с длинной трубкой. Они брали его руками в браслетах, баловались дымом, перебрасывались прибаутками, хохотали — словом, веселились.

В то время бабушка жила в отдаленной крепости. Внизу, под бой барабанов, отбивали шаг воины, громыхая щитами и штыками. Казалось, их строю не будет конца, шли и шли, серьезно, торжественно.

— Куда вы, воины? — спрашивали их.

— С германом сражаться!

В такое далекое время жила бабушка, еще в первую мировую!

В крепость ее увезли еще маленькой девочкой родители. На большом судне вниз по течению реки. Судно ждало их, слегка качаясь и тычась носом в ночной берег. Поспешно, бесшумно погрузились. Судно вместило семьи обоих братьев с пожитками и животными. Отчалили, и слабый ветерок спокойствия остудил братьев — они покидали родной дом, спасаясь от кровопролития.

Бабушкин дядя перелез через высокий дувал к чужой

жене. Их застали. Дяде удалось бежать. Но мщение ждало его, опасность угрожала и его близким мужского пола. С годами на сердце его легла тяжесть. И он добровольно ушел с теми, кто проходил, громыхая, под крепостью.

Бабушке удалось вернуться на родину уже с собственной семьей в советское время. Тогда при переселении и исчез медный кальян. Теперь она курила особую тыкву в форме восьмерки, отполированную руками до медного блеска. Тыкву наполовину заполняли водой. Время от времени воду меняли. На верхушке сосуда восседала чугунная головка, где тлел табак, пуская в балки потолка клубы дыма. В груди у тыквы имелись две дырки. В одну вдевался чубук. Другую во время курения то закрывали, то открывали пальцем. И казалось, что бабушка играет на инструменте странной формы.

Однажды, когда дома никого не было, я решил поиграть на этом заманчивом инструменте. Вместо бабушки наказал меня кальян. Видимо, я не так воспользовался дырочкой: горькая, вонючая жидкость заполнила мне рот. С тех пор я исполнился брезгливостью к духовым инструментам.

Дым, проходя через воду, фильтровался, а вода в тыкве булькала — до чего же неприятен был этот звук!

Табак, похожий на темную капусту, рос у нас прямо во дворе. Высушенные и аккуратно нарезанные листики запихивали в кисет. От красивого мешочка с вышивкой, цвет которого нелегко было различить из-за пропитанности его табачной пылью, так пахло, что я чихал, даже когда приближал к носу пальцы.

Сколько раз пыталась бабушка бросить курить: то велела мне прятать кальян, то высыпать табак в помойную яму, то еще что-то — и все напрасно. После кратковременных перерывов она снова возвращалась к кальяну. Я уже не верил, что она бросит курить.

Как-то бабушка сидела во дворе на суфе и пряла шерсть весенней стрижки. Я рядом играл в альчики. Солнце уже сидело за дувалом, дневная жара спала, но бабушка, обычно курившая перед каждым намазом, с утра еще не брала в руки тыкву.

Внезапно она закашлялась: пыль с остропахнущей шерсти попала в горло. Когда приступ прошел, она, не прекращая крутить прялку, сказала:

— Верблюжонок, разбей эту тыкву-дьявола. Самой никогда не решиться.

Я не удивился, не переспросил: я тотчас с радостью побежал к нише в стене, где та стояла. Это было интерес-

но, это было событие. Я не стал проявлять нерешительности, вроде бы разумной, которую обычно проявляли взрослые перед событием, заманчивым для детей. Взяв мучителя за узкое горло, ликуя перед расправой, я встал перед большим камнем у суфы:

— Бабушка, а как разбить? Может, топором...

— А тебе как хочется?

— Лучше о камень!

— Хорошо.

Я посчитал: раз, два, три — и, со всего размаха бросив, закричал: «Ура!» Тыква разлетелась, желтая, как желчь, пропитанная никотином вода растеклась по камню, распространив прогорклый запах.

— Спасибо, джаным, избавил бабушку.

Я быстро взглянул на нее, мне хотелось видеть ее реакцию. Но она так же крутила прялку, словно ничего и не случилось. А мне хотелось встретить в ее глазах сожаление.

Я далеко швырнул бамбуковое горло кальяна, которое еще держал в руке.

Так она бросила курить и кашлять стала все реже. Но отвязаться от дурных привычек, наверное, было нелегко. Теперь бабушка «курила» нас — тоже табак, точнее, смесь из табака и извести, замешанную на хлопковом масле. У нее появилась другая тыква, маленькая, с гусиное яйцо, тоже отполированная до румяного блеска. Оттуда бабушка вытряхивала щепотку наса, клала под язык и через считанные минуты выплевывала.

— Нас хороший, но вредный,— утверждала она.

И я решил украдкой проверить это.

Нас обжег мне железы под языком и сразу ударил в голову. Мне показалось, что я лечу с развернутыми крыльями. Земля под ногами кренилась, голова кружилась, трещала от боли, тошнило. Кончилось тем, что я упал под мост, на котором попробовал эту гадость, и полдня пролежал у воды без сознания...

Бабушка потом часто вспоминала о моей «отваге». Не о той, разумеется, что «накурился» насом — об этом она так и не узнала... Но когда мы бывали в гостях или гости у нас, если речь заходила о курении, бабушка, держа в руках свою маленькую тыкву, непременно рассказывала о том, как я ее спас от кальяна. Женщины восхищались мной, угощая сластями. А я никак не мог понять: как можно называть это спасением, когда она одно зло заменила другим.

За порогом вовсю хлестал дождь, вздувая пузыри. Я восхищался схожестью пузырей с нашим домиком и старался обратить на это внимание бабушки, которая возилась вокруг тлеющего очага:

— Бабушка, смотри, дождь делает домики!

Но ей, занятой промокшим хворостом, было не до моего сравнения. Так просто, из вежливости, кивала:

— Да, да, похоже.

Весной мы оставляли зимние дома и переселялись вместе с животными за городок, где было вдоволь воздуха и зелени. По длине всего арыка, куда осыпали цветы абрикосы, персики, алыча, возникали, как грибы, летние домики — купола из циновок. В домиках было много дырок. Они оставались между переплетениями тростниковых камышей. Я сравнивал дырки с печеньем.

— Дом полон печеньем, а мне есть нечего,— поддразнивал я бабушку, когда сосало под ложечкой.

Благодаря дырам любой порыв ветра попадал к нам, а дождинки проникали в гости через крышу, покрытую широколистными растениями. На полу ставили таз, и капли монотонно тренькали по нему. Капли лезли и через дымоход, но, едва смешавшись с дымом, испарялись в языках пламени.

Сколько запахов жило в кибитке: копоти, весенней сырости, последождевой свежести, размякших прошлогодних стеблей, разбухших веток!

Очаг — яма в земляном полу — находился под центром кровли. Вокруг очага и ели, и спали, в непогоду варили обед и кипятили чай, грели руки и лепешки. Черствую лепешку ставили ребром на пепел перед жаром, подперев палочкой. И лепешка становилась снова свежей, приятно хрустела, чуть пахла горелым и пеплом.

В углу хранилось зерно в домотканых полосатых мешках. Бабушка держала его как неприкосновенный запас. Каждый год содержимое мешков заменяли новым урожаем, а старое зерно отправляли в скрипучей арбе на мельницу — хараз. Хотя война с фашистами давно кончилась и достаток все увеличивался, бабушка не забыла полных лишений и невзгод лет.

Под мешками празднично жили мыши. Продырявив мешки, безнаказанно, нагло таскали пшеницу в свои кладовые. Наша кошка часто гладила лапами нежные их тельца и с хрустом отправляла в рот. Но все же мышей было больше, чем требовал кошачий аппетит.

Рядом с мешками стоял жернов: два шероховатых каменных круга. Одной рукой бабушка вертела верхний круг, другой — по горсти всыпала зерно в жерло. Из-под камня сыпался белый помол. Я макал в него палец и рисовал себе усы.

В долгие вечера она молола зерно и заодно баюкала меня. Я засыпал под жалобный скрип жернова. И каждое мое утро хранило отзвук этой грустной музыки.

Бабушке дел хватало; кроме работы в колхозе приходилось варить дома сыр, сбивать масло, печь лепешки; наливалась пшеница, поспевала джугара; телились коровы, ягнились овцы. Хорошо было смотреть, как корова лижет теленка, овца — ягненка, эти маленькие теплые существа, от которых шел пар. Хорошо было играть с ними, когда они немного подрастали, бегать вместе по лугу: теленок, ягненок, козочка, я и еще маленький осленок со связкой палочек на шее, которую вешали как украшение. Когда осленок ставил длинные уши торчком, загибал хвост и бежал, подпрыгивая, видно было, что он считает себя самым красивым среди нас: у других ведь не шелестели на шее такие подвесочки.

Я прибегал с улицы с засохшей в углах глаз пылью, голодный. У тамдыра—печи мне отламывали большой ломоть хлеба с румяной горбушкой. Я дул на него, перебрасывал с руки в руку и бежал к бабушке, только закончившей сбивать масло в бурдюке и шлепающей по свежей массе, придавая ей округлость. Она мазала мне хлеб толстым слоем, а в придачу совала кусок сахара. Я снова убегал на улицу к шумной ораве детей из других кибиток, которые тоже держали такие ломти и щербатыми зубами грызли сахар, сдабривая его соплями.

Пока масло не таяло на теплом хлебе, на кромке оставались следы зубов. Я любовался этими зубчиками. Сахар у меня приглушенно хрустел. Я слышал, что у сестричек сахар иначе хрустит, как-то звонче, по-мышиному. Мне очень нравилось, как у них хрустит. Я пытался понять почему: может, у них зубы мельче, может, иначе кусают, может, потому, что они девочки?..

Я проснулся и увидел, что после вчерашнего дождя воды в арыке прибыло. Худенькая сестренка уже стояла на берегу и неподвижно глядела в воду. Слабо подувший ветерок подтолкнул ее в спину и плавно опрокинул. Она растянулась мостиком на поверхности арыка, не утонув: лишь ротик, нос, глаза были в воде.

Меня сперва позабавила ее схожесть с чучелом, которое иногда ветер опрокидывал на грядки, где оно и лежало неподвижно, пока обратно не ставили. Затем рассмешила мысль, что ее как-нибудь может и смерч унести, как уносил, оторвав от земли, бабушкины циновки и бросал где-то за селением.

В своей мысли я ничего обидного для сестры не находил, ведь сам всегда мечтал улететь и всегда делал усилие оторваться от земли, когда появлялся ветер-джин. Но постепенно стало тревожно за сестру. Я стал тащить ее за ноги, звать бабушку на помощь.

Когда она ожила у теплого очага, растертая, укутанная, согретая чаем, я спросил: что она увидела в воде? Она ответила: разные вышивки, расшитые бисером, они все время меняли цвет и рисунок. Я спросил: а чем дышала? Она ответила: запахом воды.

Тогда мне стало завидно. Мне тоже захотелось обнять, нюхать, пить эту утреннюю, мягкую воду арыка, душистую от лепестков фруктовых деревьев.

Однажды я остался один посреди поля. Почему очутился так далеко от дома — не знаю: то ли хотел открыть новые земли в окрестности, то ли унесло неизвестное чувство.

Небо гремело, будто где-то там выбивали ковры, небо било кремнем о кремень, метало молнии. Я замер в жути и ликовании, наблюдая движение туч, ловя губами первые свежие капли.

И пошел очень сильный, но по-весеннему легкий дождь. А потом крупные льдинки колотили меня по макушке, по плечам. Я обхватил голову руками, но градины теперь били по спине, обжигая тело через продырявленную рубашку.

Все кругом покрылось хрустальными леденцами, блестевшими под только что выглянувшим солнышком. Я поднял несколько градин, попробовал на вес, на вкус — они уже не обжигали. Скоро все растаяло, и от хрустальной сказки осталась одна омытая зелень. Я вспомнил слова бабушки о том, что вместе с градом падает с неба много непонятного.

И побрел домой весь мокрый, продрогший, в разорванной рубашке. А бабушка всюду меня искала. Увидев меня, она улыбнулась. Я прижался к ее коленям. Я был счастлив, что она не заворчала, будто догадалась о пережитом мною...

РЕЧНОЙ И НЕБЕСНЫЙ ПАРУСА

Бабушкин брат жил за рекой на острове. На острове потому, что за островом была река — рукав той же Амударьи.

Острова были в белых сухих камышах и ериантусе. Обитали там утки, фазаны. На иные острова вброд переправлялись коровы — сами паслись, сами и возвращались. Часто на островах случались пожары. Языки пламени всё слизывали начисто, и в реке оставались одни черные лоскуты. Иногда перед сном, выходя из дому, мы видели, как над рекой пылает небо.

Река часто меняла русло, будто скучно ей было течь по одному и тому же. Сжирали грунтовые берега жадно, ненасытно, большими кусками.

Мы часто переправлялись в гости к бабушкиному брату, и с нами несколько человек родственников. Считали, что так интереснее. Собираться начинали с утра. Тетки жарили в казане катламу: слоеную, большую, круглую, сверху посыпанную сахаром. С десяток лепешек катламы укладывали в огромное деревянное корыто и накрывали шерстяной скатертью, чтобы донести теплыми. К корыту я не приближался, от него несло жаром. Несли его по очереди на голове, пока не добирались до берега. Транспорта не было, разве что изредка кто-нибудь из своих провожал на ишаке, но вообще-то предпочитали не подвергать соблазну провожающего. Знали, что того, кто дойдет до реки, непременно потянет и за реку — не бросать же тогда ишака без присмотра! — так заманчиво выглядело своими пирамидальными тополями «гостевое» место.

В нашем путешествии была своя прелесть. По узеньким тропинкам, проложенным в сухих высоких зарослях, мы один за другим пробирались на гул реки. Гул слышался за километр и, чем ближе подходили, тем громче становился.

Во главе вереницы шел кто-нибудь из старших, за ним следовали другие. Я восседал на спине бабушки. До семи лет она носила меня так — ей нравилось и мне.

Иногда дорогу нашу перебегали зайцы, иногда пугливо подымались фазаны с красивым оперением, редко, но слышали и вой шакалов, и хрюканье кабанов. Вот тигры никогда не встречались, хотя о них ходили слухи.

Когда наконец впереди открывалось огромное и пустое пространство, которое обдувало нас прохладой и запахом рыбы, я сползал вниз на отекшие ноги и бежал к берегу.

— Не подходи близко! — предостерегали вслед—слова еле различались в гуле.

Один из дядей подходил к берегу, складывая руки рупором, и протяжным голосом отправлял весть через реку на другой берег:

— Га-за-ан-а-а-га-а!

Раздавалось эхо, и казалось, Газан-ага — лодочник — отвечает с того берега своим же именем.

Снова кричали. Пробовали свои голоса и другие, в том числе я. Через некоторое время на той стороне замечалось шевеление. Теперь проверяли зрение. Прикрываясь рукой от солнца — кто козырьком, кто рукой,— зорко вглядывались: «Вижу!», «Не вижу!», «Тебе показалось!», «Да нет же!», «Вижу, вижу!», «Где?».

На реке появлялась черная точка, она все увеличивалась и постепенно превращалась в усиленно гребущих людей. Чтобы не жариться на солнцепеке, пока причалят лодочники (неизвестно было, когда они причалят: через час, через два), собирали верхушки камышей, связывали, накидывали охапками травы — получались неплохие шалаши. И по два-три человека прятались в этих шалашах.

Трудно было спускаться в лодку. Причала не было. Ноги вязли в топи, лодка кренилась. Я думал: вот сейчас дядя ступит в лодку своим бычьим весом и мы перевернемся. От веса садившихся людей лодка все больше и больше оседала, до воды становилось так близко — теперь я не сомневался, что утонем.

Один из лодочников, стоя на корме, отталкивался длинной жердью от берега, отплывающего куда-то косо, кружа голову.

— О алла! — призывала бога на помощь бабушка, прижимая меня к себе, несмотря на то что она была старой «морячкой». — Помоги нам, отец Нух!

И другие подхватывали: «О алла!» — так все время, пока не ступали на сушу.

Распускали белый парус, он заполнялся откуда-то появившимся ветром — ведь вроде его не было! Лодку быстрее уносило от берега. Хотя меня перед отплытием кормили, на реке разыгрывался аппетит. Бабушка отламывала катламу. После еды хотелось пить. Наклонясь, кружкой зачерпывали воду, потом отстаивали, чтобы осел ил. Все смаковали эту необыкновенно вкусную воду, святую воду, как все считали, кормилицу, дарительницу жизни,— мочили ею глаза, молились на нее.

Лодка протекала. Кому-то приходилось постоянно черпать консервной банкой лужу со дна...

Потом над городком появились аэропланы. Мы с бабушкой теперь в гости летали. Самолеты были транспортные, не имели даже сидений, но сам пятиминутный полет был для нас немалым удобством. Мы присаживались на корточки в багажнике. Над нами захлопывали застекленный люк, через который любовались небом, хотя уже были в небе. Потолок висел так низко, что взрослым приходилось сидеть втянув головы в плечи.

Над рекой самолет словно останавливался и камнем падал вниз. У меня от испуга внутренности в горло лезли. Я ждал, когда врежемся в реку, но самолет стучался брюхом о что-то твердое, как мне казалось — о верхушку корявого тута, и не погружался в воду. Я удивлялся, что в реке может расти дерево. Потом внизу показывались спичечные коробки домов, и я успокаивался.

Бабушка носила большой марлевый платок. Это была ее собственная мода, она считала, что марлевый платок хорошо охлаждает в жару. В первый наш полет, когда крышку захлопнули, платок защемило, и добрая его половина осталась за бортом. Летчики, большие шутники, и не подумали его вытащить. Во время полета они все время хохотали, вместо того чтобы бояться, подобно нам.

После выяснилось, что смеялись они над платком, реявшим над самолетом, как какой-то небесный парус, и жители на обоих берегах увидели это. Люди тогда любили смотреть в небо, услышав рев аэроплана, выбегали из дому, бросали кетмени, роняли тюбетейки. Все увидели белеющий над самолетом бабушкин платок, и всем стало смешно. Смеяться уже всем хотелось, тяжелые дни войны ушли в прошлое. Потом долго еще над бабушкой подшучивали. А я тогда думал: вот переправились на тот берег первый раз не в парусной лодке, а вышло так, что все равно под парусом!

НАВОДНЕНИЕ

Нас встретили сыновья бабушкиного брата с ишаками. Меня с бабушкой и других гостей посадили верхом, а сами поехали вслед по проселку на велосипедах. На острове стояло всего несколько домов на порядочном расстоянии друг от друга. Занимались их обитатели частным хозяйством, вернее, не совсем частным, но жили как частники.

Весною над островом разносился треск тракторов. Все жители от мала до велика пропадали на теплой пашне, собирая лекарственные корни лакрицы и сооружая из них горы. Затем, погрузив на баржу, отправляли в город на

переработку, а вспаханное поле засевали бахчевыми, которые особого ухода не требовали. К середине лета всюду на острове валялись огромные арбузы в кроваво-красных трещинах, пахучие дыни и тыквы, подобные упавшим в ров быкам. Приезжали грузовики, загружались «сладкими водами» и мчались поить горожан.

У бабушкиного брата было двенадцать сыновей и дочерей. Но жили все одной семьей, вместе: зимою в мазанках, летом в таких же, как и мы, круглых тростниковых хижинах. У них были свои огороды, коровы, бараны, собаки, кошки, охотничьи ружья, крупные крючки для ловли больших сомов — маленьких речных китов.

По дороге нам пришлось несколько раз преодолевать крутые, воздвигнутые лопатами и бульдозерами, валы. Они были покрыты солончаковой коркой.

— Что это? — решил я выяснить у велосипедиста.

— Дамбы,— ответил он.

— А для чего?

— От наводнений.

— Каких наводнений?

— Хм, а может, еще узнаешь,— сказал не очень любезно местный родственник.

К нам навстречу шел бородатый старик в хивинском халате, подпоясанный кушаком. Говорил он музыкально, звонко, словно горло смазал жиром, а руки, наоборот, у него были шершавые.

В доме поднялся переполох: объятия; сердечные восхищения: «Приехали, радость-то какая!», «Сват привет передал!», «Сами живы-здоровы, животные целы?», «Целый месяц уже снитесь!», «Проходите, дорогие, проходите!». Суфу застелили длинным рядом ярких цветастых ковров, раскидали бархатные пуфики. Принесли гору пиал, чайник с освежающим зеленым чаем, большие вазы с виноградом и персиками, вазы с кишмишем, урюком, орехами, вазы с халвой, рахат-лукумом, парварди. Дыни золотились, и арбузы темнели под рукой.

Барашек, которого увели за дом убивать, жалобно заблеял. Его освежевал сам старик. Закатав рукава, он стоял над животным, лежавшим со связанными ножками. Длинный нож играл на точильном камне.

— Напоил? — спросил старик того велосипедиста, который собирался помочь отцу.

— Да.

Чего он печется: напоили — не напоили, все равно ведь убьет, какая разница, пить барашку воду перед смертью или не пить? — думал я, но спрашивать не решался.

— Бе-е-е!

Я закрыл глаза, а когда открыл, яма, над которой перерезали шею, уже была полна застывшей багряной крови. Лохматый пес, истекая слюной, готовился ее лакать. Барашка подняли и повесили на крючок шеей вниз. Старик стал кулачищем подпарывать шкуру.

Свежая разделанная туша парилась на подносах. К мясу я брезгливости не почувствовал, хотя ни жалость к барашку, ни неприязнь к старику, ни тошнота, ни жуть не забылись.

У очага тоже хлопотал брат бабушки, собираясь лично угостить нас пловом. Такое важное и ответственное дело он не доверял женщинам. В большом, черном, начисто протертом казане кипело хлопковое масло, шипя и брызжа. Младший сын засовывал хворост под казан. Хворост стрелял, с треском посылая в открытое небо дым, искорки, мелкие уголья.

Все уже было в казане, слоями: жареное мясо, кружочками нарезанный лук, соломкой нарезанная морковь, перебранный помытый рис, кишмиш. Все это накрыли крышкой, а крышку скатертью и оставили тушиться.

Всем приятно было сидеть под открытым небом после духоты и хлопот дня, в прохладе вечера, неторопливо беседуя о знакомых, хозяйстве, предках, новостях. С нашими сидели местные гости, соседи по острову, которые вели себя по-хозяйски. Сами хозяева держались пока на ногах, хотя особых дел уже не было, но хороший тон этого требовал.

Дети были воспитанные. Каждый знал, что ему делать, как себя вести. Один из братьев с кувшином и тазиком в руках, с полотенцем на плече обошел по кругу сидевших, начиная со старшего, самого уважаемого.

До этого братья долго совещались, кого считать самым уважаемым. И, не решив спора, обратились к старику. Старик приказал начинать с соседа, друга дома. По обычаю, им должен быть мужчина, и потому бабушку обошли.

Принесли плоские деревянные чаши с дымящимся ароматным пловом, с темно-красными, морковно-мясными вершинами.

Алый, как вино, круг солнца нырнул в реку. Трапеза кончилась. На дне чаши осталось одно масло.

— Алты, пей! — загалдели вдруг братья. Им хотелось, чтобы ужин завершился веселым домашним представлением.

Алты, средний сын, темнокожий, как негр, слил масло из всех чаш в одну, подержал ее всем напоказ — на дне

темнело с четверть литра,— обнажил зубы в довольной улыбке и опрокинул чашу.

— Выпил! Смотрите, выпил! — изумились вокруг.

— Плохо не будет? — спросил кто-то из наших.

— Наоборот, кишки смажутся,— ответил небрежно Алты и, как ни в чем не бывало, изменил тему разговора.— Сейчас нападут!

И в самом деле, над нашими головами появилась туча комаров и набросилась на нас, упиваясь свежей кровью. Больше всего комары нападали на Алты. Вокруг расставили ведра с тлеющим кизяком. Едко-сладкий дым скоро унес их.

Расселились спать по хижинам. Хижина, которую выделили мне с бабушкой, стояла посредине. В дырки ее проникала свежесть ночи. От рогожи пахло сырой землей. Пахло близкой рекой. Кругом стрекотали цикады, издалека долетал лай шакалов. В неприкрытые двери заглядывало близкое южное небо с крупными ясными звездами, которым бабушка давала интересные названия: Весы, Семерка, Путь Белой Верблюдицы.

Ночью я проснулся от мокроты под собой, шума воды, криков, плача, отчаянного воя собак, топота пустившихся прочь от берега зверей, запаха рыб и водорослей.

— Обмочился, что ли, верблюжонок? — спросила полусонная бабушка, ощупывая одеяло.

Мокрота становилась все обильнее — вода подымалась с невиданной быстротой.

— Бабушка, наводнение! — вскрикнул я, поняв вдруг, что это.

Перепуганная бабушка вцепилась в меня, словно когтями, и потащила к выходу. Хозяева, сыновья старика, забыв вчерашнюю любезность, по пояс в воде, в панике, каждый спасал свою жизнь, пробираясь к возвышению недалеко от дома.

Все произошло в считанные минуты. Малое промедление грозило бедой. Вода достигала подбородка. Бабушка держала меня на руках и, чем выше подымалась вода, тем выше она подымала меня.

Шла наобум. Вели крики, шум...

Вода покрыла ее лоб. Уже ни криков, ни шума, ни шлепаний — гробовая тишина, будто заложило мне уши. Бабушка откидывала назад голову и приподымалась на цыпочки набрать воздуха. Держала меня над головой на вытянутых руках. Руки сильно дрожали, я видел ее перепуганные глаза. Скрылись глаза, остались одни седые волосы, плавающие на воде, как водоросли.

Чьи-то сильные руки вырывали меня, но я будто был прибит к чему-то под водой...

Я почувствовал под собой сухой, теплый песок. Со всех сторон ко мне прижимались чьи-то спины, груди, бока. Я боялся открыть глаза. В ушах шумело и шумело.

Утро поразило меня. Солнце невыносимо пекло. Окружала безбрежная, успокоенная вода. На ней плавали щепки, бревна, тряпки, бараньи шкурки, корыта, тыквы,— чего только не плавало! Купола хижин еле выступали из воды, как тюбетейки. На них сидели кошки и крысы.

Все в полном сборе сгрудились на клочке земли, словно робинзоны. Были тут и вчерашний пес, и ослы, привезшие нас, и козы с мокрыми бородками, и бабушка.

У меня ломило все тело — это давали себя знать ночные объятия бабушки.

ПЕРЕМЕНЫ

Когда я вернулся домой, отслужив четыре года на флоте, меня охватило скорее разочарование, чем радость. В море я часто думал о доме, о городке. Я мечтал встретиться со своим детством, но, вернувшись, его не нашел.

От старинного шумного городка бабушкиной молодости уже ничего не осталось: ни улочек, петлявших меж глухих дувалов, ни айванов с резными столбами, ни серхоузов, ни двухэтажных амбаров, ни прокопченных дворов, разделенных на скотные и жилые дворы, а жилые, в свою очередь,— на женские и мужские половины.

В разных городах я видел, как берегут старину, а у нас ее уже не было. Я знал, что в былые времена наш городок славился своими базарами, гремевшими по пятницам. Из дальних и близких кишлаков оазиса сюда стекались в тяжелых облаках пыли длинные вереницы пеших вперемежку с арбами, навьюченными ослами, верблюдами. Верховые не подчинялись порядку верениц.

Продавалось все: ковры, расчески, гончарные изделия, одежда, кунжутное масло. Мальчишки зарабатывали деньги, работая водоносами. Здоровяки продавали мускулы, слабаки нанимали их мстить обидчику. Тут же совершались избиения. Выступали канатоходцы, масгарабазы, соревновались в острословии, состязались бахши.

Рядом с базаром стоял мавзолей святого, имя которого носил городок. Там приносились жертвоприношения, и поэтому рядом всегда толпились оравы детей, нищих, дервишей и просто любителей бесплатно поесть. Бабушка рассказывала, как трактором снесли купол, скорее из сообра-

жений угождения начальству, чем с целью покончить с пережитками прошлого. Трактор почему-то сгорел; видимо, это было предусмотрено, чтобы мунджевир мог толковать это как наказание свыше.

А мечеть не тронули, может боясь согрешить, а может из практических соображений. Ее превратили в скотный двор с бойней. Теперь вместо пения муэдзина, раздававшегося по вечерам, доносилось оттуда мычание коров.

Из недавней старины прочно стоял только железнодорожный вокзал в окружении двухэтажных краснокирпичных домов. Их построили военнопленные, но бабушка тогда уже не жила тут.

Над городом возвышалась каменными неприступными стенами крепость. В ней когда-то располагался наместник бухарского эмира с подчиненным ему зинданом, с колодками, средневековыми орудиями пыток. Колодки — два длинных бревна с отверстиями, одно бревно для ног, другое для шеи. Закованные в них люди лежали на полу в один ряд. Надзиратели считали их носком сапога по бритым, бестуловищным головам, торчащим за бревном, как тыквы.

Говорили, что под крепостью проходила подземная дорога, соединяющая соседние укрепления. Вдоль всей Амударьи, по обоим берегам реки, еще с незапамятных времен тянулись крепости. При осаде одной из них соседи могли через подземный ход выслать подкрепление. Теперь, по рассказам, там обитала гигантская змея, ювха-проглотительница.

История родного городка для меня была окрашена романтикой, бабушка же неохотно вспоминала о прошлом, отмахиваясь: ох, не спрашивай!

Она охотнее вспоминала о Великой буре, пришедшей с севера и унесшей по разным причинам чуть ли не половину жителей, но принесшей счастливую жизнь; рассказывала и о Великой войне, проглотившей еще треть населения,— но войне священной.

В старом городе я находил заброшенные, полуразвалившиеся дома, заборы, пустую базарную площадь с магазином, где когда-то выдавали хлеб по карточкам, засохшие кусты в чарбагах — четырех садах. Родившись, я и застал таким место, где появился на свет. Я играл в развалинах, босиком бегал по колючкам, лазил на стены, искал клад, находил всякий хлам и кости. Наступал на змей — как их много было! Это были кобры, эфы, гюрзы — змеи с колокольчиками и с очками, с рогами и двухголовые, шипящие и сухие, большие и малые. Они жили на потолках домов, обвивая балки, под полом, иногда вылезая из

щелей. Бабушка говорила: если мы их не тронем, они не тронут нас. И действительно, мы ладили. Змеи так сильно вжились в мое воображение, что редко мне снились потом сновидения без змей...

Бывало, дядя, едва проснувшись поутру, не умывшись, спрашивал, выйдя во двор:

— Поесть нечего?

— Нету,— отвечала бабушка.

Тогда он поворачивал в дом и выходил оттуда уже с ружьем. Через несколько минут недалеко от ворот раздавался выстрел, и дядя возвращался с фазаном или зайцем, оставляя за собой след крови.

Потом началась очистка полей под хлопковые, рисовые плантации. Исчезли руины, исчезли змеи, улетели фазаны, совы, убежали шакалы, дикие кошки, не стало колючек, камышей. Под крепостью поставили кирпичный завод, оказавшийся той ювхой. Она и проглотила историю города. Всюду встали, как с инкубатора, новые дома. Грунтовые улицы, летом славившиеся бесплатной пудрой, а зимой смазкой для сапог, остались под покровом асфальта, вдоль них развели газоны! Средневековый городок превратился в районный центр нового типа.

Это произошло не вдруг, не за четыре года моего отсутствия. Началось все постепенно, на моих глазах, ещё в годы, когда я ходил в школу. Тогда меня радовали изменения, даже мечтал, чтобы тут нашлось какое-нибудь полезное ископаемое. Появилась промышленность, и наш городок перерос в большой город.

Значительную перемену я заметил, когда вернулся. Я спрашивал бабушку:

— Скажи, где твой старый тамдыр, где твой очаг, казан, кумган, где ты жаришь катламу, где твой дом, старый, добрый, оставшийся от моего прадеда?

— Верблюжонок, я уже ничего не делаю, и дом мне уже ни к чему, а молодым нравится у себя. Разве плохо жить в таких дворцах, чистых, уютных? А газ? Никакого дыма! Разве твою бабушку ослепила не та проклятая копоть?

— А тебе не хочется поехать на ишаке к родственникам, посадив меня, как раньше, на крестец? — спрашивал я.

— Сейчас ходят хорошие автобусы, правда, мне в них дурно от запаха бензина, здоровье уже не то, но молодым нравится! А сколько палок я переломала на упрямых ишаках, сколько нервов извела на понукания! Разве бабушку твою состарили не те ишаки?

— Бабушка, где запах тех непроходимых лесов, где лисицы, почему по ночам не поют сверчки? Где все то, что тебя помнит? Я сегодня ходил и искал, и ничего не нашел. И река не так течет, и не так пожирает берега — укротили ее, и цвет ее воды не мутный, и пить ее уже нельзя, зачерпнув пригоршнями. И острова не горят, как бывало... И у тебя не те платья...

Она улыбнулась, видя, наверное, во мне того маленького внука.

ГОРСТЬ ДНЕЙ

Бабушка имела трех сыновей и трех дочерей, помимо тех, которые не выжили или погибли на фронте. Сыновья были женаты, дочери замужем, и все жили самостоятельно, в собственных дворах, в кругу своих детей.

Недавно она стала прабабушкой и по обычаю, как в старину, пила целебную воду с пухленькой ладошки правнучка, в которой еще даже не держалась вода, и потому она просто коснулась влаги: на счастье, на здоровье, на долгую жизнь.

Старушка ночевала в семье то у одного из своих детей, то у другого, постоянно кочуя из дома в дом, стоявших на одной улице. Ей не хотелось надоедать одним постоянным пребыванием, обидеть остальных небрежением. Сама появлялась, сама исчезала. Никто не следил, пришла она или ушла, поела или нет, никто не ухаживал за нею. Снохи угощали ее тем, что отвергал какой-нибудь капризный внук. Если она занемогала, посещали — как бы чего люди не подумали.

Однажды она упала, споткнувшись на ровной земле. Это вызвало раздражение, ухмылки, хотя ей помогли подняться и справились участливо:

— Не ушиблись?

И упрекнули по-свойски: надо же быть осторожнее, под ноги глядеть!

И презрительно зашептали: вид имеет здоровый, а внутри пусто, как у источенной балки.

Не забыли посплетничать и о том, что старуха хорошо держалась, пока было целым содержимое шкатулки, оставленной ей дедом, а стало там пусто — сразу упала духом, опустилась. Выходило так, будто золото было ее талисманом, поддерживающим дух, будто бабушка — как тот дэв из сказки, душа которого хранилась не в нем, а в кувшине!

Правда, у нас дома в сыром углу стоял сундучок, маленький, с деревянной ручкой, как у чемодана, и такой старый, что почти ровесник бабушки. Сундучок я знал с тех пор, как себя помню. Все это время он запирался одним и тем же бесхитростным замком (такие замки когда-то всюду встречались, а теперь стали редкостными), так что его запросто можно было отпереть проволокой. Бабушкин приемный сын так и делал. Он лазил туда и крал каждый раз из хозяйственных денег такую сумму, которая была мало заметна.

Я всегда заглядывал в сундучок, когда бабушка открывала: знал, что она хранит там старинную шкатулку со сбережениями, амулеты, какие-то благовонные зёрна и всякие любопытные мелочи и почему-то черный порох в мешке.

Старушка была очень привязана к своему сундучку, и уголок, где он стоял, считался ее уголком.

Недавно я застал ее там. Крышка была приподнята, я заглянул и не увидел ни шкатулки, ни бумажных денег, ни любопытных штучек. На дне, застеленном рваной газетой, лежало смятое платье, несколько пуговиц и тот неизменный черный порох.

— А зачем тебе этот порох?

— Когда-то покойный дедушка велел припрятать, с тех пор и лежит.

— Порох может воспламениться, давай выбросим.

Я не знал, действительно ли может воспламениться.

— Но, верблюжонок, если так, уж давно бы воспламенился. Пусть теперь лежит.

Да, без пороха сундучок совсем бы опустел, тогда незачем было бы хранить и сам сундучок.

Тетки рассказывали такую историю.

В полдень, когда солнце над макушкой варит мозги, когда все ложатся спать в холодке, вплоть до пса, бабушка вытащила шкатулку с золотыми монетами эмирской, афганской, николаевской чеканки и начала перебирать. Внезапно в дверях появилась соседка, хитрая, сладкословная Бибнур-апа. «Хи-хи-хи!» — засмеялась она характерным для нее смешком. С того дня монеты стали убывать. Использовала Бибнур-апа шантаж, или бабушка неясно представляла себе их ценность, или по простоте своей не придавала им особого значения — неизвестно. Теперь не было ближе человека для Бибнур-апы, чем бабушка. И бабушка отвечала ей тем же.

Бибнур-апа доставала в теперешнем понятии никудышные, а в тогдашнем — дефицитные отрезы материи, прино-

сила их в подарок и уносила монеты. Если бабушка болела, приносила какие-то таблетки, показывая, что больше печется о ней, чем ее дети, и уходила отплаченная золотом, а потом поддразнивала теток, что многие в городке стали фиксатыми благодаря их матери. А тетки упрекали мать, проворонившую зубы, которые могли блестеть у них во рту.

— Правда ли, бабушка, что ты имела горсть золотых монет? — спросил я ее однажды.

— Не помню, айналайн, имела ли я горсть монет золотых или горсть песка зыбучего.

И я подумал о горсти бабушкиных дней.

— А насчет монет — это все выдумки Бибнур-апы,— засмеялась она.

— А зачем ей это надо было?

— У нее было золото, верблюжонок, но она хотела это скрыть.

— И ты не думала уличить ее?

— Стоило рассеивать такую интересную выдумку о себе? — пошутила она. Немного погодя сказала: — Правда, было у меня немного серебра, украшений, я отдала их во время войны в казну, чтобы деду и детям легче было воевать там, в зимних странах.

ШАЛЬ С КИСТЯМИ

Несмотря на свои семьдесят пять лет, бабушка еще не была безразлична к красивой одежде. Я помнил, как она любила наряжаться в свои сравнительно лучшие годы. Теперь она зависела от детей, не имела возможности выбирать по вкусу,— что дарили, то и носила.

Я уезжал учиться. Родственники и их бесчисленное потомство всех возрастов и ростов пришли провожать. Заполнив двор, галдели, желали доехать мне целым и невредимым.

Последней меня обняла бабушка. Я ощутил ее маленькие иссушенные кости. Она заплакала, я шутя ее поднял, чтобы приободрить,— весила она не больше куколки. Широкое платье и высокий головной убор, какие она носила еще в молодости, когда курила кальян с молодухами, делали ее моложе, и я этим обманывался.

Глядя на нее, не верилось, что это та бабушка, которая долго со мной возилась, носила на спине, спасала от наводнения; не верилось, что когда-то я был сильно привязан

к ней, но с годами отошел, оставил в одиночестве, как и другие внуки в свою очередь.

Надо было сделать ей что-нибудь приятное.

— Закажи, что ты хочешь, я привезу,— сказал я.

Она еле вымолвила:

— Джан...— и снова расстроилась.

— Ты не стесняйся, говори!

— В больших благородных городах, наверное, много хороших красивых платков...— начала она нерешительно.

— Я привезу, только скажи какой.

— Хорошо бы шерстяной, с кистями, чтобы цвет имел зеленый или голубой, чтобы на нем были яркие алые цветы...

Она взахлеб перечислила все качества платка одно за другим, даже представлять красивую вещь доставляло ей удовольствие. Глаза засветились, плечи выпрямились, появилось даже немного кокетства, но вдруг опомнилась и боязливо взглянула на меня опять постаревшими глазами: не далеко ли зашла?

— Ты особо не торопись. Когда попадется, тогда и купишь.

— Хорошо.

— А деньги я потом, у дяди...

Я обиженно взглянул на нее.

— Хорошо, верблюжонок, поезжай с богом,— быстро согласилась она.

Но подарок я обещал под настроением, и как только оказался в городе, у меня появились другие интересы, другие заботы, но все же обещание где-то во мне жило и время от времени давало знать о себе легким беспокойством.

Иногда мне случалось заходить в универмаги по разным причинам, но подняться этажом выше, в отдел платков, ленился. Купить было на что, но все же не решался, успокаивал себя тем, что до каникул далеко, еще успеется.

Зимой не поехал. Так отложил до лета. Когда началась беготня перед отъездом, обнаружил: если куплю шаль, на билет не останется. Я взял билет, занял денег у знакомого и поехал в универмаг. Такого платка, как просила бабушка, не оказалось.

Всю дорогу было неловко: как появлюсь перед ней?

Бабушка спешила мне навстречу, опираясь на посох. Все время я чувствовал на себе ее ласковый взгляд и не мог прямо смотреть ей в глаза, боялся встретить в них радостное ожидание подарка, которое сменилось бы разочарованием.

Особенно неловко было открывать чемодан, раздавать гостинцы прибежавшим детям. Мне стало стыдно за свою мелочность, малодушие. Я подошел и вручил ей обыкновенный кошелек из кожзаменителя. Право, подарка более глупого нельзя было придумать. Да и купил я его, имея в виду вовсе не ее.

Она обрадовалась, слёзы потекли по морщинам. Я пробубнил что-то насчет платка, оправдываясь и в то же время давая понять, что не забыл. Сперва она не поняла, потом догадалась, о чем я.

— Ну что ты, главный подарок для меня ты сам. Пока жива, еще раз увидела тебя, что старухе еще надо!

Я почувствовал облегчение: значит, не помнила, не думала все время о платке (все время думал о платке я), ведь она же и не просила непременно в этот раз!

Потом о своем обещании я вспоминал все реже, отвлеченнее.

Приближались каникулы. Как-то вечером вернулся в общежитие. Почему-то перед глазами стояла бабушка: видел ее маленькой девочкой, невестой, старухой, идущей вдаль, горбясь...

Утром я обошел все магазины и достал точно такой, как она хотела: с длинными кистями, с алыми цветами на голубом фоне — большой шерстяной платок. Но не мог успокоиться, пока в тот же день не улетел домой. Я торопился, мысленно подгонял самолет, так не терпелось быстрее вручить. Шаль я держал на коленях, словно бабушка ее уже сто лет носила.

Вышла встречать меня, как обычно, вся улица, взрослые и дети, и вроде не все. Шли навстречу, как и прежде, и вроде не так. И улыбались мне так же и вроде не так. Согнутая бабушка не ковыляла среди них, опираясь на посох. И дети ее не обгоняли.



Светло, добро, тепло живет последние двадцать лет Варвара Алексеевна. Все для нее вокруг радостно и устроенно.

Она души не чает в своей старинной квартире на Васильевском острове. Квартира и впрямь удивительная. Высоченные потолки, нет, не три — все четыре с лишком метра от пола, лепной бордюр с завитушным орнаментом, громаднейший плафон посредине, круглый, тяжелый, тревожный даже — а вдруг как на голову свалится? — но до того красивый — подымешь глаза и не оторвать взгляда — рисунок на нем каждый раз по-новому глядится. И не в одной комнате такая роскошь,— во всех: бордюры, плафоны и на тонких шелковых шнурах абажуры, хотя нет, в гостиной звонкая, горного хрусталя люстра висит.

Потолки — гордость Варвары Алексеевны, и ее здоровье. А то как же? Сколько воздуха по нынешней норме лишнего в квартире.

Другая гордость — полы. Нет таких полов сейчас нигде в городе. Разве что в Эрмитаже и, может быть, в Кунсткамере сохранились. Старинный инкрустированный паркет! Этим все сказано. Но Варвара Алексеевна считает, что и в Эрмитаже полы куда как хуже ее квартирных. Дом-то один из первых на острове, вроде как после дворца князя Меншикова, ставлен. Куда же царским с ее полами тягаться? Стариной не вышли. Зимнего-то и в проекте тогда не было. В мягких войлочных тапочках неслышно скользит Варвара Алексеевна по навощенному паркету и душой радуется, какой он зеркальный да гладкий, какой домовитый и чистый,— не пол — золото под ногами.

О дверях, высоких, плотных, резных, беленных стойкой эмалью, и говорить не приходится. Одни медные мягкие неслышные ручки чего стоят! Нажмешь — дверь тихо распахнется, не нажмешь — как на замке.

А сам дом? Стены в несколько кирпичей кладены, под паркетом деревянные перекрытия — в хороший обхват бревна, окна — высокие, широкие, с двойными толстыми рамами. От этого в квартире тихо-тихо. Ни шороха с улицы не войдет. И воздух постоянный. Там, снаружи, хоть мокрень-сырость, влажность стопроцентная, туман, дождь, наводнение, а в квартире пушистое, как соболий мех, тепло и сухость постоянная. От чего так — не задумывалась Варвара Алексеевна, но объяснила бы по-своему: вековой, мол, воздух, вместе с домом живет вот уж третье столетие. Устоявшийся воздух, свой, домашний, ну как варенье свое, в медном тазу варенное.

Скажет Варвара Алексеевна «свое» и укорится мысленно: «Старость во мне говорит «свое» да «свое». В наше-то время. Не отучиться никак. Вот беда».

А ведь если задуматься, то кругом все «свое» и получается. Взять хотя бы письменный стол. Черный, на кривых резных ножках, то ли из дуба мореного сработанный, то ли из железного африканского дерева. Сукно на нем зеленое как новое, лишь ворсинки стерлись, но это даже к лучшему, не так руки щекочут. Чей он, стол-то? Мужнего прадеда, профессора Санкт-Петербургского университета!

Или часы напольные. Не часы — целый шкаф. Внучка жалуется, мол, спать не дают, бьют по ночам будто колокол. Но ведь куранты они и есть куранты. Так вот, часы тоже из прошлого века, и опять-таки профессорские, петербургские. Отцу мужа, то есть ее свекру, университет к юбилею преподнес.

И эти, домиком, с кукушкой, с гирькой чугунной, тоже не чужие. Старинности в них почти никакой, но уж свои так свои. Вместе с мужем, когда он еще студентом университета числился, а она на рабфаке училась, на барахолке с рук купили. Захотелось Николеньке, так звала она мужа, свое время в комнате считать, вот и потратили деньги на безделицу. Отец-профессор сердился. Строг старик был. Барахло, не в смысле тряпье, а натуральное барахло не уважал. Но и сын не очень-то уступчивым родился. В деда ли, в отца ли пошел? — своего умел добиться: И ходики отстоял, и профессором Ленинградского университета стал, да еще самым молодым в роду!

Много вещей в этой просторной высокой старинной квартире. Так много, что малюсенькой она кажется людям. Добротные вещи, строенные на века, дорогие сердцу, как старые фотографии. Память, ведь она хуже завтрашних забот. Те как повернутся, никому не ведомо, а что про-

шло, того не вернешь, не исправишь, и никуда не уйдешь от прошлого — так и будешь до самой смерти возвращаться назад.

Добро и светло, тепло и уверенно живет последние двадцать лет Варвара Алексеевна. И годы эти, покойные, уверенные, вспоминаются как-то тишайше, без сердечных всплесков. Ровно вспоминаются. А ведь чего только в жизни не было.

Опять же квартира...

После войны, когда и надежда угасла на возвращение Николеньки, без вести пропал он под Волховом, когда в город из эвакуации люди стали возвращаться, когда прошел добрый слух о скорой отмене продовольственных карточек,— вдруг беда нагрянула. Явился в квартиру управдом с комиссией. Походили, последили по паркету и авторитетно удалились. Спустя же неделю вселили в гостиную, в самую большую комнату, новых жильцов. Оставили Варваре Алексеевне со свекровью-старухой и дочкой две комнаты поменьше. Управдом пояснил: «Теперя не положено. Профессорская льгота не действительна. Сам без вести пропал, выходит как убит, значит, и не объявится. А раз так, велено уплотнить».

Да бог с ними, с метрами! Домовитости, уклада жизненного жалела, спокойствия душевного.

Людей заселили хороших, сердцем добрых, работящих, честных и по-своему интеллигентных, во всяком случае обходительных. Только, к примеру, им вот такие потолки ни к чему. Бывало, сосед придет с получки, как у него заведено было, под хмельком, в комнату свою ступит, глянет вверх и в какой уж раз, в сотый наверное, удивится. «Ау!» — крикнет потолку и эхо дожидается. Смеется, как ребенок, и снова «аукает». Потом заснет блаженно.

Или телефон.

Подумать, так он тоже исторический, в прошлом веке установлен. И такой говорливый, спасу нет, что ни час, то трезвонит. У Николеньки знакомых было полгорода, у Варвары Алексеевны и сейчас, пожалуй, полстраны. Кто по старой памяти о здоровье справится, кто, не выходя из дома, норовит о делах поговорить, кто в гости зовет, с праздниками поздравляет — вот телефон и названивает, особенно по вечерам. Сосед спать рано укладывался, только и вздрагивал от звонков.

Можно было, конечно, из коридора перенести аппарат в одну из комнат. Но рука не поднималась оторвать его от стены. Висел он здесь уже полстолетия и не старел. Как подумает Варвара Алексеевна, что надо его от обоев

отковыривать, сердце сожмется. Телефон хоть и не живое существо, но и не простая кастрюля.

Почти пять лет делилась квартира с соседями. Ни раздоров, ни ссор не было, а жилось все-таки неуютно. Варвара Алексеевна никак не могла привыкнуть к тому, что любимый дедовский буфет стоит в прихожей, что люстра пылится в коробке из-под приемника, а семейные фотографии со стен перекочевали в пухлый бархатный альбом.

Но все вернулось на свои места.

Как раз двадцать лет назад Варваре Алексеевне торжественно вручили орден Ленина, а спустя месяц присвоили звание «Заслуженный учитель РСФСР». Тогда-то и комнату возвратили. Соседи же получили однокомнатную квартиру в новостройках. Далеко от их работы, на другом конце города, но рады они были безмерно. Уж как благодарили Варвару Алексеевну, будто она хлопотала о квартире. Всю жизнь обещали за нее молиться. А сосед на радостях сказал: «Ну теперь хоть отдохну по-человечески. А то здесь лежишь, будто из цеха не уходил — потолков не видать».

Уехали соседи. Варвара Алексеевна вышла на кухню и затосковала. Просторная эта кухня теперь показалась ей просто громадной. Темное прямоугольное пятно на бело-голубом кафельном полу, след от соседского кухонного стола, как брошенный черный платок, отдавало трауром. Будто стоял на этом месте не простенький стол, а близкий человек дожидался последнего пути.

Вспомнились ей долгие вечерние разговоры с соседкой, женщиной недалекой, пережившей немало житейских невзгод, бездетной, недоучившейся, одинокой. Всколыхнулось сердце Варвары Алексеевны, как встали перед глазами часы, проведенные на кухне, когда эта женщина, уложив хмельного мужа, до бесконечности терзала ее пустыми вопросами. «Неужто цветы чегой-то чуять умеют?» «Говорят, кино по воздуху начнут казать. Правда?» «А если пожарить картошку на подсолнечном масле, уж верно рак будет. Еще посуду мылом мыть никак нельзя, тоже рак прилипнет»... Подобных несуразных вопросов и рассуждений таила она миллион и на все, словно ребенок, требовала быстрого ответа. Слушала жадно. Потом просила «умную книжку» и год от года становилась чуть образованней. Кухонный ликбез продолжался до последних дней и порой затягивался за полночь.

И вот теперь, оглядывая опустевшую кухню, Варвара Алексеевна не испытала той долгожданной радости, к ко-

торой втайне готовилась последние дни. Радости от вновь обретенной старинной квартиры.

Она опустилась на крашеный табурет, вещь совсем инородную здесь и до того бросовую, что даже соседи плюнули на него, и почему-то вспомнила далекую неправдоподобную юность.

Родилась она на Псковщине, в крохотной деревеньке с удивительным названием Полоски. Никаких полосок вокруг не было и в помине. Кривая дорога, похожая на брошенную веревку, бугры, бугры, на них скособочившиеся дома сплошь с лохматыми соломенными крышами, по задам речка извилистая, плешивый лес вдалеке — и где они, полоски? Но это потом, вспоминая родные места, мучилась Варвара Алексеевна в поисках полосок. А тогда Варя, Варька, Варюха, босоногая девчонка, ни о чем таком не думала, просто жила в Полосках и к любому названию относилась как к коровьим кличкам.

Земля, река, лес кормили деревеньку в достатке, а за убранством, нарядами никто не гнался. Да и не перед кем было фасон держать — на отшибе жили. Вперед не суйся, сзади не оставайся, в середке не мешайся — эта незамысловатая житейская мудрость помогала деревенским ладить между собой и не высовывать носа дальше своей изгороди.

Как-то по весне нагрянула в Полоски ватага молодых парней. Главным у них был рослый, мускулистый молодец — косить бы ему отавы, сено кидать копнами, а в пахоту вместо лошади бы сгодился. Занимались же молодцы чистой ерундой — ходили по избам, расспрашивали: как печка зовется, ухват или кочерга кличутся, как по-ихнему хлев или мотыга — все в блокноты записывали. Главный же чаще других и в одиночку заявлялся в какой-нибудь дом, усаживался в самый дальний угол, слушал разговоры, пописывал в тетрадке. Особенно обожал девичьи посиделки, да на них его не каждый раз пускали. Мужикам, что порядок решили навести, объяснил: мол, называются они «экспедицией» и собирают старинные русские слова для сохранности языка, будут книгу о них писать. Уж какую он книгу написал, Полоски так никогда и не узнали, но то что он одну из лучших невест увел, об этом и спустя еще сто лет будут рассказывать старики.

Невестой этой была Варька, голенастая девчонка семнадцати лет. Простоволосая, бесшабашная, чуть знавшая грамоту, а о любви ведавшая лишь одно: люб не люб — в девках позор оставаться. Мать, отец слез не лили, прощались без вздохов,— женихи хоть и поглядывали, но порога

пока не обивали, а у молодки груди спелей яблок наливных. Главный Варьку сосватал чин чином, в ноги родителям поклонился, образ поцеловал, а значит, и любить теперь она обязана была его одного.

Так по осени Варвара Алексеевна попала в старинную квартиру на Васильевском острове и испугалась не на шутку, представив себе, что жить ей здесь всю жизнь, как под открытым небом,— ведь не дотянуться до потолка рукой!

Вот и давит теперь грусть на сердце. Пусто на кухне. Сиротливо, как в первый день ее городской жизни, и, как тогда, приказывает себе Варвара Алексеевна жить по судьбе. И тем успокаивается.

Назавтра дедовский буфет занял свое обычное место в гостиной, туда же возвратилась и люстра, и фотографии четырех поколений университетских профессоров. Отскоблили кафель в кухне. Чужой дух вышел и забылся. Сердце больше не кололо воспоминаниями. Жизнь пошла ровная, светлая, добрая, теплая. И надолго забылись Полоски, которых сейчас, может быть, и нету на Псковщине.

Любит Варвара Алексеевна раннее утро. Темное ли по зиме, светлое ли летом — ей все равно. Встает без будильника и тихо ходит по квартире. Заглянет в комнату дочери — спит маленькая, посмотрит через щелку на внучку — румяная. И Варваре Алексеевне хорошо, радостно. Все здоровы, и слава богу. По утрам лишь одна тревога — не забыть разбудить. Внучке бежать в институт, дочери — в школу. Кто и может припоздать, так это внучка, дочери никак нельзя, все же директор!

Завтрак приготовит Варвара Алексеевна, чайник под матрешку поставит, тонкий фарфор достанет, еще прадедовский. Хранит его пуще жизни, но не жалеет. Все поколения чаевничали из этих фарфоровых чашек, и традицию рушить никому не позволено.

Хорошо Варваре Алексеевне утром, но вот когда разбегутся дочка и внучка, тогда наступают ее самые любезные часы. Чем она занимается, о чем думает — никто не знает, а она никому не рассказывает. Это все так... кое-какие воспоминания и эмоции, которые ни родным, ни знакомым не расскажешь, не выскажешь — могут и не понять старого человека.

В тот день Варвара Алексеевна мягко скользила в войлочных тапочках по своему музейному паркету, наслаждаясь лисьим теплом и мягкой тишиной.

И именно в эту счастливую минуту она ни о чем не думала.

Зазвонил телефон.

— Пчелка, как себя чувствуешь? — сквозь отдаленный шум школьной перемены донесся голос дочери.— Хорошо? Умница. И знаешь, Пчелка, плюнь ты на этого разгильдяя Титова...

— Он не разгильдяй,— возразила Варвара Алексеевна,— зачем ты так? Он хороший ученик...

— Теперь в восьмом классе все хорошие. Боятся в ПТУ угодить — вот и напрягаются.

— Не права ты. Мальчик он умный, способный...

— Вот он свои способности на тебе и проверяет. Ты, Пчелка, послушай меня: приступай к новой теме, и все будет хорошо. Ой-ой! Я побежала, звонок... Целую. Ни пуха ни пера.

Варвара Алексеевна положила трубку и тоже заспешила в комнату. «Ах, Титов, Титов»,— шептала она на ходу.

Дома Варвару Алексеевну давно уже звали Пчелкой. Дочке шел тогда пятнадцатый год. Только что закончилась война. А жилось трудно. Варвара Алексеевна пришла домой уставшая до равнодушия.

Сил недостало стянуть платок, снять пальто, сбросить боты в прихожей. Так и прошла в комнату. Села на стул, замерла в отчаянии. Квартира казалась пустой, гулкой, холодной. За стеной в отдельной комнате немощная свекровь, старый, жалкий человек, пережившая блокаду и войну, а вот теперь тихо угасающая на глазах. Рядом дочка.

Варвара Алексеевна только чуть глянула на нее и спрятала взгляд. Боль и безнадежность в нем. «И когда это кончится? Когда?! Когда?!» — вот и все, о чем она может маятно думать сейчас. Жизнь морским узлом завязалась. Трудно невмоготу. С утра до вечера в школе. Первую смену отучит, за вторую принимается. Зарплата хоть и двойная, а все равно мизерная. На ботанику — ноль внимания, на зоологию — тоже. Это не русский, не математика — репетиторством не подработаешь. Фауна и флора никого не интересуют. Продовольственных карточек три: детская, иждивенческая, служащая — много ли на них отоваришь? И кончаются силы. Чуть за тридцать, а нет их, ушли все в годы лихолетние.

Мягкая, теплая рука ложится на щеку.

— Здравствуй, мамуля,— очень по-взрослому сказала дочь.— Давай я тебе боты сниму, тапочки принесу... Я овсянку сварила. Бабушку покормила. Она спит... И ты покушай и ложись... Устала, наверное, Пчелка ты наша...

— Что?! — вздрогнула Варвара Алексеевна. — Пчелка?

— Конечно, Пчелка. Все работаешь и работаешь...

— Пчелка.— И добрые слезы очищения потекли по щекам.

И стало Варваре Алексеевне так легко, как было когда-то, целую вечность назад.

...Легко ей жилось с Николенькой. Свекор-профессор хмурился не больше часа и распорядился накрывать стол. Больших гостей не звали, шумного праздника не устраивали, но свадьбу честь по чести сыграли и в дом приняли как равную. От всяких домашних забот освободили — учись. По дому же управляется тетя Даша, пожилая деревенская девка, добрая и честная профессорская домработница. И дочку она поднимала. Привезет в садик — двадцать метров от университета,— Варька выбежит, покормит грудью и, не оглядываясь, назад на лекции.

Все скособочила, все разметала война.

Николеньку призвали в первый день. Через месяц свекор записался в ополчение, а спустя еще два на него пришла похоронка. В зиму сорок второго умерла Даша. Остались они втроем: больная, беспомощная свекровь, дочка-малышка и растерянная, бессильная Варвара Алексеевна.

— Пчелка,— повторила Варвара Алексеевна.

Она глядела в чистые глаза дочери и видела другие такие же прозрачные голубые глаза.

После торжественного профессорского застолья Николенька увел ее к себе в комнату, обнял, прижал к могучему плечу и прошептал: «Учиться. Теперь учиться, Варенька». Отродясь она ни от кого ничего подобного не слышала.

Жила в Полосках как речка текла — свободно и неизвестно куда. Всех забот-то набиралось — матери подмогнуть, отцова сло́ва не ослушаться. Буквам дед научил. Да разве поймешь что научил — отыграл дед азбуку. «Цо такое, Варька, «аз» будя?» Маленькая Варька ковыряла в носу, крутила головой и вдруг радостно указывала пальцем: «Анбар, дедуля!» Довольно улыбался пустым ртом дед и прутом чертил на земле букву и впрямь похожую на амбар.

Учение далось легко. Да и как в таком доме оно могло не даться! С университетом же вышла заминка. Все профессорские поколения вот уже два столетия учились и учили русскому языку, и чтоб кто-нибудь из этого дома занялся чем-то другим, не могло быть и речи.

Но вот ведь беда... И сегодня знакомые Варвары Алексеевны недоумевают: почему у нее, учителя биологии, в до-

ме никакой живности, ни кошки, ни собаки, не живет? Объясняют себе так: мол, бережет человек свою старинную квартиру, инкрустированный паркет жалеет, и с добрым сердцем прощают ей эту странность. Но правды никто не знает, в глаза не спрашивает, а Варваре Алексеевне и невдомек с кем-либо поделиться своим пристрастием.

С малолетства любила она природу, как саму жизнь, и чувствовала себя в ней, как дите в колыбели. Она ложилась в высокие травы, вслушивалась в их летнюю трескотню, осторожно ловила зеленых кобылок, любовалась ими, и казались они ей крохотными зайчатами. Любила ранним утром в лесу очутиться среди елок, сплошь посеребренных паутиной, и огорчалась, что солнце быстро проглатывает росу и нельзя теперь обойти воздушные домики паучков, как ни норови, порвешь их, невидимых. Могла подолгу, пока не затекут ноги, сидеть у большой игольчатой кучи и выглядывать того единственного мураша, который своим упрямством и настырностью восторгал ее вольную, бесшабашную натуру. Вечерних мотылей она жалела, как глупых слепых котят. Угловатых водомеров уважала за их бессмысленную деловитость и восхищалась их тонкими, как из соломинок сделанными, ногами. Терпеть не могла мух. Комаров же терпела, потому что убить комара — тяжелее плюнуть.

Варька совсем не боялась пчел. Она могла без страха накрыть ладонью сердито жужжащий комочек, взять пчелу пальцами и, смеясь, глядеть, как та пытается ее ужалить. И самое удивительное то, что пчелы на нее не обижались, будто чувствовали Варькину доброту, отпущенные на волю, они не мстили, улетали наверстывать потерянные секунды...

Ну разве мыслимо в доме завести мотыля или муравья? Не домашняя это живность — вольная и недолговечная. Никто такую любовь не поймет — осудит каждый.

Только раз в жизни открылась Варвара Алексеевна и услышала в ответ:

— Пчелка ты Пчелка, быть по-твоему.

И решилась судьба молодой Варюхи, жены подающего надежды потомка профессорской петербургской династии. Никогда после не назвал ее так Николенька.

— Пчелка,— повторила дочь,— пошли же я тебя покормлю.

И легко стало Варваре Алексеевне и покойно на душе.

«Ах, Титов, Титов»,— шептала Варвара Алексеевна, собираясь в школу.

Последние годы уроков за ней оставалось все меньше и

меньше. Никто не смел заикнуться о пенсии, деликатно намекнуть Варваре Алексеевне о быстротечности времени. Никто не мог представить школу без нее. Растерянные первоклашки уже на второй день успокаивались, глядя, как по-домашнему семенит по коридорам бабушка с указкой, а десятиклассники на выпускном вечере первые букеты преподносили безвредной ботаничке. Педсовет не походил на педсовет, если в углу учительской, где испокон века стояло мягкое кожаное кресло, не сидела с ободряющим мудрым взглядом покладистая Варвара Алексеевна.

Но уроков у Варвары Алексеевны становилось все меньше и меньше. Приходили молодые педагоги, и она отдавала им предметы, часы, классы. И настало время, когда себе она оставила только самое трудное — программу восьмого класса «Анатомия человека».

Этим гордилась и мучилась Варвара Алексеевна.

Ни к одному предмету не относилась она так бережно и ревностно. Мягкая, добрая, снисходительная, она вдруг становилась требовательной до придирчивости, убежденная в том, что человек, чтобы прожить долгие годы, должен изучить свое тело, как таблицу умножения. И хоть чувствовала, что в чем-то изменяет характеру, больше ребят переживает за лишние двойки, оставалась непреклонной, неожиданной строгостью заставляла классы чуть ли не зубрить предмет.

И только раз за весь учебный год она терялась, становилась беспомощной и бесхарактерной. Ни доброй, ни строгой — никакой, словно пустой лист бумаги. С превеликим удовольствием пропустила бы Варвара Алексеевна этот урок, лишь бы не глядеть в повеселевшие глаза класса. Она не любила этот час давно и стойко. Понимала — никуда не уйти от него и все-таки не могла перебороть неприязнь к нему и потому каждый раз мучилась, начиная урок.

— Сегодня мы переходим к параграфу шестьдесят один,— говорила Варвара Алексеевна и ловила себя на мысли, как часто менялся номер этого параграфа в учебнике. — Тема урока: «Развитие человеческого организма»...

Здесь Варвара Алексеевна делала паузу — главное она сказала. Теперь несколько минут она может прямо смотреть в глаза детям.

— Изучая ботанику и зоологию, вы узнали, что размножение наряду с питанием, дыханием, ростом и развитием свойственно всему живому...

Дальше она с легкостью рассказывала о делении одноклеточных организмов, об икринках, которые вырастают в огромных рыб, о том, как подолгу высиживают птенцов

пернатые... Так бы и говорила до конца урока, но что делать? — все давно пройдено, усвоено, и в общем-то это вступление никому не нужно.

Варвара Алексеевна неслышно вздыхала и, отведя взгляд, приступала к существу темы.

— Многие из вас давно не верят в аистов, капусту, магазины, но, наверное, часто задают себе вопрос: «Как же зарождается человек?»...

На этих словах Варвара Алексеевна поднимала взгляд и успокаивалась. Класс тих и даже равнодушен. Все идет хорошо, внимание притупилось, можно быстренько проговорить главное. Она берет в руки мел и, повернувшись спиной к классу, чертит на доске неровный кружок — «яйцеклетку» и маленьких головастистых червячков — «сперматозоидов».

— Подобно всем высшим многоклеточным животным, организм человека развивается из одной клетки — оплодотворенного яйца, которое образуется в результате слияния двух клеток: мужской... — слово «сперматозоид» она опускала,— и женской — яйцевой клетки. Половые клетки у человека образуются в половых железах...

И дальше быстрее, быстрее, стук-стук мелом — кружок, червячок. А за ними сыплются слова, словно дождь, мелкий и скорый. Вот сейчас тихо пройдет, землю не замочив, и опять распогодится...

— Половые железы развиваются постепенно и начинают вырабатывать гормоны с двенадцати—пятнадцати лет...

Варвара Алексеевна бросает мел и под оживленный шумок класса оборачивается. Но шум ее уже не тревожит, наступают минуты передышки. Теперь она подробно расскажет о генах, о строении молекул ДНК, о хромосомах, о структуре белков. Раньше у нее не было такого отдыха, как не было самой науки генетики. Но вот на старости лет повезло — под таинство человека научную базу подвели. Хорошо сейчас Варваре Алексеевне, устойчив взгляд, прям, открыт... А урок заканчивается, и хочешь не хочешь, надо возвращаться опять к тому, с чего начиналась тема, к недетскому этому вопросу.

— Когда, снабженные цитоплазматическими жгутиками, мужские клетки встречаются с неподвижной и гораздо более крупной яйцевой клеткой, рисунок сто сорок восьмой,— «Господи, опять чертить на доске и бубнить в нее»,— вздрагивает Варвара Алексеевна,— ...ядра обеих клеток сливаются...

В классе тишина: ни скрипа парт, ни шороха, ни ше-

леста, только слабый голос Варвары Алексеевны и стук мела по доске.

Когда она заканчивала этот урок, ей всегда казалось, что побывала она в бане, так легко и свободно дышалось. А заканчивала она всегда одинаково, как и тысячи других.

— Итак, мы прошли новую тему. У кого будут вопросы?

Класс деликатно отводил глаза в сторону, и Варвара Алексеевна в душе еще раз убеждалась в своей правоте и убежденности, что зряшный этот урок давно пора перенести в институтские аудитории, да и то биологических факультетов, чтобы не мучить учителей и не затуманивать головы детишкам.

Но в тот день... «Ах, Титов, Титов...»

Варвара Алексеевна уложилась раньше времени. Не рассчитала своей скороговорки, и вот пауза. И чем ее заполнить, не придумает.

— Варвара Алексеевна,— поднял руку Титов.— А, Варвара Алексеевна, можно вопрос?

— Конечно же можно,— сказала она, а сердце екнуло.

— Варвара Алексеевна, так все понятно, но вот я никак не могу себе представить, как это я произошел из червяка, вон из того, что на доске...

Варвара Алексеевна еще в самом конце объяснений поспешно стерла все, что нарисовала мелом, но в углу доски каким-то чудом уберегся от тряпки один крохотный «сперматозоид».

— Садитесь, Титов,— в прострации сказала она.

И на секунду не могла Варвара Алексеевна допустить мысль, что этот старательный, аккуратный мальчишка задал ей вопрос из озорства. «Что-то впопыхах я упустила, где-то не договорила»,— укорила она себя. Но как не хотелось возвращаться назад! И уйти от ответа не могла. Если бы не тема, с какой бы радостью повторила все с начала! Она принесла бы Титову пяток популярных книжек из собственной старинной библиотеки, таких замечательных, каких не достать теперь. И все у него встало бы на свои места, стало бы ясным и простым, как собственное дыхание. Но что ей делать сейчас, сию минуту? Почему? Почему она должна тревожить детские умы?! Все же придет само, как приходит весна, все в свое время!

Варвара Алексеевна взяла в руки мел, подошла к доске.

— Подобно всем высшим многоклеточным животным, человек, как многоклеточный организм,— она решила повторить только самую суть,— развивается...

Раздался звонок с урока.

Варвара Алексеевна вздрогнула, но обрадовалась и облегченно вздохнула.

Класс сдуло на перемену.

На улице Варвара Алексеевна быстро успокоилась. Домой она шла по набережной Невы. Дорогой этой ходила всю жизнь. И часто в пути покидали ее грустные мысли. Как валерьянка действовало на нее многообразие знакомых домов, гранит и металл памятников, дыхание серых вод и даже свежий задымленный ветер с Финского залива. И хотя с годами путь удлинялся — уставали ноги,— она не пользовалась транспортом, а ненадолго присаживалась в набережном сквере на скамейку и вслушивалась в гортанные крики ненасытных чаек, басовитые гудки буксиров, в плеск тяжелых серых вод, и не шум приморского города слышался ей,— звучала мощная, могучая симфония без начала и конца, без автора и исполнителей, рожденная в веках и уходящая в века. И Варваре Алексеевне порой казалось, что живет она уже вторую, а может быть. и третью жизнь, и даже совсем не исключала того, что судьба подарила ей вечность, как подарила ее городу, дому, квартире.

Сегодня она не присаживалась, спешила со своими мыслями домой. «Ну и что из того — кольнуло под лопаткой? Возраст. А ум у Титова, видать, аналитический. Не смог мальчишка так на веру представить тайну зарождения жизни». Она вспомнила, как звонок оборвал урок, как бездумно сорвался класс на перемену, а вместе со всеми и Титов, кажется первым вылетевший в коридор. Варвара Алексеевна улыбнулась и окончательно успокоилась.

Дома, как всегда, ласковое тепло. Она переобулась в войлочные тапочки и заскользила на кухню. Школа совсем забылась. Кастрюли, плошечки, ковшички, мисочки заурчали, зашипели на плите, духмяно запыхтели крышечками. Другая, суетливая жизнь захватила Варвару Алексеевну. Скоро прибежит внучка, будет из-под рук кусманичать, смеяться и озорничать. Потом придет дочь, усталая, с кипой тетрадок под мышкой. Сядет к накрытому столу, помягчеет и не заметит, что морь отошла не сама собой, а это Варвара Алексеевна маленькими хлопотами и кулинарными хитростями утешила ее. Поднимется, скажет: «Спасибо, Пчелка»,— чмокнет в щеку и уйдет в свою комнату дорабатывать день. Проверит десяток тетрадок, не почувствует и сама, как сморится на послеобеденный сон. Тогда Варвара Алексеевна тихонько унесет тетрадки к себе, и, хоть не «химичка» она, проверит все до одной, ни малейшей ошибки не пропустит. И снова—чмок в щеку,

спасибо, Пчелка, а ей большего и не надо. Маленькая радость — тоже счастье. Жить бы так и жить...

«Ах, Титов, Титов...» — убирая посуду, вздыхает Варвара Алексеевна.

На следующий урок Варвара Алексеевна пришла успокоенной и задумчивой. Заканчивался учебный год. Еще два параграфа, пару уроков на повторение, и до осени она расстанется со школой. Никому и никогда не призналась бы старая учительница, что каникулы она любит не меньше школьников. Что-то в них есть по-человечески красивое, как в большой правительственной награде за долгий и тяжкий труд. Она знала — пройдут дни, улетучится ощущение свободы, и снова потянет в классы. И будет нарастать тоска по школе, и ничего с ней не поделаешь, пока желтый звонкий сентябрь не объявит о себе голосистым первым утром.

Варвара Алексеевна выслушала дежурного по классу, отметила в журнале отсутствующих, привычно сказала:

— Переходим к новой теме. В параграфе шестьдесят два...— и взгляд ее натолкнулся на поднятую руку Титова.

Все вспомнилось, все всколыхнулось.

— Что у вас, Титов? — машинально спросила Варвара Алексеевна, а говорить ей этого не хотелось.

— Варвара Алексеевна,— Титов поднялся,— я внимательно дома прочитал предыдущий параграф и все-таки никак не могу понять, как это я...

Варвара Алексеевна растерялась. Она глядела в чистые, честные, немигающие мальчишечьи глаза и ни о чем не думала. Какая-то звонкая пустота окружила ее. Показалось, пропал слух. Титов говорил, а она не слышала его. Лишь глазами понимала, о чем он спрашивает. Такого с ней еще никогда не случалось. Это не был обморок. Сердце билось спокойно. Ни холодного пота, ни бледности она не ощущала. И все-таки что-то не совсем объяснимое происходило с ней. Вдруг она снова услышала легкий шум класса и то, как скрипит пол под переминавшимся с ноги на ногу Титовым. И мгновенно какие-то новые силы, как второе дыхание у спортсмена, вошли в нее.

— Хорошо,— уверенно сказала Варвара Алексеевна.— Садитесь, Титов. Сегодня мы подробно разберем прошлый урок. Прошу всех быть предельно внимательными... Возможно, многие из вас, как и Титов, задумались над тем, как рационально и просто распорядилась природа, заботясь о продолжении жизни на земле...

Сегодня Варвара Алексеевна говорила с классом другими словами, в «скользкие» определения вкладывала новый смысл и человеческое звучание. Она как будто забыла о методических указаниях, требовавших узкого развития этой темы. Она ушла далеко от самого понятия «зачатия», чтобы потом исподволь подойти к нему, и рассказать о нем чисто, как о первом девичьем поцелуе. И Варвара Алексеевна говорила о живом мире планеты, постепенно приближаясь к человеку, который в этом мире вырвался вперед, занял высшую ступень развития, но в самом тайном и сокровенном не смог никуда уйти от природы, так и остался ее детищем, ее наиболее совершенным созданием, и потому приходится ему мириться с тем, что все живое на земле, и он сам, близкие родственники, и даже простой земляной червь — его дальний предок, его праотец, его изначальная жизнь...

— Вот и я думаю, как же так, я и червяк? — поддакнул Титов.

И Варвара Алексеевна сбилась. Не от реплики Титова. Она вдруг увидела, что класс занят чем-то другим, в другие учебники и тетрадки уткнулся носами. И только Титов, как первоклассник — руки сложены квадратиком, спина прямехонько, уши в растопырку, глаза блестят. Она вмиг растеряла прежние слова и на полпути вернулась к учебнику. Поняла это и чуть совсем не прекратила объяснение. Но тут страшная догадка забилась маленькой жилкой на виске, она прижала жилку пальцем и, повернувшись к Титову, только ему, не помня как, досказала тему.

А Титов героем ходил по школе. Перед Варвариным уроком он и не думал задавать ей тот дурацкий вопрос. Прошлый раз вырвалось само собой. «Тоже мне умники, а кто видел?» — подумалось ему, вот и ляпнул. Сегодня — другое дело. Гениальная мысль посетила его друга перед анатомией. «Слушай,— сказал Женька Петров,— задай свой вопросик Варваре».— «Зачем?» — насторожился Титов. «Тебе-то незачем, об обществе подумай. После ее урока городская контрольная по физике». Титов знал физику, как мелочь в своем кармане, и ему этот ералаш действительно был ни к чему. Но подвести друга, который из четверти в четверть тащился, как сапер по минному полю, он не мог. Да и знал — класс оценит. Вот и пришлось таращить глаза одному за всех. Вначале хоть интересно было, о чем-то неизвестном Варвара говорила, а как черт его за язык дернул, так скукота пошла, все по учебнику дальше шпарилось. Ничего — вытерпел. Теперь вся школа о его подвиге жужжит.

И Титову хорошо.

Совсем плохо Варваре Алексеевне стало дома. Не помогли ни мягкие тапочки, ни старые теплые стены, ни квартирная домовитость. Впервые за последние многие годы она ничего не сготовила, не прибрала. Прошла мимо кухни к себе в комнату. Легла на кровать. Маленькая жилка то успокаивалась, то опять стучалась в висок. Незнакомая тупая боль не отпускала голову. И сквозь нее, то ли сон пришел, то ли туманная явь обложила, увидела Варвара Алексеевна свою квартиру в тот далекий, больной и серый вечер.

...Год назад ушла из жизни свекровь. Тихо унесла ее старость в мир иной. Грусть и долгие молчаливые вечера поселились в комнатах. Осталось их двое — круглых сиротинушек. Об утрате горевали в одиночку. Берегли друг друга от воспоминаний. И год тот тянулся как вечность. И вдруг в один вечер, в самый поздний его час, взорвалась жизнь вспышкой молнии в глазах, а сердце как холодной водой окатили. Плакали обнявшись — слезы перемешались. И порешили не губить жизнь, рожать решили дите. «Ох, Пчелка, Пчелка,— уткнувшись ей в плечо, всхлипывала дочь. — Только и твердил, мол, не бывает без этого любви. Если б я знала...»

Сквозь дремотное отчуждение услышала Варвара Алексеевна легкий хлопок двери, знакомый шорох в прихожей. «Лапушка, гуленька, кровинушка маленькая пришла»,— подумалось привычно. Свежей изморозью пахнуло в комнату.

— Пчелка, что с тобой? — тревожно и плаксиво спросила внучка.

— Ничего, маленькая,— подставляя щеку под поцелуй, сказала Варвара Алексеевна. — Погода, видать, шалит — старую и скочевряжило. Сейчас подымусь, что-нибудь на скорую руку и сварганим...

— Лежи, лежи, Пчелка, я сама. — И убежала на кухню.

Варвара Алексеевна глянула ей вслед, и сердце опять сжалось.

Сколько раз потом, когда отошла горесть, когда нежданное несчастье в радость переплавилось, когда люлюкали и тискали, совсем глупые песни напевали, ночи не спали, когда наглядеться не могли на золотце свое, крохотулю, сколько раз потом вглядывалась Варвара Алексеевна в почти девчоночье лицо дочери и не могла понять, откуда в ней появились эта взрослость, уверенность, стоичность. Себя она понимала, и очень хорошо. Лихолетье от-

няло у нее Николеньку, а верность никто не отнимал. По-разному она хранила ее — то дочь подымала, в жизнь выводила, потом годы сдерживали — ушло амурное время. И все эти годы жил он в ее сердце сильным, добрым, заботливым. И если честно, то ждала же, надеялась. Без вести пропал — худые слова, а все же обнадеживающие. Тем и жила, тем и держалась.

Но дочь? Какую память хранит она? О ком? Ни фотокарточки не видела Варвара Алексеевна, ни имени не слышала. Так, неизвестного вида многоклеточный организм. И все. Без войны, а вдова, без венца, а мать. Просто женщина.

«Господи, малышку сохрани!» И так стало тревожно, что, забыв про боль и жар в голове, поднялась и заспешила на кухню, ко всему готовая, хоть сейчас услышать страшное, повторное. Заглянула в глаза внучки и отлегло, отпустило душу.

Девичьим светом горели они.

И вот ведь человек как устроен. К вечеру Варвара Алексеевна и сама не заметила, как вернулась к ней ласковая, устоявшаяся жизнь. Хорошо ей стало и гордо. Глядит и радуется — вон какие красивые и ладные ее кровинушки, ее ласочки. Плохое ушло, и дай бог, чтоб никогда не вернулось. Варвара Алексеевна разблагодушничалась и рассказала о любознательном Титове.

Улыбнулась дочь, засмеялась внучка. Весело посмотрели на Варвару Алексеевну, промолчали. А она и не ждала большого разговора. Рассказала, и совсем ей покойно стало. Нет тайны — легче живется.

Утро и вовсе выдалось благодушным. Вроде даже бездумным. В легкой суете, приятностях от ощущения жизни прошло оно. И лишь телефонный звонок, короткий разговор с дочерью, чуть всколыхнул память.

«Ах, Титов, Титов!» — повторяла Варвара Алексеевна, поспешая в школу.

Весна еще зябко, но уже давала знать о себе. На солнечной стороне пригревало. Правда, нестойкое это тепло тут же сдувал сырой ветер с Невы. У домов хоть и тень, и зима еще как будто, но куда как уютней, уверенней чувствовалось Варваре Алексеевне. К весне — привыкнуть надо, а тут все по-прежнему, как вчера, как неделю назад. Да и опасности никакой для задумчивого человека. Вдоль стеночки, вдоль стеночки — машины, трамваи пускай там бегут, а здесь покойно и даже одиноко.

Варвара Алексеевна чуть спешила и этим выделялась среди редких прохожих. Людской поток давно схлынул с улиц, укрылся за стенами институтов, цехов, учреждений,

и второй наплыв миновал—открылись магазины. Ну, а те, кто сейчас шел навстречу, давно уже не спешили. Повстречав торопкую Варвару Алексеевну, они сочувственно качали головами ей вслед. «В волнении старый человек. Ох, ох, жизнь, и не помрешь спокойно»,— долго думали люди и шли дальше по своим неспешным делам.

А Варвара Алексеевна и вправду разволновалась. Вспомнились ей вдруг учительские годы. Один за другим. И путь до школы-то всего-ничего, но вот ведь мысль человеческая — секунды достанет, чтоб вся жизнь пролетела, так день за днем и проскочит.

...Первые ее ученики — предвоенные мальчишки и девчонки. Бесхитростные мечтатели, розовые оптимисты, не в самих себя, не в сверстников своих влюбленные,— в челюскинцев, в Чкалова, в радио. Она вспомнила их большущие глаза. Похоже, сплошь они были голубыми. И не чистое небо отражалось в них,— время ополаскивало наивной чистотой.

...Другие мальчишки и девчонки. Изможденные лица, горькие, запавшие, тяжелые, как свинец, глаза. Ребята без возраста, бестелесные подростки, не чувствующие собственного веса, лишь ощущающие живот, который для них все: и дыхание, и сердце, и кровь, и жизнь,— дети блокадных зим.

...И толпы послевоенных ни то ребят, ни то мужчин, ни девчонок, ни женщин, всезнающих и совсем сопливых, смешанную ватагу недомерков и переростков, ловящих на лету и мудрость жизни, и хлесткий мат. Стайки полублатных, издерганных неустроенностью, забитых дворами, залапанных суровой улицей огольцов и пацанок. Одинаково лишенных детства и потому нелюбопытных, знающих все и ничего.

Эти сотни детских и недетских глаз Варвара Алексеевна могла обвинить в чем угодно — равнодушии, презрении, наплевательстве к ее предмету, к ней самой, как олицетворению чего-то ненужного, бесполезного в их сложных жизнях, только не в том, куда хочет заглянуть Титов. Это им ни к чему, не то что нынешним.

В коридоре ее девчоночья мысль настигла: «Вдруг Титов заболел?» И, поймав себя на ней, даже не улыбнулась, такой заманчивой она показалась. Нету Титова — и заботы на сегодня никакой.

Прошла к столу. Оглядела класс. Титов копошился в сумке. И она решилась. «Ну что ж, пусть будет по-титов-

ски. Сегодня она проведет урок так, как хотят эти мальчишки и девчонки. Сегодня она не собьется. И вопросов к ней не будет. Не останется их в этих аналитических умах». Но как не хочется этого делать! Кто они, эти повзрослевшие дети? Дети! Куда они торопятся? Зачем докапываются до истины? До истины, которую познает каждый. Которая поразному осядет в душе — и радостью сердечной, и счастьем на всю жизнь, и болью непроходимой, и горьким слезным разочарованием...

Варвара Алексеевна украдкой глянула на Титова, и пыл ее угас. Гладкое, как бильярдный шар, лицо, румянец во всю щеку, припухлые яркие губы, непокорный хохолок на затылке. Нету сил взрослым умом втолковывать, втискивать в детские души простое и сокровенное. Это все равно что сеять в неотогретую землю — губить урожай на корню. И не может она идти против совести, а совесть ее там, в чистоте детских глаз.

И пусть они до поры остаются прозрачными.

— Сегодня мы завершаем изучение предмета «Анатомия, физиология и гигиена человека»...

Но что такое? Варвара Алексеевна сделала паузу и поймала себя на мысли, что ждет вопроса от Титова.

А Титова вовсе и не было на уроке. Это только так казалось Варваре Алексеевне, что сидит перед ней рослый мальчишка, в общем-то умница, наверное послушный сын, неплохой ученик, еще не юноша, но уже не ребенок. Но на самом деле Титова сегодня не было в классе. Он прогуливал урок анатомии, сидя за партой.

И не в предмете было дело, который он вообще-то не очень уважал: то же было бы сейчас на физике, математике, химии — его любимых уроках, даже если бы можно такое представить, готовился бы он к космическому полету,— его бы сегодня не было на тренажере. Ничего в мире не интересовало его в эти минуты. Впервые он жил воспоминаниями. Переживал заново прошлое. И готов был к нему возвращаться сколько угодно, лишь бы снова ощутить вчерашнее.

...Они встретились в семь. Он и Маринка Абраменко, девчонка из параллельного восьмого класса. Встретились они, наверное, в сотый раз. С третьего класса Титов таскал за нее портфель.

Черноволосая, черноглазая, как большинство брюнеток, броская лицом, не по летам развитая, похожая на маленькую, чуть полноватую женщину рядом с длинноногими, тон-

кими, как чертежные рейсшины, одноклассницами, Маринка могла бы захороводить любого десятиклассника. И многие из них завидовали Титову. Правда, он об этом не догадывался да и просто не мог предположить, чтобы эти верзилы как-то интересовались ими, малявками. Маринка ему нравилась, но почему — он не знал.

Вчера они пошли в кино. Как и тысячу раз доныне, лишь погас свет, Титов нащупал Маринкину ладонь, и так до конца сеанса продержал ее в своей. Из кино он в тысячу первый раз пошел провожать Маринку и вдруг почувствовал какую-то неловкость. Спустя минуту понял — сегодня они почему-то молчали, не говорили о фильме, будто и не смотрели его. Он ждал, что первой заговорит Маринка, но она шла как во сне, не замечая ни луж, ни ветра, ни его, шагавшего рядом. Так, молча, и дошли до парадного.

Во дворе было пусто. Мелкий весенний дождь покалывал лицо. Титов, как обычно, хотел попрощаться и бежать домой, но опять его что-то остановило, он не мог протянуть ей руки. Маринка тоже не уходила. Стояла, плечом прикрывая щеку от дождя. И вдруг потянула его за рукав в парадное. Громко хлопнула пружинистая дверь. Маринка прижалась к теплой батарее, согревая руки. Титов стоял, глядел ей в затылок, и черный завиток волос выскользнувший из-под шапки, почему-то привлек его внимание. Хотелось дотронуться до него, убрать с глаз долой.

Наверное, прошла минута, а может быть и гораздо больше. Маринка медленно обернулась, приложила теплые руки к его щекам, поднялась на цыпочки и поцеловала в самый край губ. Титов прижался к ней, заспешил, ткнулся в мягкие, полные губы. Они вдруг сжались и закусились, но лица Маринка не отвела. Так они и стояли — сколько хватило дыхания. Потом Маринка уткнулась головой ему в плечо и еще теснее прильнула к нему. Титов грудью почувствовал ее твердые, упругие груди...

Он пришел домой, когда заканчивался фильм по третьей программе.

И не было у Титова ночи, не было утра, не было сейчас ни класса, ни школы, ни учителей, ни оценок, ни друзей — ничего не было вокруг.

Был он и она. И еще его ладони, хранящие тепло девичьей груди и запах Маринкиного платья.

Варвара Алексеевна вела урок спокойно. Аккуратно чертила на доске, размеренно диктовала дополнительный материал, говорила ровно, несбивчиво, изредка поглядывала на Титова. Вначале украдкой, потом открыто, а под конец урока ему только и досказывала материал и почему-

то с минуты на минуту ждала: вот он подымется, возмущенно и наивно спросит: «Варвара Алексеевна, что вы ни говорите, а я никак не пойму...» Не спросить он не может, иначе... Варвара Алексеевна подумала, что в конце концов мальчишка прав, ведь что греха таить, тема только включена в учебник, а изложена бегом, скороговоркой, будто сами авторы плохо ее представляют, и как же, скажите на милость, нормальному восьмикласснику, почти юноше, так, на веру, взять умом, что он, такой сильный, задиристый, самый умный, самый красивый, вымахал из ничего. Но Титов молчит, и тогда... Он уже все знает! Неужели ее кто-то чужой, недобрый опередил и облил грязью простую, как свет, и такую же необъяснимую тайну человеческой жизни? И виновата в этом она, потому что не может себя перебороть и всегда будет считать урок этот зряшно потерянным временем. Но тогда ей грош цена, коль ее ученика просвещает улица, в закоулках находит он ответы на все не по летам вопросы. Но как же быть? До конца урока оставались секунды...

Варвара Алексеевна умолкла и с тающей надеждой прямо в упор поглядела в глаза Титову. А тот смотрел сквозь нее, сквозь стены в необъятную даль какого-то другого мира.

«Вот и все! — не дождавшись вопроса, подвела итог своим мыслям Варвара Алексеевна.— Я этих ребят разучилась понимать. Достанет ли оставшихся лет, чтоб, хоть в малом, приблизиться к их непостоянным душам, понять, чем живут, чего хотят?»

Вернувшись из школы домой, как всегда, раньше всех, Варвара Алексеевна по привычке занялась хозяйством. Мягкие войлочные тапочки, тишина, неспешные хлопоты, как вовремя поставленный горчичник, облегчили, оттянули непрошеную хворь, помутившееся было настроение.

Из дубового буфета достала Варвара Алексеевна скатерть, застелила стол в гостиной, старинного фарфора чашки расставила, хрусталь-баккара не пожалела, протерла от пыли, полюбовалась искорками на бокалах, присовокупила к чашкам, отыскала заветный графинчик с многолетней настойкой, водрузила его в центре стола.

Припылился графинчик, окрепла настойка. Но сегодня пришел черед всему заветному. Без гостей, по-домашнему звонко пропоет хрусталь за Варвары Алексеевны здоровье, за ее долголетие.

Управилась в гостиной, проскользила на кухню. Замесила крутое тесто, принялась за начинку для пирогов. А мысли сами по себе текут, делам не мешают.

«А ведь ничего страшного не произошло,— сейчас очень спокойно рассуждала сама с собой Варвара Алексеевна.— Не понимаю ребятишек, ну и что из того. Видать, переработала я. С каждым такое может случиться...»

Конечно, есть и в этом беда. Но, слава богу, беда малая, большая бы пришла, пойми она все позже на пятьдесять лет. Сколько бы вреда могла принести наивной старостью своей. Страшно подумать! И зачем упрямиться? Не надо считать, что прожитые годы дают человеку право на какой-то исключительный, всеобъемлющий ум. Она учитель, а учить можно лишь тогда, когда понимаешь тех, кого учишь, когда знаешь, что им надо сегодня, сейчас, что им понадобится завтра. Иначе все твои слова — пустота и веры в них никакой. Учитель что артист — лучше на пять лет раньше уйти со сцены, чем на пять минут позже. Раньше у нее не получилось, но и не очень-то припоздала. Вроде в самый раз...

— Пора на пенсию,— вслух сказала Варвара Алексеевна улице и голосистым чайкам.

И тут же, как недавно в школе, когда подумалось об этом впервые, зло и больно, как комар, ужалила эта мысль. Но теперь она легко, будто это действительно был комар, отогнала ее. Варвара Алексеевна больше не хотела поддаваться чувствам сейчас, она доверяла только разуму. Расставание с учительской, кабинетом биологии, классом, школой — пустые сантименты. Всплакнет, выпьет брома, и все пройдет, все уляжется. Время неумолимо — вот что разумно. Пришло ее время уходить, время других идти вперед. И дай бог им вовремя остановиться...

Тесто поднялось, просилось в пироги. Стрелки на часах будто заспешили. Забыла про все Варвара Алексеевна, стряпней в полную силу занялась. И волнения пришли другие — как бы вовсе не укатать слои, давно уже пирогов не строила. Но справила все ладно. Поставила в духовку, рядышком присела стеречь готовность.

«Ах, Титов, Титов!» — сокрушенно вздохнула Варвара Алексеевна.

Предательски вкрадывалась грусть. Встала перед глазами школа. Большое старинное здание. Всего четыре этажа, а поднялось — крыши ни за что не увидишь. Громадущие овальные окна, будто специально для солнца, чтоб входило оно не скупыми лучами, а вкатывалось бы в них. Залы прогулочные просторные, как городские площади. Мраморные лестницы. Перила с медными набалдашниками, чтоб не катались мальчишки по ним. Большой двор в каменных стенах — ворота всегда на замке.

Старилась Варвара Алексеевна — не старела школа. Будто ребячье многоголосье каждый год омолаживало ее. Сколько еще поколений переживет это здание? Вот уже и нет в нем Варвары Алексеевны. Пришла сюда почти девчонкой, уходит старым, странным человеком. Прошла долгая жизнь, как минута пролетела...

Варвара Алексеевна переставила противни, тяжело вздохнула. Но не жара от духовки, не хлопотанье внаклонку породили вздох. Вдруг, как при последнем прощании с родным человеком, скорбно сжалось сердце.

«Что это я в похоронные думы свернула?» — через силу возвратилась она к добрым мыслям.

Варвара Алексеевна вышла из кухни в прохладу гостиной. Потрогала чашки на столе, покрутила баккара, повернула графинчик, погладила салфетку. Вернулась на кухню. Грусть ее не отпускала, но мягчела. Поспевал пирог в духовке. Подходило время, когда дважды сряду хлопнет дверь и квартира оживет голосами.

«Да разве закручинишься в таких хоромах? — ухватилась Варвара Алексеевна за спасительную новую мысль.— Сколько лет, из года в год, они откладывали ремонт. Давно пора побелить высокие потолки, подновить двери, окна, обои сменить. Только начни — на год хлопот хватит. Но зато потом еще большая радость придет. Так уютно станет, что не захочется тревожиться понапрасну... Еще портьеры давно просят штопки, совсем поизносились. Таких теперь не купишь, а другие, нынешние, к этой квартире не подойдут, но и старым пора поприличнее выглядеть. Тоже нешуточная работа. Метража в шторах не счесть. Снять да повесить их — неделя, если не месяц, минует. В столе письменном, прадедовском, не мешало бы разобраться. Ящики в нем что шкафы, бумаги в них лежат чуть ли не век. Люстру, пожалуй, не мешало бы обмыть, абажур выстирать. Часы напольные... Да их двинешь с места, потом работы на несколько лет, пока гири снова уравняешь. А как обои клеить и куранты не тронуть? Таких загадок здесь не оберешься, и на каждую немало времени уйдет...»

И так Варвара Алексеевна увлеклась будущим устройством своей береженой квартиры, что чуть пирог не прозевала. К сдобному аромату вдруг примешался прогорклый дух. Еле упредила беду. Вынула пирог из плиты, на стол уложила, подрумянившуюся сверх меры корку полила яичной водицей, гусиным пером, в масло обмакнутым, обмазала верх, края... Успокоилась за пирог, и все остальное улеглось в душе.

«Все что ни делается — все к лучшему»,— вековечной поговоркой добрых людей подвела итог мыслям и хлопотам Варвара Алексеевна.

За стол садились каждый по своему норову. Варвара Алексеевна торжественно-чопорно, с тайностью в глазах. Дочь настороженно-серьезно опустилась на стул, подозрительно косясь на графинчик. Внучка—беззаботно потирая руки и вкусно прищелкивая языком.

Ужин с теплым пирогом и настойкой терпеливо ожидал начала. Варвара Алексеевна не спешила объясниться, дочь не торопилась спрашивать.

— Долго вы молчать будете? Есть до ужаса охота,— подала голос самая младшая.

— Куда спешить? — одернула мать.— На Руси без слов пить — значит пьянствовать... Ну, что у нас за праздник, Пчелка?

— Никакого праздника, дочка,— Варвара Алексеевна потянулась к графинчику.— Просто день сегодня такой, с житейской отметиной.

— И чем он помечен?

— Пожелай мне, дочка, и ты, маленькая,— поднимая рюмку, сказала Варвара Алексеевна.— Пожелайте мне, как водится в таких случаях, здоровья, долголетия и заслуженного отдыха.

Рюмка дрогнула в руке дочери.

— Какого отдыха? — строго, будто не за накрытым столом, а в своем директорском кресле сидела, спросила дочь.

— Я же сказала: «заслуженного»... На пенсию я собралась, мои родные, разве не ясно? — Варвара Алексеевна сказала это просто, как о деле бессюрпризном, давно всеми решенном, обсужденном.

— На пенсию... Почему я ничего не знаю?

— А директор, мамуля, всегда такие новости последним узнает.— Внучка нетерпеливо принюхивалась то к настойке в рюмке, то к куску пирога в руке.

— Теперь вот знаешь,— сказала Варвара Алексеевна.— А ты, востренькая, не права. На сей раз наш директор первая услышала это потрясающее известие. Ну, с богом, пирог стынет...

Они пригубили настойку и молча, как того требуют все застолья, принялись заедать ее пирогом.

— Вкусно, Пчелка! — похвалила внучка.— Качественный... Теперь ты почаще пироги пеки. Ладно, бабуля?

— Как заслужите. У меня и без пирогов дел найдется.

— Какие дела на пенсии...

— Ешь и помалкивай,— вмешалась дочь.— Пчелка, что-то я не уясню... Откуда эта пенсия?

— Время приспело.

— А как же школа? Как же я? Где ботаничку такую найду?

— За лето подыщешь. Незаменимых нет...

— Милая Пчелка, мы, кажется, не с того конца разговор ведем. Ты прости меня, директор во мне сейчас говорил.— На секунду дочь задумалась.— Знаешь, так вот за час, даже за день люди не решают. О пенсии или мечтают, ждут не дождутся, или не замечают своих лет и чихают на нее. По крайней мере, в семье долгие разговоры ведут, планы разные строят. У нас же ничего подобного не было, слова такого не произносилось, и вдруг... А время, оно же давно прошло, и ты о нем не вспоминала... Ты понимаешь меня, Пчелка? Что-то случилось с тобой? Верно? Что?

Варвара Алексеевна мягко, без грусти улыбнулась.

— Я не вдруг.

И тут Варвара Алексеевна поведала обо всех перипетиях последних дней. Ничего не утаила. Все пересказала, будто пленку магнитофонную прокрутила. Снова пережила эти несчастливые уроки. Вернулась к своим расстройствам. Рассказывала вроде спокойно, но по голосу можно было понять, когда волновалась, где успокаивалась Варвара Алексеевна.

Ни разу ее не перебили, не переспросили, не уточнили. И это молчание самых близких ей людей приняла она за полное одобрение ее неожиданного поступка и в душе порадовалась, как умно и по-доброму распорядилась отмеренными ей судьбой днями.

— Наверное, Пчелка, во многом ты права,— задумчиво сказала дочь.— Хотя, думаю, немалая часть из всего существует лишь в твоем воображении. Но пусть будет так, как ты решила... И счастье твое, что дочь у тебя директор школы, будь по-иному — так бы легко я вас, Варвара Алексеевна, не отпустила на заслуженный отдых.

Варвара Алексеевна, довольная, что ее поняли, чуть улыбнулась. Погладила по голове внучку, спросила ее:

— Ну, а ты, маленькая, что скажешь?

— Я? Ладно. Хотите правду? Я их понимаю, твоих «детишек». Бабуля, милая, во всех твоих переживаниях — никакой проблемы... Надоела ты им, Пчелка...

— То есть как — надоела? — не поняла Варвара Алексеевна.

— Очень просто. Целомудренностью устаревшей, бережением своим никому не нужным... А Титов твой обыкно-

венный шалопай и недозревший хулиган. Давно он все и без учебника знает. Ему стриптиз подавай...

— Какой еще стриптиз? — спросила, лишь бы не молчать.

Никто не ответил. Да ответа и не требовалось.

Так неопределенно закончился этот стихийный торжественно-тревожный вечер, будто его обрубили.

Убрали хрусталь, скатерти сложили, наливку упрятали в буфет дожидаться не приходящих гостей, пирог отнесли на кухню, чтобы был под рукой. И разошлись по комнатам. Каждый со своими недоговоренными мыслями. Оставили их на предсонные минуты, надеясь перемудрить вечер.

Варвара Алексеевна не стала разбирать постель. Она села в глубокое старинное кресло, не раз усыплявшее ее житейские тревоги. Света не зажгла. На ночном столике нащупала пузырек с валерьянкой. Сосредоточенно, на слух накапала в стопочку лекарства. Подумала пройти на кухню, разбавить водой, Забылась. Валерьянка выдыхалась, наполняя комнату запахом больницы, тревожным запахом недомогания. Стопочка наклонилась в руке, опершейся о колено.

Варвара Алексеевна еще не совсем понимала, что с ней происходит. Она еще сопротивлялась мыслям, которые унесли ее из гостиной на кухню и теперь сюда в комнату. Гнала их прочь, но тщетно. Она боролась с ними в одиночестве и в этом чувствовала свою слабость. Сейчас ей, как никогда, хотелось оказаться на людях. В какой-нибудь пестрой, шумной, говорливой толпе. Чтобы та захватила ее, понесла в потоке разговоров, забот, состраданий, радостей, печалей, когда можно и нужно забыть все лично и жить чужим, как своим.

Но глухая тишина ее большой квартиры, огороженная столбовыми каменными стенами, не пропускала к Варваре Алексеевне даже малейшего шороха с замершей к ночи улицы.

Варвара Алексеевна прислушалась. Мелодичный перезвон донесся сквозь закрытые двери. Пели напольные часы. А ей почему-то показалось, что ожили колокола старинной церкви на набережной. Она непроизвольно глянула вверх, но вместо высокого звездного неба и золоченых луковиц с крестами увидала свои недосягаемые фигурные потолки. Впервые вдруг почувствовала их тяжесть. Хоть и высоки, а что им стоит обрушиться на нее, маленького человечка, упрятавшегося в засаленном поколениями дряхлом кресле. Ой, как захотелось встать и выйти отсюда! Но другой страх тут же приковал ее — испугалась

простого шага, одного шага по скользким рисованным полам, бесконечным, как городские улицы. И подумалось, что недостанет сил отворить резные, с медными витыми ручками, громадные двери.

Душно стало Варваре Алексеевне в комнате. Ни в одну из щелей — а были ли они? — не задувал ночной ветер. Двойные рамы, как магазинные витрины, надежно отгораживали ее от улицы. Настойчиво тянуло в коридор. Но она никак не могла побороть необъятные, неосязаемые страхи, не смогла выйти из комнаты в квартиру, которая сейчас ей представилась чем-то ужасно нелепым и уродливым, как давно отжившая, модная когда-то шляпка, как заброшенный потомками пышный кладбищенский склеп.

Она не знала, сколько вот так просидела, слившись с креслом. Думала ли еще о чем? Кажется, нет. А может быть, это был короткий обморок, который внезапно охватывает человека, не давая ему проститься с жизнью, и так же неожиданно отпускает, будто и не прикасался к душе. Тикали ходики. Молчала кукушка. Стрелки растворились в темноте. И опять невмоготу защемило сердце. Варвара Алексеевна докапала валерьянки в стопочку. Через силу поднялась. Как и не помнит решилась, как доплелась до кухни, плеснула воды, выпила. Чуток успокоившись за шалое свое сердце, без оглядки скользнула в комнату. Расстелила постель. Легла. Укрылась одеялом. Беззвучно ворвался в комнату лунный свет. Зазолотил лощеные полы, черными тенями вылепил потолочные вензеля. Холодный, безжизненный свет. И таким ознобом повеяло от него, что Варвара Алексеевна, как когда-то маленькая сопливая Варька, натянула одеяло на голову, свернулась под ним калачиком. Прерывисто задышала, и скупая слеза сама собой выкатилась на подушку. Так с непросохшей слезинкой и задремала она в середине ночи.

...Николенька, молодой, красивый, могучий, чинит ходики. Ржавая цепочка не двигается с места. Из дыры прохудившейся гири сыплется песок. Кукушка, скособочившись, торчит из крохотного окошечка. Кривые стрелки уперлись в циферблат. «Все, Варюха, вышло время. Пора на покой»,— задорно смеется Николенька. Варвара Алексеевна стоит рядом, гладит мужа по голове. «Прав отец-то был,— говорит она.— Не любил старик барахла. Барахло, оно всегда в самый нужный момент подводит». И слышит заливистый смех Николеньки. «Ну-ну, не горюй, Варька, быть по-твоему, починю тебе часики, будут куковать, годы отсчитывать. Не вперед, так назад пойдут. Какая тебе разница...» И со всего маху бьет молотком по ходикам. Разле-

таются они вдребезги. А Варвара Алексеевна гладит его золотистые волосы...

Проснулась... Рассвет еще и не наступал. Луна ушла за дом и теперь тяжелым белесым светом тревожила внучкин сон. Варвара Алексеевна вспомнила свой сон и обрадовалась. Она не любила снов — чего только не привидится. Всякая чушь несусветная. Но, не любя сны вообще, Варвара Алексеевна, возможно одна на целом свете, не только никогда не бежала в снах от умерших когда-то родных, наоборот, с большой радостью встречалась в дремотных часах с Николенькой, со свекром и свекровью. Ну, а где же еще с ними повидаться? Где, как когда-то, поговорить, обняться, улыбнуться и поплакать? Не страшны ей были такие сны. Повидается с родственниками, как душу очистит, сердце от тоски облегчит. И не беда, что ходики там, в нияви, сломались, так она же в приметы не верит. А здесь они вон тикают. Ходят себе и ходят, вот уже четвертый десяток, считай, ни разу в школу по ним не опоздала...

Школа... Почему-то не захотелось вдруг допускать ее близко к сердцу.

А вспомнились ей сонные Полоски — тихая деревенька на пригорке близ путаной, как кружева, речки, небогатые поля, безлюдные рощи, высокие травы, неохватный простор — далекая, как звезды Вселенной, родина Варвары Алексеевны. Другими она не помнила Полоски, да и не могла помнить другими. Как укатила тогда с Николенькой, так и не довелось больше повидаться с родными местами. До войны не собралась, а после уже было ни к чему. Ни отца, ни матери, ни деда — никого! — всех в одночасье порешил немец. Эту глубокую скорбь доставила в город почти незнакомая полоскинская тетка, перебиравшаяся в послевоенные годы поближе к многолюдью. Какими судьбами, неизвестно, забрела она как-то на Васильевский остров, постучалась в старинную квартиру, присела на краешек стула в кухне да так вот, с порога, и огорошила. Всплакнула и ушла искать сытое житье. С того часа позабылись Полоски, будто их и вовсе не было на земле.

А вот сейчас — через столько-то лет! — вспомнились. И так Варвару Алексеевну потянуло на холмы у извилистой речки, так ей снова захотелось окунуться в пахучие травы, заглянуть в высокое небо, забыть свою прошедшую жизнь, так захотелось снова встретить Николеньку там и ни за что не уезжать с ним в большой каменный город, там его уберечь, укрыть, оградить околицей и жить, жить, жить с ним в Полосках, как живет все живое там, где увидело свет, где вдохнуло воздух, где почувствовало землю.

Серый рассвет мягко, словно пушистый домашний кот, соскользнул с подоконника в комнату. Неслышно распластался на полу. Шесть раз прокуковали ходики. Варваре Алексеевне показалось, что она дремала и Полоски ей приснились. И опять кукушка напомнила о школе. Подумалось — сегодня предпоследний урок, потом каникулы. «Какие каникулы?» — спохватилась Варвара Алексеевна. Не будет у нее больше любимых школьных каникул. Будут одни, долгие ли, короткие ли, серые, грустные, как облака, неизвестно куда плывущие, где исчезающие, неопределенные каникулы до самой смерти.

Последнего дня Варвара Алексеевна не страшилась. Столько она пережила смертей, что о собственной просто не задумывалась. Да и жизнь для нее была чем-то безграничным, жилось как жилось, как живут морские волны, как ветер, солнце, дождь — все в своем естестве, и где-то среди них ее местечко, ее природное назначение. Не боялась смерти Варвара Алексеевна, как не страшатся ее трава, листья, цветы. А вот оставшихся дней, отмеренных ей судьбой, вдруг испугалась.

«Да что ж я делать-то буду? Куда день умаю в этой дворцовой квартире? Дышать в потолки, скользить из угла в угол, скрываться за стенами с глаз людских? Разве кому польза от этого?»

Плохо опять Варваре Алексеевне, очень плохо. Горько и зыбко на душе. Не хочется подыматься. Не хочется видеть свою квартиру, так напугавшую ночью.

Но пора. Три четверти седьмого отсчитали куранты. Громадные, как шкаф, и — тьфу их — голосистые, будто колокол. А не встать нельзя. Голодными ее лапушки, кровиночки умчатся по умным своим делам.

При свете дня ночные страхи расплылись.

Посвистывает чайник на плите, бурчит каша в кастрюльке, желтой пленочкой схватывается молоко. А Варвара Алексеевна и тут, и не тут, руки сложены на коленях, вроде как опустились сами, и все же не сами.

«Что же это я в одночасье и как вниз головой с крыши? — сетует она.— Что ж я квартиру-то охаяла, гробницей ее посчитала? Дом свой, где человеком стала, дите вырастила, где любовь познала, слезы проливала, очаг мой в хлам зачислила?»

Парил чайник, загустела-успокоилась каша, притомилось молоко. Варвара Алексеевна не шелохнется.

«Конечно, все очень просто,— соглашается она.— Я на-

добела. Меня не любят. Надо мной смеются. Меня выживают. Но кто? Маленькие неразумные существа, жестокие, как мураши. Да имеют ли они право диктовать условия? Кто меня посылает на пенсию? Сама я и посылаю. И только потому, что мальчишка позволил себе посмеяться над моей старостью. Да, я старый человек, совсем с иной закалкой, может, таких скоро и не останется вовсе, но с какой стати я должна вот так легко и уступить? Уйти с дороги этого нового поколения, потому что оно знает с пеленок больше, чем я после замужества? Поколения, которое привыкло к легкой жизни, к легким победам, которое пестуют и лелеют, и потому самое жестокое, самое равнодушное поколение».

И вот теперь она хочет отступить, зная, что это будет еще одним шагом к тому, чтобы эти маленькие бездельники, бездушные титовы почувствовали свою безнаказанную силу.

Прогорклый вкус завтрака вроде никто не заметил. «Спасибо, Пчелка». «Спасибо, Пчелка». Чмок в щеку — в одну, в другую. И упорхнули, ни словом не обмолвившись о вчерашнем разговоре.

Не ведала Варвара Алексеевна, что такое месть. Хоть и не легкая ей выдалась жизнь, но люди на пути встречались добрые, отзывчивые, ничего подобного у них не переннимешь, или она сама была такой, что ни на кого не серчала, тяжелого сердца не держала, не было у нее забот кому-либо вред принести, настроение попортить, хоть на секунду, а осадить. И потому очень себе удивилась, когда у школы поняла, что сегодня с недобрым сердцем переступает порог. Догадалась и ужаснулась. Но ничего поделать с собой уже не могла.

Все утро, как осталась одна, вот до самых дверей школы, лишь и думала о том, как проведет сегодня урок, как будет смотреть в глаза классу, как прочтет в них то, что хочет.

Варвара Алексеевна чуть слышно поздоровалась, открыла журнал, помедлила и, дождавшись, когда утихнет легкий послепеременный шум, с расстановкой сказала:

— Сегодня... у нас опрос... по пройденной теме... происхождение человека...

Класс ахнул. Все поколения восьмиклашек знали: Варвара никогда не спрашивает этого параграфа! Знали точно-преточно! И никто никогда, даже отличники из отличников, не заглядывали в учебник. И сейчас широко открытыми, удивленными и растерянными глазами глядели на добрую, смешную Варвару.

— К доске пойдет... Титов.— Варвара Алексеевна выполнила задуманное и покраснела.

Титов помешкал. Потеребил зачем-то учебник. Оттолкнул его, вышел к столу. Он равнодушно поглядел на класс. Пропустил мимо ушей сочувственный шепот. Все равно никто не смог бы ему помочь — тему все не знали прочно и одинаково. Валять же дурака у доски Титов не любил. Лучше признаться — не выучил. Пусть ставит пару. Честные два балла тоже чего-то стоят. Титов повернулся к Варваре Алексеевне и промолчал. Почему-то сейчас Варвара ему показалась маленькой-маленькой. Он возвышался у нее за спиной, будто только что вырос, а она сидит где-то там внизу за крохотным учительским столом, беззащитная, беспомощная, похожая на старушку, которая боится перейти улицу и стесняется попросить о помощи. А он, крепкий и сильный, нахально проходит мимо и издали смотрит, как мнется старушка на перекрестке, пока не берет ее под руку такой же старый человек, и так вдвоем они шаркают через мостовую, а мимо несутся молодые, громкие, скорые, и никому не приходит в голову, что когда-нибудь они так же с опаской станут у края тротуара и в одиночку будут смотреть, как стремительно минует их жизнь, и покажутся такими же смешными, причудливыми, старыми...

Все это Титов представил в одну секунду и понял, что нельзя ему сейчас получать два балла. Ведь кого Варвара ни спроси, никто ни фига не знает. И получится смех, и Варваре придется ставить двойки, которые она ненавидит не меньше их. А с Варварой что-то случилось, какой-то заскок одолел ее. Титов ничуть не догадывался, что в нем причина, он просто почти физически вдруг ощутил слабость взрослого, старого человека, который сейчас нуждается в помощи. И никто, кроме него, не сможет оказать ее. Но как поступить? Что говорить? Он не знал.

Молчание затягивалось. И вдруг он решился. Будь что будет...

— Варвара Алексеевна,— сказал Титов не очень громко,— Варвара Алексеевна, чего я никак не пойму...

«Вот оно! Поделом. Так мне и надо!» — теперь молча охнула Варвара Алексеевна.

Вызвав Титова, она закрыла лицо ладонями и так сидела в темноте, слушая тревожный шелест класса. Она сделала все, как решила, и, еще не затих ее голос, поняла — это предательство. Она прекрасно знала, что никогда и никто не учил эту тему, да она и не задавала ее на дом, хотя должна была задавать, десятилетиями опрос она за-

меняла уроком на повторение ранее пройденного, нарушая учебный процесс, с совестью своей учительской договаривалась легко: мол, и без ее предмета хватает у ребятни предэкзаменационных забот.

Варвара Алексеевна глядела в темноту своих рук и не могла их оторвать от лица. Лучше не встречаться сейчас с глазами ребят, неважно, что в них сейчас, жестокость или испуг, смех или растерянность, ее глаза не могут смотреть на класс, потому что в них только беспомощность, и стыд, и мелочность взрослого.

«Так мне и надо,— про себя повторила Варвара Алексеевна.— Скоро же они расплатились. Не прощают предательства. Это хорошо».

— Варвара Алексеевна,— снова она услышала не очень бодрый голос Титова,— чего я никак не пойму, так это... Варвара Алексеевна, почему наш директор называет вас Пчелкой?

— Что?! — Она отняла руки от лица.— Что вы сказали, Титов?

Она не слышала, как смеялся Титов, как шумел класс, как начался гам и ералаш, как ее обступили, просили рассказать, действительно, за что же все-таки так странно прозвала ее дочка, то есть их директор, которую они сами зовут Дочкой, потому что она-то и вправду дочь их Варвары, то есть Варвары Алексеевны.

Вдруг отступило одиночество, тяжелое сердце пропало из груди, будто там пустота, а кругом люди, много людей, большая говорливая толпа, со своими радостями и печалями, и сбылась ее недавняя ночная маленькая мечта — жить чужими заботами, как своими.

А чуть раньше ей показалось, что наконец-то дождалась от Николеньки его звонкого голоса и ласкового, нежного — Пчелка. И что теперь она совсем забудет свое имя, потому что ей оно ни к чему, раз так уж получилось— для всех она просто Пчелка. Вот и для них тоже...

Еще подумалось Варваре Алексеевне, что у нее редкая, прекрасная квартира, которой нет цены и в которую обязательно нужно созвать много гостей, хотя бы этих мальчишек и девчонок.

И еще подумалось Варваре Алексеевне, что будут у нее каникулы, великолепные школьные каникулы, красивые, как заслуженная награда за честный долгий труд, каникулы, которые никогда не исчезнут на земле, пока люди будут рожать жестокосердных и добродушных титовых.

«Ах, Титов, Титов,— улыбнулась Варвара Алексеевна. — Кто ты, Титов?»



Старый зимник уже едва заметен в увядшей и порыжелой траве осенней тайги. Когда он пролегает по перелескам и баркам, выручают старые затеси, оставленные проходившими здесь путниками добрый десяток лет назад и сейчас заплывшие смолой, почерневшие. А большей частью дорога идет через мхи, мелкий, редкий березняк, как это и полагается зимникам — лесным дорожкам, по которым ездят колхозники зимой за сеном на дальние пожни да за рыбой на таежные озера.

Степан, высокий плотный парень двадцати трех лет, размашисто шагает по не хоженной им еще дороге. Впереди то и дело мелькает белый кончик хвоста Каниса, карельской лайки. Разглядывая лес, Степан не может на него налюбоваться. Воздух понемногу отогревается после ночной прохлады и поднимает к небу тонкий аромат первой осенней прели. Вокруг, словно акварельные пятна, краснеют гроздья вызревшей рябины. Особенно восторгается Степа, когда дорожка пролегает по холмам вдоль таежных озер. Тогда бушующие краски в прибрежных деревьях наиболее отчетливо проступают на фоне водной голубизны.

Все лето он работал в колхозе, с такими же, как и он, рыбаками ловил сельдь в Белом море, чинил снасти, сено косил. Да и сейчас вовсю идет семужья путина. Но бригадир, уважавший Степана за трудолюбие и безотказность, дал ему три дня выходных: из Архангельска приехал гость — любимый Степин родственник — дядя Володя, неутомимый рассказчик, хохотун, страстный любитель лесных походов.

Он-то и сманил племянника сходить на озеро Островистое. Было оно для Степы давней, волнующей мечтой. От деревни до Островистого — верст двадцать. Раньше там были дальние сенокосы — суземы, которые теперь заброшены, но старики и поныне вспоминают удивительную красоту тех мест и самого озера, посреди которого возвы-

шается остров, поросший вековыми темно-зелеными соснами.

Дядя Володя тяжело ступает сзади. Рюкзак его отвис, ружье — прекрасно инкрустированная тульская «вертикалка» (Степина зависть) — болтается кое-как. Дядя, наверное, и забыл про него. Ноги путаются в канабре, вязнут в торфе.

— Эх, городская жизнь осточертела,— ворчит он,— вон уж и ходить разучился. А ведь в детстве-то как по тайге летал, а! Куда там твоему Канису! — И наконец предлагает: — Ты бы помедленнее, а, Степушка? Уморился я чего-то...

А спустя полчаса он просит:

— Давай перекурим, Степа, а?

Они садятся. Дядя скидывает ружье, снимает рюкзак, достает бутыль с молоком и ломоть хлеба. «Заморив червячка», он без умолку начинает болтать и негромко смеется. Степан полулежит, опершись о ствол сосны, смотрит на лес. Перед ним, полыхая буйным огнем, стоят осины. Листопад еще почти не тронул их густые верхушки, и деревья будто хвастают друг перед другом своими осенними нарядами. «Красота...— думает Степан.— Зачем им такая краса? В чем смысл этого сказочного благолепия?»

Мысли его прерываются лаем Каниса. Степан хватает ружье и бежит в лес: Канис зря лаять не будет.

Дядя Володя, возлежа на мягком, поросшем ягелем бугорке, лениво бросает вслед:

— Давай, давай, Степа! Волка ноги кормят.

Раздается выстрел, и собачий лай смолкает. Степан небрежно, за ноги несет подстреленного тетерева, кидает птицу к рюкзакам. Но глаза его, конечно, выдают. В них — восторг и радость охотничьей удачи. Дядя Володя прекрасно понимает Степу: как же, первая за сезон дичь!

— Ну, племяш! Ну красиво ты его срезал!

Дальше дорога идет в основном по мхам, и дядя Володя, кажется, устает всерьез.

— Эх, перекурнуть бы, Степушка,— мечтает он вслух. Но сидеть негде, сапоги по лодыжки утопают в болотце, тут лучше не останавливаться.

— Потерпи,— отзывается Степа,— перекур впереди.

Метрах в трехстах, за лощиной, плотной стеной стоит лес. На подходе к нему собака вдруг начинает резво юлить, обнюхивать землю, и наконец из брусничника, обильно разросшегося на опушке, тяжело взлетает глухарка и тут же исчезает в густом ельнике. Доносится характерный хлопок крыльев о сучья и почти вслед за этим — лай Каниса.

— Села! — восторженно сипит дядя Володя.

Забегая вперед и умоляюще заглядывая Степе в глаза, он шепчет:

— Дай я схожу, а?

— Да не надо — отвечает Степан.— Самка ведь...

— Ну ты-то уже хлопнул одного! Теперь моя очередь. Вдруг стрелять разучился? — кривится он в шутке.

— Да ведь самка...

— Ну и черт с тобой! — злится дядюшка.— Во, видали чудака! Дичь это, а не самка. Эх...

Заметив на лице племянника твердое упорство, дядя Володя сдается.

— Ладно, пошли уж,— говорит он миролюбиво,— а то, пока бегаем, и день пройдет.

Канис еще долго облаивает глухарку, потом, поняв бесплодность своих стараний, догоняет путников. Опустив хвост и потупясь, некоторое время плетется сзади, демонстрируя таким образом обиду на охотников. Дядя Володя, обернувшись назад, ворчит:

— Это все Степка, хозяин твой. Ишь жалючий какой выискался. А еще охотник...

Впереди посветлело. Зимник выходит на заросшие молодым березняком, давно никем не пользуемые пожни. Канис убегает вперед, и вдруг раздается собачий визг, а следом и лай, какой-то неестественно звонкий, захлебывающийся. Степан и дядя оторопело смотрят друг на друга.

— Наверно, зайца погнал или лису,— предполагает Степа.

Лай в самом деле приближался.

— Заряди на всякий случай пулю, не то медведь еще,— торопливо советует дядя и, отбежав в сторону, встает наизготовку.

Степан привычно нащупывает в патронташе крайний патрон, заряженный «жаканом», и быстро сует его в правый ствол. Лай Каниса слышится все отчетливее.

...Лось появился неожиданно. Степану показалось, что от пригорка, поросшего можжевельником, отделилось что-то огромное и помчалось прямо на него. Высоко выбрасывая передние ноги, оглядываясь на лающую собаку, лось стремительно приближался, но, заметив человека, резко свернул, грудью обламывая сучья.

Дальше все происходило словно в тяжелом сне.

— Стреляй! Уйдет! — услышал Степан истошный крик дяди Володи.

Какая-то властная сила бросила приклад ружья к Степанову плечу. Выстрела он не слышал...

Передние ноги лося словно в кино, как-то неестественно подогнулись, он с размаху ткнулся мордой в высокую сухую траву и тяжело перевалился на спину.

Не помня себя от азарта, Степан бросился к добыче, но, не добежав нескольких шагов, замер, встретившись взглядом с животным. Широко открытые глаза лося были полны ужаса и тяжелой, осуждающей тоски. Лось напрягал силы, чтобы подняться, беспомощно бил ногами, вздыбливая копытами дерн, но встать уже не мог.

— Вот удача-то какая,— услышал Степан.

Взводя на ходу курки, дядя Володя подбежал к лосю и, деловито, в упор прицелившись, выстрелил ему в голову.

— Ну ты Степка, а! Ну молодец! И главно, место-то, а! Далеко, черта с два кто и узнает. А мы потихоньку мясо-то и выно́сим. Тепловато, правда, еще, ну ничего, засолим. А жирный-то, жирный-то какой, а!

Он долго бегает вокруг убитого лося, задирает ему ноги, рассматривает, щупает, что-то умиленно восклицает. Потом вдруг смотрит на Степана и замолкает.

Тот сидит на земле и безучастно глядит на добычу.

— Ну чего расселся-то, племяш? Работать теперь надо,— хохочет дядя Володя, потирая руки.

Степан медленно встает, со вздохом поднимает ружье и вдруг, резко размахнувшись, ударяет им о ствол дерева. Приклад с хрустом отлетает в сторону. Потом он поворачивается и медленно идет назад, к болоту. Дядя испуганно отскакивает от лося, оторопело смотрит вслед Степану, потом кричит:

— Ты куда, балбес? Мяса-то сколько!

Ничего не понимая, он бежит за Степаном и рассудительным тоном убеждает:

— Озеро ведь рядом, а. Ты же сам говорил, красивое. Дойдем уж.

Степан, не оглядываясь, идет домой.

*ШЕЛОНИК**

рассказ

Рыба не клюет совершенно.

Ветер, резвый и игривый в утреннюю зорьку, к полудню стих. Полный штиль. Полуденный зной, отражаясь от зеркальной прохлады вод, висит в воздухе тягучим, сладким

* Шелоник — юго-западный ветер.

маревом. Кругом царство лености и бессилия. Заспанное, белесое солнце нехотя играет бликами на еле заметной, гладкой накатной волне.

Николай, полураздетый, в трусах и льняной рубахе, сидит в лодке, упершись босыми ногами о шпангоуты. По бокам, на «банке», лежат прислоненные к бортам «морские» удочки. Николай уныло глядит на их чуткие, недвижимые уже около часа «кивочки», потом переводит взгляд на небо. Там в чистой, синей вышине плывут с юга на север вытянутые, размытые, словно пена на воде, пузырчатые облака. «Странно,— думает Николай,— там ветер, а здесь тишина».

Рыба не клюет, но ему нравится сидеть так в безделье, подставив солнцу лицо, безвольно положив на борта руки. Где-то на острове, синеющем сквозь марево ломкими очертаниями, его жена Ольга и шестилетняя дочурка Катя собирают чернику, которой тут великое множество. Николай давно собирался приехать сюда с семьей на своей моторной лодке. Место это, спокойное, удаленное от городской сутолоки, в стороне от туристских маршрутов, Николай и Ольга открыли для себя в прошлом году случайно, когда поехали испытывать только что купленную лодку. От города, правда, далеко, но что там расстояния, когда «Вихрь» несет со скоростью под сорок и лодка играючи подпрыгивает на бугорках волн! Николай вспомнил сейчас, как в прошлом году Ольга нерешительно ступила на землю острова, осторожно, глядя под ноги, словно боясь змей, сделала несколько шагов, а потом вдруг в совершенном восторге воскликнула: «А грибов-то, грибов-то сколько!..» Когда уезжали, в километре от острова мотор вдруг забарахлил, и Николай бросил якорь, совсем не надеясь, что он достанет до дна. Капроновая веревка упруго застучала о борт и вдруг ослабла. «Баклан»[1],— понял Николай и не удержался, забросил удочку: тут должна быть треска. Рыба и в самом деле сразу стала брать, и Николай с Ольгой в азарте надолго тогда забыли о поломке в моторе, о том, что надо ехать домой. А треска, гибкая, коричневая, пружинисто металась по дну лодки.

Сегодня на восходе повторилась та же торопливая, сладкая радость хорошего клева, но к полудню все уснуло под вялящими солнечными лучами. Надо бы идти к острову, помочь жене и дочке развести костер, приготовить обед. Он сматывает веревку, привязанную к бую — указа-

---

[1] Баклан — местное название каменистой отмели у поморов.

телю баклана, установленному им сегодня, и заводит мотор. Уже на подходе к острову замечает бегущую по воде навстречу лодке рябь: подул шелоник.

Николай выносит из лодки рыбу, прячет ее в тень, укрывает травой. Вокруг царство ягод. Он ползает на четвереньках, собирая в пригоршни чернику и голубику, затем закидывает голову, сыплет ягоды в рот и медленно их жует, постанывая от удовольствия.

Перед тем как идти в глубь острова, Николай оглядывается на залив и замирает, увидев свою лодку: она мерно раскачивается на волнах вдали от берега в темно-синей ряби раздувающегося шелоника. «Как же это! — оторопело соображает Николай.— Неужели якорь забыл выбросить? Как же мы без лодки? Остров... Катя... Без лодки...» — И, сбрасывая на ходу сапоги, он бежит к воде.

Глубина начинается сразу, у берега. Холода он не чувствует, хотя совсем недавно с ознобом входил в воду босыми ногами. Николай плывет быстро, «саженками». Руки размеренно, поочередно выбрасываются вперед, голова вращается в такт, ноги напористо взбивают пенистый бурунок. Лодка приближается. Наконец шея и руки устают. Николай переворачивается и плывет на спине. Ориентируется по солнцу, которое светит прямо от острова. Перевернувшись на грудь, Николай с тревогой замечает, что лодка совсем не приблизилась, и опять он быстро работает руками, опять пенит ногами воду. Лодка уже метрах в пятидесяти, но руки с каждым разом поднимать из воды труднее и труднее, начинает сильно ломить шею. Николай ложится на спину и, стараясь держать себя в руках, начинает понимать, что лодку ему не догнать: «Черт с ней, потом найдем с ребятами... На остров надо... Приедет кто-нибудь...» В лицо ему плещет вода. Он поворачивает к берегу и тут же встречается с ветром. Шелоник дует в глаза, хлещет по ним брызгами, заплескивает ноздри. Николай задыхается, глотает жидкую горечь, перед ним стоит густая пелена воды и пены, сквозь которую красным пятном рдеет размытый, огромный шар солнца. Николай с ужасом осознает, что совсем не движется вперед, что до острова ему тоже не доплыть...

...Здесь, на просторе, ветер, словно уверовав в свою силу, дует напористо, ерша и взбаламучивая тугую темную воду. Среди чешуйчатых, зыбких волн как поплавок качается голова Николая. С остекленелыми от страха и беспомощности глазами он что-то кричит, а ветер уносит его крик в море, разбрасывает там среди волн...

Постепенно Николай приходит в себя, но страх сидит внутри, цепляясь острыми коготками, не дает думать, тянет за ноги вниз свинцовыми колодками, давит на плечи. «Надо подумать! Надо подумать! — бормочет он синими губами. — Надо взять себя в руки... Нельзя же так за здорово живешь...» — но страх держит за горло, мешает дышать, мешает... Не прогнать его... «Сволочь! — кричит Николай,— подохнешь тут как собака! Распустил нюни! Бороться надо, гадина!» — Он бьет себя по скуле, трясет головой, потом ложится на спину.

Мысль скачет лихорадочно: «Шансов нет, шансов нет! Берег — бесполезно. Берег — бесполезно! Лодка далеко... Не доплыть, не доплыть!..» Захлебываясь и неуклюже перебирая ногами, Николай пытается стянуть с себя рубаху. Она прилипла, срослась с телом. Самое трудное — высвободить руки из рукавов. Потом, когда это удается, он несколько раз безуспешно пытается сделать из нее пузырь, для чего резко взмахивает рубашкой над головой, держа ее за края. Пузырь, тощий и кривой, все же в конце концов получается. Николай ложится на него животом. Уже осмысленно и устало он смотрит на лодку. До нее метров семьдесят. Мозг, как наковальню, долбит мысль: «Надо догнать...»

Из рубашки, крадучись, предательски убегают пузырьки воздуха. Николай вытягивает рубашку со сморщенным, раздавленным уже пузырем и, держа ее в левой руке, начинает правой грести по направлению к лодке. Движения почти не получается, пузырь только мешает, и Николай отбрасывает его в сторону.

Стараясь экономить силы, он равномерно, без рывков работает руками, переворачивается на спину, плывет на боку, плюхает саженками, гребет «по-собачьи». Со временем его движения сами по себе приобретают системность: саженки — на боку — спина — саженки — на боку — спина... Плыть на спине становится все труднее: вдали от берега накатистые волны все чаще хлещут в лицо. Николай горько кривится и с кашлем выхаркивает попадающую в горло соленую воду.

Иногда он смотрит на лодку. Эти мгновения доставляют ему настоящую муку: казалось, отдал уже все силы, а она почти не приблизилась. В конце концов Николай заставляет себя реже поднимать голову и плывет только по ориентиру — попутному ветру. Ему невыносимо хочется отдохнуть — лечь на спину и закрыть глаза, но за каждую секунду остановки придется потом расплачиваться долгой и тягостной работой рук.

Надо экономить силы. Николай вспомнил, как тренер учил его в легкоатлетической секции расслабляться во время бега на длинные дистанции: работать должны только те мышцы, которые толкают вперед. Плыть еще много, страшно много, и Николай старается «успокоить» тело, руки его безвольно поднимаются и плюхаются в воду, концентрируясь потом в гребке.

«Напрасно все, сдохнешь...» Николай напрягается, трясет головой и, стискивая зубы, шепчет: «Хрена с два возьмешь! На́ тебе...»

Перед глазами встает Катькино лицо, то улыбающееся, то оцепеневшее от страха. Это совсем для него невыносимо, и тогда он хрипит на выдохе: «Не меша-а-ай!..»

Он страшится отчаяния, его мертвой хватки, которую, наверно, уже не выдержать в этой непосильной борьбе с ветром и волнами. Он гонит его, стараясь думать только о лодке, о том, что надо беречь силы.

Все же расстояние до лодки сокращается, ее развернуло и несет боком. Но руки будто залили холодным свинцом, они совсем не гнутся, отказываются работать. Ветер раздувает на кончиках волн белые гребешки, бьет водой по затылку.

Неожиданно Николай замечает на носу лодки то, на что раньше не обратил внимания,— якорь. Якорь! Он лежит на самом кончике борта, Николай отчетливо вспомнил, как поднял его с днища, когда подъехал к острову, положил на нос и намеревался вытащить на берег, но дно оказалось глубоким, и он стал разгибать голенища...

«Если бы он упал, если бы упал! Ведь он же может упасть! Волны! А доска на носу совсем гладкая!» Николай вдруг как-то ослаб, стал грести «по-собачьи», вцепившись взглядом в якорь. Нет, не падает, даже не шевелится как будто.

За лодкой, с левой стороны, что-то зажелтело и пропало. Искрой промелькнула догадка — буй, его буй на баклане! Желтое пятнышко появилось снова, все расцвеченное вокруг белыми полосами пены. «Баклан! Да там же мелко, а значит, и волны круче! Ну упади, якорь, ты же мой! Ты не должен меня подвести»,— чуть не плачет Николай в последней надежде, еле держась на воде.

На баклане лодка как поплавок, то ныряет, то вновь выпрыгивает на поверхность. Показалась... Якорь на месте. Исчезла. Вновь показалась. Якорь сместился, как почудилось Николаю, к центру лодки. В голове взрывается мысль: «Неужели свалится в лодку?» С отчаянием и обреченностью он думает: «Тогда все... Больше не смогу...» Он

уже не плывет, а лишь вяло перебирает руками и как приговора ждет очередного появления лодки. Якоря нет! Лодка продолжает двигаться, как и прежде, боком. Волна неожиданно наваливается сзади на голову, и он некоторое время идет ко дну. Потом выныривает и долго, ничего не соображая, оторопело смотрит перед собой.

Лодка стоит носом к нему. От кольца на носу тянется в воду белый шнур. Николай стискивает зубы и плывет медленно, останавливаясь, тяжело и хрипло дышит.

Подплыв к шнуру, он пытается на него лечь, но шнур расслабляется, и он скользит по нему вниз. Высоту борта ему не осилить, надо отдохнуть, но руки не держат шнура. Он устал... Он обвивает шнур руками, ногами, стискивает зубами и висит, висит... Потом подплывает к середине борта, рывком поднимает тяжелые руки и висит снова. Бросить тело на борт ему удается лишь с четвертой попытки, когда проходит много времени. Он медленно заваливается вовнутрь и теряет сознание...

Солнце медленно спускается к закату, когда Николай глушит мотор и причаливает к берегу. На заплестке у костра сидят Ольга и Катя и пьют черничный чай.

— Ну так что, рыбачок,— подтрунивает над ним Ольга — где рыба? Смотрю, лодка качается и качается, а рыбака-то и не видно. Уснул, наверное, от безделья? Иди-ка лучше чай пить...

— А наш папка рыбалку проспал,— поддерживает ее Катерина. И все трое смеются.

МИНА

рассказ

Бабка Евдокия прямо в шлепанцах побежала к остановившемуся у калитки военному «газику».

— Ой, робятки,— запричитала она вылезавшему из машины молодому офицеру,— может, не надоть, а? Подись, дом сломает. Куды же мне тады, робятки!

Лейтенант поправил фуражку и солидно сказал:

— Почему сломает? Мы не в первый раз.

Пройти к дому он, однако, не решался. Полная и, видно, крепкая еще баба загораживала вход во двор. Не зная, как быть в таких случаях, лейтенант спросил:

— А зачем тогда вызывали?

— Никто вас, робятки, и не звал,— ласково, но решительно ответила бабка Евдокия, стараясь говорить тише, чтобы не разбудить зятя. В ней затеплилась надежда: может, не услышит, идол. Сзади все же хлестко стукнула дощатая дверь веранды, и сапоги зятя загрохотали по настилу.

— Здравствуйте,— сказал он, отстраняя Евдокию и протягивая руку лейтенанту,— Петр Иванович, будем знакомы. Жду вас с утра, да в последний момент вздремнул малость. Сами понимаете, отпуск.

Лейтенант сообразил, что в лице Петра Ивановича приобрел решающую опору. Обернувшись к машине, он негромко, командирским тоном бросил:

— Петров, Ибрагимов, приготовиться к разведке.

Из «газика» бойко выскочили двое солдат, держа в руках продолговатые ящики зеленого цвета. Разложив эти ящики на земле, они достали из них какие-то трубки и стали всовывать их одна в другую. Получилось два стержня с широкими цилиндрами на концах. На голову солдаты надели наушники. Бабка Евдокия смотрела на эти зловещие, с ее точки зрения, приготовления, а в душе шевелилась тревога: сломают! Ох, сломают домишко! Она подошла к зятю и вполголоса попросила:

— Ты уж посмотри за ними, Петенька. Как бы не натворили чего. Им-то не жалко. А куды мне тады?

Зять, подмигивая солдатам и офицеру, нарочито громко возразил:

— Ну, Евдокия Терентьевна, ну почему вы так не доверяете советским воинам?

— Мы готовы,— сказал офицер.— Ведите, Петр Иванович, показывайте.

Когда солдаты и зять направились к дому, бабка Евдокия тронулась было за ними, но лейтенант остановил ее:

— Извините, вам нельзя, не положено.

— Как нельзя? — возмутилась Евдокия.— Мой дом, и нельзя?

Она хотела сказать еще что-то резкое и решительное, но, увидев, как у лейтенанта нахмурились брови, благоразумно замолчала. «Лучше не перечить,— подумалось ей,— а то специально испортят чего-нибудь. Понаехали тут с трубками».

Она еще потопталась в раздумье у калитки: куда же ей-то податься? Может, пойти пожалиться к соседке Калиничне? Потом вспомнила, что та угреблась спозаранок в лес за клюквой. Евдокия пошла на речку. Было здесь у нее укромное место, на склоне крутого травянистого бере-

га, между двух старых разлапистых лип. Место это показал ей Федор. Здесь они целовались с ним в теплые летние ночи того далекого предвоенного года. С тех пор в радость и в печаль приходит сюда Евдокия, чтобы поговорить с Феденькой, посоветоваться, излить душу. Сев под липами на дощечку и глядя на воду, она вернулась мыслями к дому.

Построил его Федя перед самой войной. Построил за малый срок. Он словно торопился, боялся, что не успеет. Времени у него было мало и без того. Работал Федор бригадиром в колхозе, днями пропадал на поле, домом занимался до глубокой ночи. Молодая жена его Евдокия вначале помогала, как могла, а потом, когда дите ждали, Федор всю тяжелую работу по строительству взял на себя — один управлюсь...

Евдокия сокрушалась:

— Отдохнул бы, высох весь. Куда торопишься-то?

Федя только улыбался:

— Вот нарожаем с тобой ребятишек с дюжину, куда девать будем?

Крышу он крыл уже в начале июня 41-го года. Тогда и перебрались в новый дом. Внутренние работы Федя так и не закончил, ушел на фронт. Осталась его задумка — прорубить окошко из светлицы на речку, на заречные дали... Он потому и приберег ее напоследок, что хотел смастерить оконце это красивее других, с фигурными, резными наличниками.

Осенью родилась Люська, и для Евдокии настали самые тяжелые дни: впереди зима — а у нее и в подполе пусто, и денег ни гроша. Все силушки на дом этот проклятущий ушли. Если бы не добрые люди — не выдюжить бы ей с грудной на руках.

В первые месяцы от Федора приходили письма. Все утешал Федор, обещал: скоро одолеют немца и он вернется. Еще обещал, что новое окно в светлице прорубит. Потом началась оккупация, и письма перестали приходить.

Село, в котором жила Евдокия, стояло вдали от больших дорог, наверно, поэтому немцы бывали здесь редко. Делами заправляли полицаи и старосты. Иногда приходили партизаны и вышибали полицаев из деревни. Однажды партизаны остались заночевать, тут-то и налетели каратели. Они били по домам из минометов и пушек прямой наводкой. Евдокия помнит, как лежала на полу, закрыв телом плачущую дочь, и причитала: «Пронеси, господи, пронеси, господи...» Кругом гремели взрывы. От сильного удара в стену содрогнулся весь дом. «Вот и все»,— поду-

мала Евдокия и крепко прижала к себе Люську. Однако ничего не случилось. Потом и минометы стихли.

Мину первыми увидели немцы, обшаривающие после обстрела деревню в поисках не успевших уйти в лес партизан. Евдокия услышала за стеной гогот, затем в дом ворвался здоровенный фриц и, что-то гортанно выкрикивая, потащил ее на улицу. Там ее подтолкнули к стене и показали на торчащий из паза хвостовик мины. Один из фрицев многозначительно задрал подбородок, пощелкал по стене ногтем и предупредил: «Бах-бах». Остальные хохотали, выходя за калитку и оживленно обсуждая что-то. «Повезло тебе, дура»,— сказал на прощанье полицай.

Вбежав в комнату, Евдокия первым делом осторожно отодвинула от стены, в которую попала мина, кровать, стол, лавку. Потом подвела к ней двухлетнюю дочь и несколько раз повторила:

— Не трогай эту стеночку, Люся. Будет бабах!

В ту ночь она так и не заснула. Все ей казалось, взорвется эта чертова железяка и убьет их с Люсенькой. А еще ей было жаль нового дома, построенного руками милого Феденьки, в котором они не успели нажиться-нарадоваться. Спозаранок, пока совсем не рассвело, Евдокия выскочила на улицу и, полузажмурившись от страха, каждую секунду ожидая взрыва, затыкала тряпьем торчащие из стены железки: вдруг ребятишки увидят и начнут выковыривать. Получилось неплохо. Пройдешь рядом и не заметишь — болтаются тряпки, да и все.

С тех пор для Евдокии началась вдвойне тяжелая жизнь. Где бы она ни находилась: полоскала ли белье на речке, работала ли в поле, косила ли сено, все ей думалось, не случилось бы какой беды дома. И еще ей казалось, что если кто-нибудь ударит по стене, то мина обязательно взорвется. В этом она почему-то не сомневалась. И однажды едва не лишилась рассудка, когда, зайдя в избу с полными ведрами воды, увидела, как Люська разбегалась на слабых своих, босых ножонках и била ручками в стену, победно восклицая при этом «бы-бых!». Больше она дочку дома одну не оставляла.

Еще был случай уже в самом конце войны. Евдокия стряпала на кухне, когда услышала резкие удары в «ту» стену. Не помня себя, она выбежала на улицу и увидела двух мальчишек, деловито кидающих снежки в фанерный щит, повешенный на гвоздь. Вспоминая сейчас этот случай, Евдокия улыбнулась: кто же тогда больше испугался? Она или мальчишки, на которых неизвестно почему вдруг набросилась баба с искаженным от ужаса лицом.

Федя с войны не вернулся. О том, что он «геройски погиб в тяжелых боях под Сталинградом», Евдокия узнала из письма, полученного из райвоенкомата. Так, вдвоем с маленькой Люськой, да еще, пожалуй, с миной, с которой волей-неволей тоже пришлось уживаться в одном доме, и мыкала свое послевоенное горе Евдокия. К злополучной стене она не прикасалась все эти годы. Запрещала и Люське это делать, не объясняя, впрочем, почему: разболтает по деревне, а это все равно добром не кончится — хоть мужики, хоть солдаты начнут ковырять, сами погибнут да и дом порушат. А так сидит эта проклятая мина в стене и сидит, есть не просит.

Люська росла проворной, сообразительной, но долго не могла взять в толк: отчего мать так бережет стену? Потом успокоилась, отстала, наверно, решила: прихоть это материнская.

В деревне дочь жить не захотела, закончила семь классов — и в город. Поступила в торговый техникум. Евдокия загоревала, когда Люська уехала из деревни: чего уж хорошего, когда человек уходит из родных своих мест. Но училась дочь с охоткой, приезжала на каждые каникулы, письма писала. В общем, не забывала мать. Однажды она тронула сердце Евдокии тем, что написала: «Как вы там живете, мои мама и минуша?» Евдокия долго не могла понять, кто же такая «минуша», вроде и имен-то таких в деревне не водится, потом сообразила: да ведь мина же это! Вот Люська! Вот хитрунья! Значит, знала, а молчала. Не захотела, значит, матери волнение доставлять. И еще больше зауважала она дочь.

С годами Евдокия привыкла к мине, хотя, конечно, как и прежде, боялась. А однажды поймала себя на мысли, что все думы о ней сами по себе облекаются в некую теплоту и задушевность, потому что связывают они ее с ушедшей в безвозвратность молодостью, с той далекой порой, в которой был Федя...

Жить понемногу становилось легче. Люся закончила техникум, устроилась работать товароведом в универмаг. Помогать ей отпала необходимость. Появился какой-никакой достаток. Все, казалось, входило в свою колею, и тут дочка вышла замуж.

А вскоре Петр, муж ее, нагрянул к теще в гости — на природу, видишь ты, ему захотелось. Дочь-то не смогла приехать: отпуск в другом месяце,— а он тут как тут. Ну, первый день туда-сюда, удочки, речка, знакомство с соседом, а на другой день пришел от соседа выпивший, и занесло его, окаянного, прямо на эту стену. Уцепился он ру-

ками за бревна и лбом в них тычется. Сразу, бедолага, протрезвел, когда Евдокия его с бранью от этой стены к противоположной отбросила. Ни слова, правда, не сказал, но наутро стал допытываться:

— Почему это вы, мама, не дали мне вчера к стеночке прислониться? У вас ведь, мама, не музей тут.

Евдокия промолчала, но интерес его взял... Зять нашел мину за считанные минуты. Зато как нашел, вбежал в дом весь бледный, глаза выпучены.

— Я,— говорит,— не собираюсь жить в заминированном помещении! Тем более в мирное время. И вам, мама, не советую.

Как ни просила его Евдокия никуда не сообщать, не помогло. Вызвал вот саперов.

Сидела теперь Терентьевна на берегу реки, и сердце ее ныло: «Сломают дом, окаянные, сломают». Раздавшийся взрыв на какое-то время будто парализовал ее. Евдокия несколько секунд остолбенело смотрела на воду, потом вскочила и что было мочи заспешила к дому. Ноги совсем ее не слушались, они путались в траве, скользили, спотыкались. Евдокия не почувствовала, как потеряла шлепанцы, как слетел с головы платок. Запыхавшаяся, вконец растерянная, она вбежала на обрыв...

...Дом стоял на месте. Машины не было. Там, где она останавливалась, мирно копались в земле куры, мимо них лениво брела собака. Терентьевна только теперь поняла, что взрыв был совсем в другой стороне — за полями, у леса. Усталая, она переступила порог и услышала в светлице стук молотка. Сидя на корточках, Петр старательно обрабатывал стамеской края широкого четырехугольного отверстия, выпиленного в стене в том месте, где раньше сидела мина.

— Посмотрите, мама, какой красивый вид из окна будет,— сказал он подошедшей Евдокии.— Луга, цветы, лес! А речка-то, речка-то!

Он еще что-то возбужденно и весело говорил, работая стамеской.

Евдокия сидела позади него на стуле, положив руки на колени. По щекам ее текли слезы. Губы тряслись и шептали: «Феденька, Феденька...» Потом она поднесла к лицу край передника и зарыдала.



СЛУЧАЙ У МОСТА

Антон Савенков

рассказ

Обычно часам к восьми на аэродроме наступала тишина. От нагретой утренним солнцем земли плыл запах: такой бывает только на аэродромах, и нигде больше. Пахло весенней влажной землей, из степей ветер приносил горечь ковыля, и все это перебивал аромат бензина. В небе заливался жаворонок, и так не верилось, что уже второй год идет война, а в это самое небо, где сейчас беззаботно поет птаха, всего каких-нибудь полчаса назад ушло на задание последнее звено.

Только один самолет в этот час был на земле. Он стоял в уголке аэродрома, маленький, невзрачный с виду «У-2», на котором возили почту. Летал на нем старший сержант Андрей Черенков, невысокий ростом, порывистый и очень, по его мнению, невезучий. А все основания считать себя невезучим он имел. Подумать только, уже почти два месяца как прибыл в часть, а все летает на «кукурузнике», возит почту! Когда другие каждый день, иногда даже по три раза, ходят на штурмовку.

Горечь обиды подкатывалась к горлу, от досады сжимались кулаки, и не раз на стол командира полка ложился рапорт, в котором Черенков горячо, страстно просил,— нет, даже требовал дать ему штурмовик или послать его в пехоту, на передовую. «Отставить! — всякий раз отвечали Андрею.— Вы здесь нужнее. Задание, которое вы выполняете, тоже имеет громадную важность. Ждите, скоро поступят новые машины». В общем, оставалось надеяться и ждать.

Техника, который обслуживал «почтаря», звали уважительно Егорычем. Был он человеком нестарым, но несколько угрюмым и молчаливым. Вот и сейчас, забравшись на маленькую стремянку, он сосредоточенно копался в моторе «У-2».

Черенков, с пустыми мешками для писем через плечо,

подошел к самолету. Вздохнул, бросил мешки в заднюю кабину и уселся на землю, прислонившись спиной к крылу.

— Опять? — не отрываясь от мотора, спросил Егорыч.

— Ну конечно, куда же я денусь? — кисло улыбнувшись, ответил Андрей. — А что с мотором-то?

— Порядок, товарищ старший сержант, сейчас полетите,— закрывая капот, сказал Егорыч.

— Ну, давай, давай,— буркнул Черенков и, сунув в рот травинку, закрыл глаза. Мысленно он уже летел по маршруту, которым летал каждый день. Светило ли, как сегодня, солнце, шпарил ли проливной дождь — «У-2» поднимался, отправляясь за почтой. Такие вот дела: истребители сидят, штурмовики сидят, а он летит...

В памяти Андрея одна за другой всплыли основные точки маршрута. «Вот взлетаю, разворот вправо и на восток; через шесть минут будет водокачка, от нее разворачиваюсь на юго-запад, к Дону, потом вдоль Дона, от моста — на север, к станице, а там рукой подать до города. Забираю почту и обратно. Опять на пути мост...» Вспомнив про мост, сержант удовлетворенно потянулся. Была у него одна маленькая тайна, единственная отдушина в этих однообразных полетах. Еще мальчишкой слышал Черенков о ювелирном полете Чкалова под Троицким мостом в Ленинграде. И однажды, возвращаясь с почтой, не утерпел — пролетел между быками полуразрушенного железнодорожного моста через Дон.

Вышло! Окрыленный успехом, он повторил. Опять получилось! С тех пор всякий раз при любой погоде пролетал Андрей под мостом. Конечно, мост был куда выше, чем Троицкий, и Черенков постепенно усложнил эксперимент, описывая восьмерки вокруг быков. Понятно, о его трюкачествах в полку ничего не знали,— сержанту, ясное дело, не поздоровилось бы. И Андрей по молодости, по простоте душевной был доволен собой. «И сегодня полетаю»,— улыбаясь, подумал он.

— Товарищ сержант, вы не заснули? — окликнул над ухом Егорыч.— Машина готова, можно лететь.

— Спасибо, Матвей Егорыч.— Андрей быстро приподнялся, натянул поверх гимнастерки потертую кожанку, нашел шлем. Потом обошел «кукурузник» со всех сторон, покачал элероны, рули.

— Ну ладно,— сказал он и, ступив кирзовым сапогом на плоскость, залез в кабину. — Ладно, Егорыч,—пристегиваясь, повторил Черенков,— часам к трем жди, к обеду.

Техник кивнул и взялся за лопасть винта.

— К запуску! — скомандовал Андрей.

— Есть к запуску! — отозвался Егорыч.

— Внимание!

— Есть внимание!

— От винта!

— Есть от винта! — гаркнул Егорыч и крутанул винт. Чихнув пару раз синеватым дымком, мотор весело застрекотал. «Лечу»,— подумал Черенков и, помахав технику рукой, зарулил на старт. Через полминуты «У-2» был в воздухе. Набрав высоту (метров тридцать, не больше), он развернулся над деревьями и полетел, слегка покачивая крыльями, по направлению к Дону. Нечего и говорить, Черенков мог лететь и на большей высоте, но время военное — всякое может случиться.

Видимость была отличная, мотор работал ровно, и настроение у Андрея Черенкова было самое расчудесное. Солнышко светило ярко, на небе ни облачка—все говорило, что полет пройдет быстро и успешно. А главное — старший сержант краем уха слышал, будто на днях пригонят в полк пять новеньких штурмовиков «Ил-2». Если это правда, если Мишка Торковский из второго звена не соврал, будет у него мощная скоростная машина. Вот тогда все поймут, как несправедливо держать такого летчика в должности «почтаря»!

Под крылом сверкнула на солнце извилистая лента Дона, Черенков положил самолет на основной курс — вдоль реки. В полетах над Доном Андрей находил особое удовольствие. Он снизил машину метров до двадцати и вел ее, повторяя причудливый рисунок донских берегов. Прошло минут семь, и далеко впереди замаячили фермы моста. Андрей довольно усмехнулся. «Восьмерок пять сделаю, пожалуй, сейчас, а штук восемь — на обратном пути, перед обедом»,— подумал он, слегка разворачивая машину.

Мост приближался. Перед тем как нырнуть в пролет, Андрей слегка набрал высоту и огляделся. Справа — нормально, слева?.. «Ну, черт тя дери! — возмутился Черенков, увидев вдалеке две серебристые точки.— Не везет! Не иначе, наши со штурмовки возвращаются. Хотя... Чего это они ко мне повернули?» Самолеты быстро приближались. Андрей вгляделся внимательнее и глазам не поверил. «Влип... „Охотники"»,— пронеслось в голове.

Заметив одинокий «У-2», немцы, очевидно, посовещались, и один «мессершмитт» начал разворачиваться, чтобы зайти «рус-фанере» в хвост и ударить наверняка, а второй стал быстро набирать высоту, прикрывая напарника сверху. «Был бы я сейчас на «Ильюшине», я б с вами по-дру-

гому поговорил, приятели»,— подумал Андрей. Он торопливо снижал «кукурузник», пытаясь уйти на бреющем полете вдоль Дона.

Впереди все ближе — вот уже рукой подать — вставал из мутной воды мост. «Пройду между быками,— решил Черенков,— или сшибут». И, стремительно направив самолет под мостовые фермы, выжал сектор газа до отказа. Пролетая под мостом, он не увидел, а скорее почувствовал, что от одного «мессера» ушел, но как только выйдет из-под моста, так сверху его атакует другой.

И тут ежедневная привычка сделала свое дело. Перед глазами поочередно замелькали чугунные фермы, речная вода, гранитные сваи. «Ух ты! Да я же восьмерки пишу,— наконец пришел в себя Черенков.— Слушай-ка, да ведь фрицы-то с носом будут, пожалуй!» И он продолжал закладывать восьмерку за восьмеркой.

«Мессершмитты» ходили кругами, им нечего было делать на десятиметровой высоте. Черенков, смекнув это, сменил тактику. Он перестал кружить вокруг быков и на глазах фашистов нахально полетел вдоль моста. Но как только «мессершмитт», надеясь всадить ему в бок пулеметную очередь, спикировал вниз, сержант спокойно нырнул под мост, пока «мессершмитт», захлебываясь, набирал высоту, «У-2» опять летел вдоль моста, но уже с другой стороны.

Пять раз с воем падали «охотники» — и пять раз уходил под фермы моста Черенков. Когда в шестой раз вместо уже ставшего привычным рева «мессершмитта» над головой пилота лопнул оглушительный взрыв и «почтаря» сильно тряхнуло, Андрей понял, в чем дело. Выполнив очередной круг, он увидел горящий мост, большое масляное пятно на воде — и возликовал: «А «охотничек»-то, того... гробанулся».

Видимо, атакуя, немец увлекся, потерял контроль и на полной скорости врезался в ферму. Для порядка Черенков сделал еще пару восьмерок, а потом осторожно развернул самолет и, вылетев на открытое пространство, осмотрелся.

На горизонте едва заметной черточкой был виден уходящий «мессер». Напарник погибшего, сберегая горючее, удирал восвояси. Андрей вытер свободной рукой пот с лица, счастливо засмеялся и, покачав крыльями, пошел вдоль Дона по направлению к городу.

Слух о том, что какой-то летчик на «кукурузнике» сбил у моста «мессершмитт», долетел до авиаполка, где служил Черенков, как раз в то время, когда он получал почту на

городском аэродроме. Об этом со всеми подробностями рассказали саперы, им было поручено чинить этот самый мост. Командир полка полковник Чавчавадзе лично обзвонил соседние авиаподразделения и выяснил, что «виновником» события был не кто иной, как «почтарь» Черенков, ибо, кроме его «У-2», в тот час в воздухе никого не было.

— Ай да парень! Ай да молодец! Голова у него правильно работает,— сказал Чавчавадзе начальнику штаба майору Нечипоренко.

— Молодец-то молодец, Артем Георгиевич. Только одно мне кажется странным,— усмехнулся майор.— Видите ли, просто так, без долгой, упорной тренировки, даже и опытный пилот не рискнул бы лезть под мост, а тем более писать восьмерки. Черенков же молодой, у нас всего второй месяц.

— Так вы, Николай Николаевич, думаете, он подобные эксперименты не в первый раз проделывает? Сколько раз он летал у нас в город за почтой?

— Если туда и обратно считать, больше сорока... Срок для тренировок вполне достаточный,— перелистав документацию, доложил Нечипоренко.

Полковник походил по комнате, посмотрел в окно и, чему-то улыбнувшись, сказал:

— И ведь ни разу не доложил! Непорядок. Конечно, сбитый «мессершмитт»— это хорошо, летчик из него выйдет добрый. Но, я думаю, дисциплину сержанту Черенкову придется подтянуть.

Когда нагруженный почтой «У-2» появился над аэродромом, большие карманные часы Егорыча показывали без четверти три. Посмеявшись в усы, техник против обыкновения замахал руками и закричал заходящему на посадку Черенкову:

— Молодец, Андрюша! Дал фрицу, будет знать наших! — хотя наверняка знал, что за шумом мотора летчик его не услышит.

— Как дела, Егорыч?..— начал было выпрыгнувший из кабины Андрей, сбрасывая сжимавшую его кожанку. Но техник, не дав ему опомниться, схватил обеими руками сержанта за голову и крепко расцеловал.

— Молодец, Андрей Михайлыч! Уважил ты меня, машину не опозорил! Сейчас, брат, тебя ребята качать будут!

Андрей оглянулся. Со всех сторон к самолету бежали летчики.

— А разве...— начал опять Черенков, но на этот раз

сказать ему не дал откуда-то появившийся полковник Чавчавадзе.

— Старший сержант Черенков!— вроде бы грозно сказал он Андрею.

— Я, товарищ полковник! — вытянулся по стойке «смирно» Черенков.

— За нарушение дисциплины в воздухе объявляю строгий выговор и отстраняю от полетов на «У-2»!

— Есть,— упавшим голосом проговорил Андрей.

— За проявленную находчивость и смелость разрешаю перевод на штурмовик «Ил-2» и представляю к первому офицерскому званию «младший лейтенант».

— Служу Советскому Союзу, товарищ полковник! — широко улыбаясь, радостно выкрикнул Черенков.

— Вольно,— тоже улыбнувшись, сказал полковник Чавчавадзе.— Дай-ка и я тебя поцелую, ас!

Черенкова обступили, кто-то крикнул «качать его!», и, весело смеясь, сержанта стали подбрасывать. Но даже подбрасываемый в воздух, Андрей Черенков неотрывно смотрел в одну точку: там, на краю летного поля, стояли пять новеньких, сверкающих зеленой защитной краской штурмовиков «Ил-2».



Поднимется ли тростник без влаги?
Растет ли камыш без воды?
Еще он в свежести своей не срезан,
а прежде всякой травы засыхает.

Из литературных памятников Древнего Мира

1. «КАВКАС»

Он уже третьи сутки сидит на кошме один-одинешенек. Он сидит на полу землянки, этот маленький мальчик Сеня. А землянка та — в чаще песчаной, она затеряна среди гряд Муюнкума. И во все стороны от жилища никаких признаков человека. Пустыня, пустыня, пустыня...

Иногда вдалеке, где горы холмов песчаных сливаются в одну синюю волнистую линию, замаячит всадник или спутник. А присмотришься — куст жузгуна или одинокая, скрюченная в три погибели саксаулина.

Мальчик не плачет. Потому что он долго плакал и больше не может плакать. У малыша есть родители и братья. Но теперь они далеко. Собственно говоря, этим мальчиком был я.

* * *

Отец мой, чуйский рыбак и охотник, с войны пришел чуть живой.

— Через порог не мог переступить. Если б не щучья печенка, мне бы тебя, Егор, не поднять,— слышал я слова матери. — Плохо, оказывается, на войне вас кормили. А ведь мы много рыбы сдавали на войну...

— На передовой добрый харч был,— возражал тот.— Кроме своей порции еще ели и за побитых. А в госпитале — негусто... Да и за дорогу отощал...

Первое время отец не то что ружье — ложку не мог держать в руках. Она у него дрожала, и уха зря рас-

плескивалась. А семья жила как прежде: мать с братьями моими старшими ходила на узеки[1], что за барханами, долбила пешней лед и ставила гнилые сетки.

Отец же в это время думал про зверя, рыскающего по тугаям Чу и саксаульникам Муюнкума. И он исподволь готовился к предстоящей охоте: сидя на кошме, набивал зарядами патроны.

А я тут же играл негодными, раздутыми гильзами или наблюдал за приготовлениями к охоте. Признаться, мне и самому хотелось участвовать в этом деле — наполнять мерки маслянисто блестевшей дробью и вгонять яркие, красивые капсюли в золотистую гильзу. Но отец грозил всякий раз шомполом, когда я пытался подобраться к разложенным на кошме боеприпасам.

В январе отец и братка Витя перепоясались патронташами и на лошадях охотничьей фактории поскакали в глубь Муюнкума. Еще раньше, на арбе-двуколке, которую дал сосед-чабан Кужумурат, мать уехала. Ее увезли с язвой желудка в Гуляевку — русское село, где больница. И теперь я не знаю, что с нею. Умерла ли она, или ей просто не на чем вернуться домой.

А братка Володя три дня назад ушел на зимовье к тому же дедушке Кужумурату, чтобы выпросить у него пшеницы. Он хочет перемолоть зерно на ручной мельнице-диирмене, сварить из муки баланду, пышек испечь.

Кужумурат — добрый человек. Так считает отец.

— А почему он добрый?— спросил я, услышав новое для меня слово.

— Потому что умный, свет видел. В Мекку ходил,— отвечал отец, дымя и воняя ядовитой махоркой и морщась от боли в плече, изуродованном на войне немецкой пулей. Отец делил людей на тех, кто видел свет, и на тех, кто не видел света. Одних он уважал больше других. Хотя сам, если б не война, пожалуй, дальше Гуляевки нигде бы и не был. Многие русские-казахстанцы даже и в России не были за всю свою жизнь. Особенно первопоселенцы и потомки семиреченских казаков.

— Что такое Мекка? — допытывался я.

— Это город такой, где никогда не бывает зимы. Фрукты там растут прямо на улицах. Хошь рви, хошь любуйся.

Разумеется, я ничего не понял. Потому что фруктов и в глаза не видел. И в разговорах они не упоминались. Взрослые обычно говорили о войне, об охоте и рыбалке.

---

[1] Узек — по-казахски «речка». Бытует и в русском словаре казахстанцев.

О хлебе еще много говорили. Чем меньше хлеба, тем больше о нем говорят. И я знал, что бывает хлеб как солнце, но бывает и как чугун. Что бывает мягкий как пух хлеб, и бывает твердый как камень. Знал, что бывает настоящий хлеб, и бывает хлеб-эрзац. Конечно, только из разговоров я все это знал. А вот насчет фруктов я ничего не знал, хотя жили мы на юге Казахстана.

На всякий случай сказал тогда отцу:

— Ему хорошо-о-о...

— Нет, Кужумурату плохо,— возразил он, затягиваясь цигаркой и насыщая себя никотином, чтобы хоть как-то отвлечься от боли, которая объявилась перед бураном.— У него сынка Естена убили. Шальной пулей. Из «пэтээра» стрелял не хуже нас, охотников. Хотя и чабан был, а танки немецкие жег без промедления.

Что такое шальная пуля — тоже не знаю. Я ведь видел только обыкновенные, охотничьи. Те, что братья рубили из кусков свинца и обкатывали на диирмене. Свинцовые окатыши потом запечатывали войлочными пыжами. В каждую гильзу вкладывали по одному окатышу.

Отец и Естен до войны немного дружили. И воевали они — так уж вышло — в одном взводе. Теперь бы Естен был джигитом отца. Другом, значит, задушевным, для которого не жалко зарезать и последнюю овцу.

Дедушка Кужумурат заезжает к нам, когда пасет рядом с нами свою отару. Привяжет лошадь за корневище жузгуна, сядет по-восточному на кошме и молча слушает. Лишь теребит острую серебристую бородку, загнутую к горлу. Иногда по его морщинистому лицу скатывается слезина. Морщины у рта столь глубоки, что слезы по ним текут, как воды по сухому руслу арыка или узека. Я не знаю, о чем отец рассказывает Кужумурату. Они ведь говорят по-казахски. Наверное, про войну, коль слезы.

...Хотя бы дедушка Кужумурат пришел! Но не идет. Ни родителей нет, ни братки Володи. Никого. Мне так скучно, что и есть ничего не хочется. Уже второй день не беру ложку в руки. Это очень плохо, когда делать совсем нечего.

Были бы овчарки, я б катался на них верхом. Было бы на дворе тепло, я б запрягал в арбу черепах. У меня хорошая арба, прямо как настоящая! Оси железные, колеса — кругляши тополевые, кузовок решетчатый. Все честь по чести. Запрягай да поезжай. Дедушка Кужумурат подарил.

Но нет наших овчарок — где-то в песках гоняются за кабанами. Нет и черепах. Как зарылись летом в песок, так и не просыпались еще. Дрыхнут без задних ног. Сони.

Мне так скучно, что даже слезы на глаза наворачиваются. Но вместо того чтобы бесполезно плакать, рассматриваю газеты, деревянными клинышками приколотые к земляным стенам жилища.

Сквозь осколок стекла, вделанный под самой крышей, на некоторое время проникает луч солнца. И теперь можно хорошенько рассмотреть, что изображено на газетах. На одной из картинок воровато шагает аксакал с большой торбой за плечами. Бородка у него — точь-в-точь как у Кужумурата: острая, загнутая к горлу. Мне его штаны нравятся — много звезд и полосок. Таких штанов я никогда не видел.

Отец объяснил, что это никакой не аксакал, а жулик и разбойник. Он награбил много золота и сделал страшную атомную бомбу, от которой не только свинец, но и песок может расплавиться и как вода потечь. А зовут разбойника Янки.

Еще нравится буква «к», повторяющаяся в одном из слов. Однажды я спросил у матери:

— Что это такое?

Занятая латанием одежды, она взглянула на буквы, по которым я водил пальцем, и сказала: «Кавкас». Хотя, конечно, написано было: «Кавказ».

«Кавкас» теперь закрыт стеблями трав, которые свисают по стенам там и сям. Они попротыкали газеты и растут не вверх, а вниз. Лишь концы их загибаются.

В жилище мало света попадает, поэтому они почти без листьев. Одно название что трава. Длинные стебли их напоминают змей или огромных червей, которые с каждым днем становятся все длиннее. Так что в конце концов бледно-зеленые пучки совсем закрыли «Кавкас». Газетные полосы пожелтели, высохли, вздулись и стали похожи на коржи, из которых мать готовила вкусную лапшу. Но это было так давно!

Я взял деревянную ложку с обкусанными краями и почернелым изображением цветка, когда-то яркого, как подсолнух, и направился за печку, где стоял казан с баландой. Став на колени, черпаю хлебово ложкой.

Слово «баланда» в наше время стало нарицательным и утратило свой первоначальный смысл. Ныне баландой называют плохо приготовленное первое. А в трудные голодные времена баланда спасала людей от полного истощения. Баланда — мука, замешанная на воде.

Но и баланду мне не дали как следует похлебать. Только подошел к котлу, как тут же притащились кутята. Повизгивая от радости, они взбираются передними лапами на

край казана, на меня лезут. Кутята лижут лицо, вышибают из рук ложку. Они совсем не голодны, у них ведь тоже есть хлебово, полное корыто. Им просто хочется шалить и резвиться. Рассердившись, я бью ложкой в бугристые лбы. Но удары мои слишком слабы, они лишь раззадоривают шалунов.

Вдруг мне показалось, что кто-то в оконце заглянул. Бросив ложку, поднимаюсь по глиняным ступенькам. Кто там приехал?

На дворе хорошо. Вчера выл ветер, сыпались мокрые комья снега. Но теперь играет солнце, тепло. Ручейки талой воды на склоне бархана тут и там прорезывают извилистые руслица с бочажками и перекатами. Что тебе узеки.

Неделю назад на одном из ручейков братка Володя поставил деревянное колесико и сказал, что это водяная мельница. Колесико крутилось то медленно, то быстро, и мокрые лопаточки запускали мне в глаза крошечных зайчиков.

Теперь нет братки Володи. Может, его волки съели, раз его так давно нет. Я захныкал было, но тут увидел красивые камышинки, скучившиеся в самой низине межбарханья. Теплый ветер раскачивал тростинки, и обледенелые метелки чуть-чуть позванивали, тренькали. Я еще не знал, что это метелки, и назвал их «талаки». Я тогда часто придумывал названия, если что-то не знал.

Нагнул тростинки, пытаюсь отломить «талаки». Но тут у меня ничего не получилось. «Талаки» очень крепко сидят. Я принялся бегать по проталинам. Было приятно ощущать ногами упругий, мокрый песок, от которого немели подошвы.

Набегавшись вволю, рассматриваю отпечатки ног.

* * *

Следы рассматривал также, прокладываясь и принюхиваясь, зверь хищный. Это был тот самый волк, который в землянку заглядывал.

Стоял конец февраля, и песчанки, к великому горю волка, спали в своих тщательно заделанных норах. А зайцы-толаи уже ему не под силу были. Он был слишком стар, чтобы гоняться за зайцами.

Неподалеку стояла овечья кошара. Но, как говорится, видит око, да зуб неймет. Овец бдительно охраняли чабаны и собаки. Стоит овчарке в своем «секрете» зарычать, как тут же выходит старик с ружьем.

. Терзаемый голодом, он вынужден обретаться в пределах охотничьего зимовья. Промысловиков хищники волки не интересуют, так как на фактории не принимают волчьи шкуры. Правда, тут тоже надо быть начеку. Охотничьи псы лютее чабанских. Свернувшись клубками у теплой трубы, они спят сторожко, готовые в любой момент сорваться в погоню. Псы покорны человеку, они равнодушно смотрят на коз и овец. Но как они ненавидят дикого зверя!

Волку иногда снилось, что собаки учуяли его и продираются к нему сквозь прутняк жузгуновый, жесткий и упругий, как проволока. Волку всегда снилось что-нибудь такое, и у него шерсть вставала дыбом на загривке. Он вскакивал и соображал, не изменилось ли направление ветра. Хуже всего, если ветер подует с бархана на зимовье.

Бог ведает, чем только кормились овчарки! Волк видел, что они грызли различные предметы, обращавшиеся в тлен и прах: кости, куски кож, добытые с кочевий, высушенные ветрами и омытые дождями. В те годы человек почти не кормил своих четвероногих друзей. И волка удивляла псовая верность.

Но вот уже много дней вокруг землянки пустынно, как в глубине Муюкума. Собак нигде не видно. Хищник осмелел, приблизился к жилищу и даже заглянул в него. Из сугробов там и сям торчали мослы. Волк старый-престарый, он отощал и не прочь теперь поглодать и мослы.

Измученный голодом зверь боязливо преследовал маленького человечка, в руках которого не было черной блестящей палки, рыгающей огнем и причиняющей боль страшную и от которой несло смрадом псины и пороховой гари.

* * *

Заметив волка, я остановился и принялся его подзывать:

— Султан! Султан!

Я только что хныкал, воображая, что волки напали на братку Володю. Меня часто стращали волками. Это для того, чтобы я играл в чаще возле землянки и не бродил бы по барханам, где можно легко потеряться. Волки мне казались страшилищами вроде верблюдов и быков. Я и предположить не мог, что настоящие волки с виду не страшнее наших овчарок.

Словом, увидев голодного хищника,— а значит и самого опасного! — я посчитал его за рядового пса охотничьей своры. Бывали случаи, когда некоторые трусоватые псы

дезертировали из охотничьей своры. Этот, наверно, тоже — Султан, он тощ и худ, как бродячая дворняжка, и шерсть на нем клочьями свалялась. Мне его очень жалко, и я его зазываю в землянку.

Я сделал шаг, но Султан отпрыгнул в сторону, забежал за куст жузгуна. Я шагнул, но он злобно оскалился, показывая мне свои волчьи клыки.

* * *

Зверя пугали запахи, которые сопровождали каждое движение человечка. Ветер доносил запахи псины и гари пороховой. Зверь был стреляный и пуганый и всегда придерживался правила: подул ветер смерти — беги в саксаульники безлюдные, в тугаи непролазные.

Но голод страшнее ветра смерти.

* * *

Братка Володя вынужден был пережидать у Кужумурата. Из-за сильного внезапного бурана он задержался на целых два дня. И теперь со всех ног спешил к своему зимовью.

В дырявые сапоги набивался снег. Приходилось то и дело разуваться и выколачивать обувь о саксауловый посох. Братка уж готов был бросить сапоги и бежать босиком. Все равно дырявые. Потому что на уме у него было только одно: как там Сеня в нетопленной землянке. И стыд его томил: он сыт, а малый братишка на зимовье голодный кукует. У Кужумурата братка Володя хорошо подкрепился — ел мясо и пил чай с толстыми казахскими лепешками. С баландой разве сравнишь? И он спешил, как мог. Последние километры где шел, а где и бежал.

Спустившись с бархана, он остановился пораженный. У него даже ноги отнялись: у входа в землянку чернели следы, большие волчьи и маленькие человечьи.

Выхватив из-за голенища нож, он бросился к двери.

Почувствовав, что кто-то вошел, я поднял голову и вылез из-под стеганого одеяла. А братка погладил меня по головке и достал из мешка заячью ногу. Но прежде чем дать ее мне, он аккуратно обобрал все пшеничные зернышки и высыпал их себе в рот. Я съел ногу, обглодал косточку и пожалел, что она такая маленькая. На самом деле это была нормальная заячья нога.

Я тут же крепко заснул, но не выпуская руки братки, который лежал рядом на кошме. Он мне потом рассказы-

вал, что я все время бормотал какое-то слово. Наклонившись, услышал:

— Кавказ...

2. КАМЫШОВЫЕ СТРАННИКИ

Зеленые валы камышовых зарослей шумят меж двух пустынь: Бетпак-Далы и Муюнкума. Необозрима чуйская пойма, камыш да вода. Камыш да вода. Хляби необъятные.

В самом сердце поймы, по одному из ее узеков, медленно плывет душегубка — лодка-плоскодонка. В ней двое: отец и я, четырехлетний мальчишка. Повзрослевший, но мало прибавившийся в росте и весе за эти два послевоенных года.

Почти бесшумно движение лодки. Молчаливы странники. И лишь только заросли вдоль протоки полны движения, скрытого от глаз человека. Отовсюду доносится свист, писк, шорох, стон, скрежет.

Короткую, но показавшуюся мне долгой зиму я, как обычно, просидел в землянке, что в Муюнкуме. А весной собирал желтые тюльпаны и жестяной косой косил сено для черепах. Только два дня назад мы приехали с матерью на становище, оборудованное отцом на одном из крохотных островков-аралов чуйской поймы.

В прошлом году я тоже провел лето на становище и даже в одиночку странствовал на душегубке по Верхнему Жуланды-узеку. Вот как это случилось.

Убедившись, что взрослые заняты разделкой рыбы, я по знакомой тропинке двинулся прямо к пристани. Шел не спеша, иногда останавливался, рассматривая ажурные веточки астрагала и солодки — высоких тугайных трав, смыкавшихся надо мной. Идти было приятно, над головой травяной навес, а под ступнями расползается теплый песок, хрустящий, как крахмал. Чистый такой песок, ни одной колючки. Не то что в Муюнкуме, там травы колючие в основном растут.

На пристани влез в кувыркучую душегубку, как раз в ту, на которой отец ездит к дальним ставням. По чистому плесу на ней опасно ездить, а в камышах — в самый раз. Она, как щука, везде пролезет и дорогу себе найдет.

Свесившись с лодки, смотрю в глубину речную.

Из водорослей, натянутых течением, вышел нарядный окунь. Постояв немного, он скользнул под лодку.

Я привык видеть рыбу снулой, когда она совершенно теряет свой наряд. И поэтому с восторгом смотрю на под-

водную тварь, любуюсь ее панцирем, расцвеченным золотыми и черными полосами. Окунь прогоняет воду сквозь пунцовые жабры, а неподалеку от него, будто лапша в казане, бурлит мелкота — молодь неразумная.

Окунь лениво перевалил с боку на бок и метнулся в самую гущу молоди. И та блескучими стрелами прыснула в стороны, исчезла в подводных джунглях.

От нечего делать я принялся сталкивать лодку, которая и без того чуть держалась. Только успел забраться внутрь, как душегубку подхватило течением, понесло.

Вокруг все пришло в движение: камыши, травянистый берег, тальники. Пристань с другой лодкой и развешанными для просушки сетями пропала, скрылась за прибрежными зарослями. От неожиданности я заревел. Но мой плач в этой камышовой пустыне истинно был гласом вопиющего в пустыне.

Через некоторое время лодка замедлила движение, стала. Причиной тому были водоросли, блинчатые пластины которых на воде лежали столь плотно, что по ним разгуливали кулички. Между зелеными блинцами белели душистые чашечки кувшинок. Я перестал плакать и стал соображать, что неплохо бы нарвать цветов, пока лодка стоит. Я люблю всякие цветы, но в особенности — кувшинки. Из них букеты красивые получаются, и для питья они годятся. Пьешь воду из черпака — тиной разит, пьешь из кувшинки — медом пахнет. И вкуснее и слаще, чем из кружки или черпака.

Мне пришло в голову, что я тоже могу ходить по этому плавучему настилу, как те кулички. Недолго раздумывая, я перенес ногу через низкий борт душегубки. Почувствовав, что нога проваливается, я дернулся и свалился прямо на дно лодки. Опомнившись, заревел пуще прежнего. Но и на этот раз голос мой увяз в камышах, перевитых травами, перемежающихся тальниками.

Вдруг лодку,— верно, по щучьему велению!— понесло дальше.

Под космами камышовых сводов течение столь сильное, что снопы растительности, обрушенные в воду ветрами, сотрясаются, ходуном ходят, словно большие сомы в мотке бредня. Вода тут бурлит, клокочет, всюду образуются калачи и малахаи пены. А местами — так прямо настоящие сугробы. Но именно здесь, на течении, и застряла лодка. Ее прижало к камышу, и она чуть не перевернулась. По малости лет я тогда не ведал опасности.

Я тянусь к «малахаям» и «калачам», подрезаю ладонью дрожащий ком и рассматриваю его. А потом дую на

пену. Хлопья белыми мухами летят по тоннелю и оседают на воду. Подхваченные водой, они куда-то пропадают. Еще беру ком пены и сжимаю его руками. И в ладонях не остается ничего, кроме праха растений. Как интересно! Из ничего появляются целые сугробы пены, а дунул — опять же ничего не осталось.

Эти превращения пены вызывали недоумение, и они меня занимали до тех пор, пока не послышался треск камыша. В чащобе, буквально в двух шагах от меня, бродила камышовая курочка. Я даже онемел от восторга. Никогда не видел таких красивых птиц. Забыв обо всем на свете, я не сводил глаз с курочки. Видели бы вы иссиня-черное ее оперение, блестящую каплю киновари на лбу, чулки на длинных ногах в желтых разводах! Что в сравнении с ней куры, пылью пропыленные, и утки домашние, илом перепачканные! Должно быть, такая же Птица-Красотка, которую охотник никогда не может увидеть, но которая своим голосом всегда обещает удачу.

Курочка исчезла в зарослях, а я взял в руки короткое весло и стал отпихиваться от снопов камыша, среди которых застряла лодка. Больших усилий не потребовалось. Лодка качнулась раз-другой и опять понеслась по реке.

Я сидел на скамеечке и держался за края лодки. Над бортом торчала лишь белая, выгоревшая на солнце макушка. Я смотрел на зеленые мокрые бороды тины-нитчатки, свисающие с сучьев тала. Теперь лодка нигде не задерживалась, она ходко шла вниз по реке. Было радостно и жутковато. Макушку иногда задевали лохмы камыша и ветви тальника.

Вдруг заросли начали редеть, тоннель кончился. Лодку вынесло на плес, открытый со всех сторон. По глазам стеганули бесчисленные солнечные зайчики. Я увидел голый берег и желтый конус шалаша — родное становище. Лодка замедлила движение, снова оказалась среди зарослей.

Совершив «кругосветное» путешествие, я снова вернулся к становищу. Это объясняется особым характером узеков, которые очень извилисты. Если смотреть на узек с высоты птичьего полета, то можно обнаружить, что он состоит из петель-излучин. Плывущий по такой излучине может сделать на местности полный круг.

Проплывая мимо становища, я увидел мать у казана. Она как раз варила уху. Мне захотелось есть.

Лодка же хотя и замедлила движение, однако не остановилась. Я испугался, что проплыву мимо становища, что меня утащит вниз, на ямы, где живет страшный Сом-Лака, хвостом сбивающий в воду малых беленьких барашков.

Я с надеждой смотрел на берег, но там царило полное спокойствие. Старшие ведь привыкли, что я целый день охочусь в тугайнике или маячу в степи. Они зорко следили только за тем, чтобы я не подходил к узеку. А на пристань они мне даже и не запрещали ходить. Почему-то они считали, что я не знаю дороги к пристани.

Я закричал, и на берегу сразу же все пришло в движение. Побросав широкие ножи для разделки рыбы, братья кинулись к берегу. Братка Володя плюхнулся в воду прямо в одежде. Мать что-то кричала, наверное пыталась меня успокоить.

А я и не плачу, а тоненько и заливисто смеюсь. Мне смешно, что прилипшие водоросли точно змеи шевелятся на одежде братки Володи.

Мать же выговаривает отцу, который как ни в чем не бывало пластает рыбу:

— Ребенок самостоятельный, а ты его до сих пор плавать не научил. Так и до беды недолго.

— Твоя правда, мать. Вот дай немного управиться с рыбой, тогда и Сенькой займусь.

А потом была осень, и была зима. Скучное время года. Сидишь в землянке и не знаешь, когда день кончится.

И вот я снова на рыбалке. Снова путешествую по воде. Только не один, а с отцом.

Мы встали рано утром, когда лиловые тени камышей еще лежали по всему аралу. Отец принялся собирать висевшие на просушке сети, а меня, полусонного, послал вычерпывать из лодки застоявшуюся, вонючую воду.

...Солнце высоко поднялось над зарослями, и уже обволакивает полуденная камышовая духота. А вокруг все то же: камыш да вода. Берега я не вижу. Воды текут не только по руслу узека, но и по всему окружающему пространству. Сотрясаются камышовые леса.

Я поудобнее устроился на сухих сетях, подпер голову ладонями, смотрю вперед. Туда, где сходятся желто-зеленые стены зарослей. Кажется, что там тупик. Но лодка плывет и плывет, а протоке нет конца-края.

— Смотри, сынок,— слышу шепот отца.

Смотрю туда, куда показывает отец, и вижу птицу. Вытянув длинную шею и острый, похожий на шило клюв, она маскируется среди толстых тростинок камыша.

Отец хлопнул шестом по воде, и птица, взмахивая большими крыльями, тяжело летит над протоком.

А за очередным поворотом, на уширении протоки, на нас выставился селезень. Отец оттолкнулся от берега посильнее и замер, как статуя. Отец боится спугнуть селезня,

а тот даже не обращает внимания на мимо плывущую лодку. Смотрит в зеркало плеса. Видно, любуется собственным отражением и никого не замечает.

— Эх, нет ружья,— шепчет отец.

Это хорошо, что нет ружья. От выстрелов у меня уши закладывает. Да такую красивую птицу просто жалко убивать. По малости лет я еще не знал, что именно вот такие прекрасные селезни превращаются в дичь — в мертвых, покрытых темными пятнами крови птиц. Не знал также, что отец, чтивший неписаные охотничьи законы, не стал бы стрелять в утку летом.

И снова камыш, бульканье воды, шуршание и шелест камыша. Иногда доносятся звуки скрипучие:

«К-р-р-ра! Кр-р-р-ра!!»

Возможно, кто-то кого-то предупреждает об опасности. И как бы в ответ на этот скрипучий голос доносится утробное мычание.

— Пап, а как в воде коровы живут?

— Это не коровы, это бугай кричит, невеликая такая птичка.

Лишь на некоторое время воцаряется тишина. Затем доносится жалобное овечье блеянье.

— Ой, пап, может, Зорька тонет,— всполошился я, вспомнив белую овцу, которую украдкой от всех кормил пышками.

— Нет, Сеня, это тоже птаха невзрачная кричит. Голос у нее такой жалостливый. Птица-Погиб называется. Говорят, рыбакам она сулит несчастье... Она в этих местах все время обретается.— Отец молча несколько раз сильно и удачно отталкивается от берега (а дна шест не достает) и добавляет: — Все говорят: к несчастью, а рыбы много дают эти узеки...

Пойма живет своей, скрытой и непостижимой для людей жизнью. Совсем не так сейчас в Муюнкуме, где зимовье.

Цветы иссохли, превратились в гремящие коробочки, рассыпались в прах, и их растащили жадные муравьи. Сочные злаковые травы порыжели, скрутились в жесткие спирали. Горячий ветер обмолотил дикие злаки и развеял их зерна. Черепахи же, для которых я косил травы и которых запрягал в игрушечную арбу, зарылись глубоко в песок, замуровали себя до следующей весны. Они ведь не выносят жары. Даже ящерки-агамы не сидят теперь, как обычно, на ветвях жузгуна, не кивают путникам головками. Они тоже попрятались куда-то. Летом нет жизни в Муюнкуме.

На меня капает с шеста вода, и на мокрую рубашку садится всякий гнус. Но я стараюсь не обращать внимания на оводов и комаров. Оком и ухом стремлюсь постичь жизнь поймы.

Вот шумит камыш. Как чуден, как таинствен его шелест. Он то усиливается, то ослабевает до едва различимого шороха. Доносится трепетание тростинок, колеблемых струями, да печальное комариное разноголосье.

Он всегда шумит, этот камыш. О чем он шумит?

Если б я понял древний речитатив камыша, то узнал бы много интересного и страшного. Узнал бы о схватке диких кабанов-секачей с тиграми. О гибели тигров в совершенно недавние времена.

О многом мог бы рассказать камыш. Древние народы считали камыш разглашателем тайн. Именно камыш разнес по свету, что у царя Мидаса ослиные уши. Но теперь его язык загадочен и непонятен. Ныне камыш правильнее назвать хранителем тайн.

— Я знаю, почему ветер бывает,— делаю открытие, глядя на тростник.— Камыши шатаются, и получается ветер.

...Отец прочищает резаком просеку, ставит сетки. Я тоже даром времени не теряю. Обрываю листья камыша, широкие и острые, как лезвия рыбацких ножей, и загибаю их концы, как братка Володя учил. Получаются лодчонки, похожие на душегубки. Изготовив несколько лодочек, я их опускаю на воду. Но прежде зачерпываю внутрь немного воды. Капли дрожат, блестят как ртуть, перекатываются по зеленому ворсу листа. Опущенные на воду и подхваченные течением, они тут же исчезают в зеленой тьме камышового леса. Что ж, можно еще наделать.

До смерти люблю все, что плавает. Я обнаружил, что плавают не только лодки и поплавки, но также и утварь кухонная. Известно, железо тонет — ножи, топоры, обручи. Даже деревянная бричка тонет, так как она всякими железяками окована. А вот посуда плавает! Из-за этого опять шум был, мать снова мне выговаривала.

Начищенная песком и водорослями, посуда обычно сушилась на берегу. А я помогал братке Володе чинить снасти. Только на минуту он отлучился, я тут же нашел себе дело. Сначала закачалась на воде зеленая миска. Следом за ней, осев тяжело, как груженная сазанами лодка, поплыла сковородка. Успел отправить в плавание и таз для мытья. Братке пришлось догонять посуду и вылавливать ее аж в камышах.

Из-за этой посуды меня теперь не оставляют одного и

на минуту. Везде всегда с собой берут. Но мне не хуже. Я ведь люблю путешествовать: хоть в телеге, хоть в лодке.

Одну за другой спускаю на воду лодчонки, и они уплывают. Я уже отправил целую флотилию. И вся она исчезла без следа. Провожая глазами лодчонки, пропадающие в пространстве, глядя на струение воды, на трясущиеся тростники, я смутно ощутил бесконечность и всепоглощающую способность пространства. Разумеется, я не мог в этот момент до конца понять, тем более как-то объяснить себе это ощущение. Но я помню, как вдруг впервые в жизни ощутил бесконечность пространства и почувствовал нечто похожее на угнетение или растерянность.

Я тогда даже чуть было не захныкал. Но рядом находился отец. Он ходил по грудь в воде, проверял, надежно ли поставлены сети. Я пожаловался ему, что мои лодочки куда-то уплыли. А он мне посоветовал не делать их, раз они уплывают.

На становище вернулись поздно. На небе уже появились первые стаи звезд, а в жестких степных травах разноцветных кузнечиков сменили сверчки, одетые в черные панцири.

— Сенька, небось, хныкал,— услышал я голос матери, укладываясь спать в масахане — марлевом пологе.

— Весь день рта не открывал. Верно, еще воды боится. Напуган ведь в прошлом году... Завтра опять возьму. Пусть привыкает к рыбалке. Да и помощник все же. Где тычку подаст, где за камышок попридержится. Как-никак четыре руки, а не две...

Узнав, что меня завтра снова берут на рыбалку, я даже пискнул от удовольствия в своем марлевом масахане. И тут же закрыл глаза, чтобы поскорее уснуть. Мне хотелось приблизить миг радостного пробуждения.

3. НА ПЕРЕКАТЕ

Вода пенится и клокочет. А в глубокой яме, где живет страшный Сом-Лака, медленно и торжественно кружат черные воронки водоворотов.

На середине реки вода захлестывала телегу, вырывала клочья соломы, вспучивала брезент, которым было закрыто наше имущество.

Вот уже унесло что-то из одежды. Вот уже наперегонки с клочьями соломы уплывает мое ружье!

Родители стоят по пояс в воде и ничего не могут поделать. Мать держит меня на руках. Отец же погоняет быка,

старается вывести его на отмель еще до того, как телега остановится. Не дай бог, если телега остановится! Бык сразу же утонет — он ведь под ярмом. А это большое несчастье, если бык-кормилец утонет...

Я хорошо запомнил тот день, когда мы переправлялись на правый берег узека. И черные воронки запомнил, и зловещее клокотание воды. И как уплывало мое ружье вместе с соломой. Прекрасное ружье, из сосны, с полым стволом и упругим железным замком. Мне его за трех больших сазанов сделал гуляевский кузнец Ахмет-кожа.

* * *

Страшновато на этом бормочущем переезде. Не могу забыть, как погружалась в быстрину телега. Но помалкиваю. Вдруг отец передумает. И тогда жди следующего года. Если что отец откладывает, то надолго. А я так люблю купаться!

На Кокуй-урочище, где наше зимовье охотничье, я из воды не выходил. Целыми днями плескался в арыке, который был проложен, наверное, еще во времена хорезмского царства. Арык не глубокий, на дне золотистые песчинки поблескивают. Вода, попадающая сюда из холодных чуйских узеков, становится теплой. Барахтаться в такой воде одно удовольствие.

Нынче меня не оставили на Кокуе, взяли на становище. Сказали, что я должен помогать старшим. Дескать, большой уже, скоро в школу, годика через два. И вот я хожу за кизяком или рыбу солить помогаю.

Если же управлюсь быстро с делами, то меня отпускают поиграть. И тогда я по набитым извилистым тропинкам катаю звонкопевучие обручи. Или же беру лук и открываю охоту. Больше всего я люблю охоту. Лук мне вместо пропавшего ружья братка Володя смастерил. Он же и стрел наделал — из тонких камышовых тростинок. Стрелы почти как настоящие: наконечники железные, острые, как шило. Они летят далеко-далеко. Иногда пустишь стрелу и не найдешь. Правда, стрела никогда не летит прямо. Она почему-то виляет. Но это ничего. Если я выпустил стрелу в бегущего зайца, то он убитым считается. Словом, без дичи на стан я не возвращаюсь. Прихожу и рассказываю: столько-то зайцев и столько-то ворон. И они верят. У меня нет привычки сочинять. Я всегда выпускаю стрелу только в цель. Взлетит из-под ног фазан, роняя перья, как жар горящие,— стреляю. Выскочит с треском и шумом заяц из тамариска — стреляю. А чтобы просто так прыскать по

сторонам стрелами — нет, этого баловства за мной не водится. Братки ведь тоже не станут из ружья палить почем зря. Они охотятся только осенью и зимой, когда сезон.

Старшие с интересом расспрашивают про охоту, похваливают. Советуют, как лучше подкрадываться к зайцу, подсказывают удачливые места.

Но тут, видимо, надо сделать пояснения. События, о которых я рассказываю, происходили в те времена, когда воду среднеазиатских рек еще не разбирали на орошение, и они, эти реки, свободно разливались по лессовым и песчаным равнинам, образуя многочисленные озера и узеки. Прибрежные тугайные заросли и камышовые заломы трещали, проламываемые зверьем, а над водами в несметном количестве носились птицы. Многие русские-казахстанцы в те годы занимались исключительно промыслом: охотой и рыбалкой. И нет в том ничего удивительного, если родители поощряли «охотничьи» игры. Охота и рыбалка — подходящие для мужчины занятия.

Однако большую часть времени я не охотился, а помогал старшим. Насобираешь в мешок коровьих «лепех», высушенных солнцем, выбеленных ветрами и дождями,— тащишь их на становище, к очагу. А потом опять идешь за кизяком. Топки ведь много надо: в казане то еда варится, то рыбий жир вытапливается. В очаге почти целый день огонь горит.

Солить рыбу легче, чем собирать кизяк. За кизяком приходится в степь ходить, приходится целый день торчать на солнце. Недаром же у меня макушка, как прошлогодний кизяк, стала белой, выгорела. А тут тебе бросают язей и сазанов, распластанных по хребтине, а ты знай посыпай их солью. Это гораздо легче, чем кизяк собирать. Сиди себе в тенечке да набивай в жабры соль.

Однако я смерть как не люблю солить рыбу. Нет ничего хуже. Лучше уж целый день по степи ходить не евши, только бы не возвращаться к ненавистной куче соли. Хотя в испепеленной солнцем степи тоже не мед.

За спиной мешок с кизяком, через плечо лук, на боку тряпичный колчан, набитый стрелами. Нацепил на себя всяких причиндалов, как тот Робинзон Крузо, что жил на необитаемом острове. Колючие травы до крови царапают ноги. Но мне в степи больше нравится. Тут нежно пахнет кермек, тут всегда почти все лето цветет запашистый пенно-розовый тамариск. Всегда что-то неожиданное встретишь. То гриб сухой попадется, размером с тарелку суповую. То увидишь выползок змеиный, серебристый, шелестящий на ветвях тамариска. Еще Барсик шныряет по

кустам, нет-нет да кого-нибудь выгонит. То зайца-толая, то стрепета белокрылого. А то и фазана, красивого, как Жар-Птица. Нет, все же лучше ходить по степи, чем сидеть под лопасиком[1] возле кучи соли.

Все ничего. Вот только придешь на стан с кизяком, а искупаться и негде. Не Барсику — мне. Мать строго-настрого предупредила: «К узеку — ни шагу!»

Это после того, как я сходил на пристань и без позволения старших забрался в лодку. Да еще потом посуду в узек покидал зачем-то, голова садовая. Видите ли, захотелось посмотреть, как она плавает...

Я очень обрадовался, когда отец объявил о своем решении. Страшновато, конечно, но я и виду не показываю. Ведь если научусь плавать, то мне разрешат бултыхаться в узеке. Особенно вечером хорошо — вода теплая-теплая, как в арыке кокуйском после обеда. Так бы и сидел всю ночь в узеке.

...Отец взял камешек и сказал мне: «Смотри, как собака плавает». А Барсику приказал, бросив камень:

— Тащи!

Пес глухо гавкнул и плюхнулся в воду. Барсик плавает туда-сюда, повизгивает от волнения. Он ведь не может вернуться к хозяину ни с чем. Барсик — самый умный пес в охотничьей своре. И самый храбрый. Проведешь рукой по телу — одни шрамы. Места нет живого. Меня он тоже слушается. Скажу: «Ляг тут!», а сам пойду дальше. Будет лежать, пока не вернусь. Я его оставляю там, где «лепех» много найду. Чтобы не забывать место, пока на стан ходишь разгружаться.

А теперь вот Барсик показывает мне, как надо плавать. Пес плавает туда-сюда, якобы ищет брошенный камень, и я вижу, как он гребет передними лапами. Завидую ему:

— И ты делай так же: руками греби к себе. Только ногами не забывай бултыхаться.

Отец вошел в воду и показал, как надо плыть «по-собачьи». Он плавает, и брызги летят в стороны и как бомбы обрушиваются на синеньких стрекозок, примостившихся на камышинах. Но стрекозки увертываются от капель. Одна из них, наверное чересчур смелая, угнездилась на голову отца. Увидев это, я рассмеялся и чуть меньше стал бояться переката.

Отец поддерживает меня своей широкой и шершавой, как разделочная доска, рукой, а я стараюсь плыть «по-собачьи». Заметив, что я уже держусь на воде, отец отпуска-

---

[1] Лопасик — навес для защиты от солнца.

ет меня. Но я испугался, закричал и конечно же захлебнулся.

На берегу я долго кашлял, отплевывался. Меня даже тошнило. В воду я больше не захотел идти.

* * *

Над рыбацким становищем, над головой,— яркое солнце. Оно палит так, что рыжая степь дымится. А небо всегда синее-синее, как цветочки на бухарских пиалах! — выгорело, пожелтело. Собирая кизяк, я вспоминаю кокуйский арык с золотистым песчаным дном и теплой, чуть журчащей водой. Мне захотелось искупаться. Но этот ужасный перекат! Там пропало такое замечательное ружье...

И все же я опять иду к узеку вместе с отцом. Отец не стал меня уговаривать. Он разогнался и сиганул с обрыва в яму. В ту самую, где, говорят, живет страшный Сом-Лака. Он ласточкой пролетел над глинистым береговым уступом и глубоко ушел под воду. Сверху видно его шоколадно-коричневое тело, странно сократившееся в размерах.

Отец долго не двигался там, под водой. Наверное, показалось, что не двигался. И что долго, показалось. Возможно, он и на самом деле лег на дно и замер там на полминуты, наслаждаясь прохладой придонных струй. Среди рыбаков отец лучше всех ныряет. Не ради развлечения, конечно, а чтобы, например, освободить от цепких лапищ коряг мотню невода. А то, бывает, нырнет, и его нет. На берегу уже все начинают беспокоиться, а он вдруг вынырнет с сазаном в руках. Сазан — рыба ушлая, всегда прячется под кручу, когда яму тралят бреднем. Приходится выгонять его оттуда, выцарапывать руками.

Отец отфыркался и стал поддразнивать меня:

— Ай водичка, прямо шелк! Плыви ко мне, Сеня!

Однако он сам подплывает ко мне и подает мне ракушку величиной с ладонь. Жемчужное нутро ее сверкает и переливается.

— На перекате лучше есть. Хочешь посмотреть?

И мы плывем. То есть я молочу руками и ногами, а отец идет рядом, поддерживает меня снизу своей сильной рукой. На середине, там, где ему уже «по щеки», он остановился. Я набрал воздуху и опустил голову в воду, чтобы хорошенько рассмотреть лежащие на дне сокровища.

Не ракушки, не камни самоцветные увидел я, а яркие полосы и пятна: зеленые и оранжевые, голубые и черные, пятна, серебром и золотом отсвечивающие. Они дрожали,

переливались. Лишь музыка могла бы передать всю эту игру красок. Я опять набираю воздуху и снова рассматриваю камни и ракушки.

Отец сказал, что он еще достанет мне камешков и ракушек, но хотел бы, чтобы я поскорее научился плавать и нырять за теми камешками.

* * *

Собирая кизяк, я поминутно смотрю на солнце. Кажется, что оно уже высоко, а меня почему-то не зовут. Был бы мешок полный, на стан можно было бы прийти пораньше. Но как придешь, если в мешке две тонюсенькие «лепехи». Доходного языка не сваришь, не то что котел ухи. А вернешься с пустым мешком — братья засмеют. Им только дай повод. Все время приходится быть начеку — чуть что, на смех поднимают. И мать выговаривать будет, что плохо ей помогаю. Вот я и хожу по степи. Буду ходить до тех пор, пока сами не позовут. Наконец-то!

— Сеня-а-а! Идем купаться.

Последние слова отец произносит негромко. Их могла услышать разве что мать, возившаяся у казана. Но я понял, в чем дело, и бегу по земле, сухой и растрескавшейся, словно бы выложенной калеными глиняными плитками.

В воду входим каждый сам по себе. Отец идет рядом, чуть ниже по течению, чтобы в случае чего меня перехватить. Я молочу руками, буцкаю ногами, стараюсь без помощи отца одолеть перекат. Но почти на самой середине глотнул воды, захлебнулся.

На берегу кашляю, отплевываюсь. Отец говорит хмуро:

— Погляди на «талаки» свои. Сейчас они как шелк. Но скоро пожелтеют, распушатся. Скоро вода станет холодной. Ты должен научиться плавать, пока «талаки» не распушились.

Напоминаю читателям, что слова «талаки» нет ни в одном словаре. Позапрошлой весной я был совсем маленьким и не знал, что метелки — цветы камыша. И тогда придумал «талаки».

...Скорее бы мне научиться плавать! Тогда бы мне разрешили гонять лодку на ту сторону. Например, если надо привезти кизяка. На нашем берегу его уже мало осталось. На той стороне вообще интереснее. Там даже есть джидовая роща, не то что на нашей стороне: три чахлых кустика тамариска. И дичи не стало. Всех зайцев и стрепетов Барсик поразгонял. Бегает как заполошный. А там вон сколько дичи. Вороны тучами летают. Гнезд на джидинах не

сосчитать. И фазанов в той пуще немало. Звонко «цугукают» по утрам.

Неужели я не успею научиться плавать до того, как метелки распушатся, пожелтеют? Собирая кизяк, все время поглядываю на гривы камышовые. Как не желтеют — конечно желтеют! И пушатся, иные что тебе хвосты лисьи. Значит, отец запретит купанье...

А на той стороне, в серебристой роще, играют стаи ворон и пронзительно вскрикивают фазаны.

...Отец, обремененный рыбацкими хлопотами и заботами,— теперь я так думаю,— наверное, не скоро бы заметил созревание камыша. Но тогда я как приговора ждал запрета.

* * *

Целых три дня мы не ходили купаться. Отец с братками даже на обед не приезжал. Они пробивали в камышах новые просеки и переставляли сетки и вентеря на новые места. Потому что вода упала и на старых ставнях рыба плохо идет. Только сегодня к обеду закончили бить просеки. Работы совсем мало. Когда рыба не идет, то кизяку мало расходуется и солить нечего. Сижу под лопасиком и перебираю ракушки и камешки в корзинке, за которыми отец нырял на дно узека. Мне кажется, что самые красивые на дне остались. Это потому, что отец не любит нырять с открытыми глазами. Он и сазанов на ощупь из-под круч выцарапывает. Научусь плавать — буду нырять только с открытыми глазами.

Сегодня утром отец сказал, чтобы я собирался в гости к дедушке Кужумурату. Вот и перебираю свои сокровища. Надо что-то выбрать для Амана и Рустема — Кужумуратовым внукам. Отец повезет дедушке Кужумурату свежих сазанов, а я повезу ракушки и камни. А как же, разве можно на джайляу[1] ехать без подарка? Завтра после обеда запрягут в бричку быка, и мы поедем. Представляю, как обрадуются Аман с Рустемом. Мы, конечно, будем дружить. А я их позову к нам на становище. Отец пообещал уговорить дедушку Кужумурата, чтобы он отпустил с нами Амана и Рустема.

Эх! А я и плавать не успел научиться! А то бы показал, как плаваю. А самое главное то, что нам бы разрешили переехать на ту сторону, где живут фазаны с длинными и красивыми, как у Жар-Птицы, хвостами...

---

[1] Джайляу — летовки, летние пастбища. Обычно в пойменных долинах рек.

* * *

Стоит полуденная азиатская тишина. Ни былка не шевельнется, ни лист не шелохнется. Лишь только доносится стрекотание пунцовокрылого песчаного кузнечика, за которым гоняется Барсик, поглупевший от безделья и духоты. Смотрю на мокрую шерсть своего друга и, конечно же, завидую ему. Он уже успел выкупаться. А тут вот сиди и жди, когда тебя позовут. Еще неизвестно, что скажет сегодня отец.

А тот, как обычно, воткнул широкий рыбацкий нож в разделочную доску, покрытую тусклой бронзовой сазаньей чешуей, направился к узеку. Отец шагает широко, а я бегу рядом вприпрыжку. Рад, нечего и толковать.

Плюхнувшись в воду, я как-то легко поплыл. Было такое ощущение, будто во мне и веса нет, а сам я как пробка красная. Я то плыву «по-собачьи», то «по-рыбачьи» — взмахивая над собой руками, то есть саженками. Так я плыл до тех пор, пока не почувствовал под собою твердое песчаное дно. Встал, удивленно посмотрел назад. Я переплыл узек!!!

Отец поощряет с середины узека:

— Молодец, Сеня! Полежи на песочке, отдохни.

Вот. Теперь я буду ходить на узек в любое время. Теперь мне и на лодке разрешат переезжать на эту сторону. Вон роща джидовая, совсем рядом, можно за пять минут добежать.

Но я лежу на песке. Ведь опять придется переплывать узек. Вскочил, бросился в воду. Легко поплыл. Но где-то на середине узека почувствовал, что руки отяжелели. Я уже не мог плыть саженками, как отец, а греб только «по-собачьи». Я плыл, выпучив красные, натруженные водой глаза, прикидывая, далеко ли до берега.

Я греб из последних сил, а берег нисколечко не приближался. В довершение ко всему меня сносило течением на широкое место, в Соминую яму. Хотелось кричать, звать на помощь отца. Но я уже приучен не кричать. Крикнешь, хлебнешь воды — все пропало.

И хотя берег не приближался — все равно греб руками и молотил ногами. Надо плыть и плыть, и тогда обязательно доберешься до берега. Если плывешь — то в конце концов неизбежно приплывешь к берегу. Так отец говорит. А он знает, что говорит.

Однажды, во время сильного ветра, он перевернулся на Больших Камкалах и поплыл к берегу. Хотя был в одежде и сапогах. Хотя Большие Камкалы — не узек узкий, а

большое-пребольшое озеро, почти море. Такое большое, что человека на том берегу и не видно. Да что там человека — верблюд и то как букашка. Отец же переплыл, хотя был в сапогах. Он мог разрезать ножом холявы сапог и сбросить обувь. Но ему было жалко портить новые резиновые сапоги, и он плыл обутый.

Конечно же, посреди Соминой ямы я не рассуждал насчет сапог. Я просто плыл. Но я и тогда помнил, что отец переплыл Большие Камкалы, и твердо знал, что надо плыть и плыть.

Отец был уже далеко, за поворотом, когда я ухватился за толстые камышовые корневища, похожие на щупальца спрута. Поглядел наверх, а там, из травы,— голова Барсика торчит. Пес звонко лает, приветствует меня с кручи. Мне радостно, и я дразню Барсика, зову его к себе. Я знаю, что он только что выкупался и ему не хочется опять лезть в воду. Он притворно тявкает, повизгивает. Ну, это уж ни к чему заслуженному кабанятнику, ветерану охотничьей своры. Но вот он шумно плюхается в воду и начинает плавать вокруг да около, поглядывая на меня своими умными глазами.

А мне просто радостно. Никогда так не было радостно, как теперь. Теперь, когда я, как и Барсик, как и отец, могу переплыть узек. Даже на таком широком месте, как Соминая яма. И сомов бояться нечего. А чего их бояться: ягнята сами по глупости тонут. И Сом-Лака ни при чем. Ему дай бог лягушку проглотить.

Передохнул, кажется. Цепляясь за камышовые корневища, за камышины, перебираюсь к перекату. Плыть против течения — сил пока не хватает.



Машина остановилась у небольшого домика на окраине города. Антипов вышел первым. Жестом пригласил во двор. Калитка была нараспашку. Да мы ее сперва и не заметили, как и саму изгородь, настолько «условную», сквозящую, что деревья и кустарники вокруг дома воспринимались естественной принадлежностью лесного островка. Мы и вошли с таким чувством, будто ступили на диковинный остров... Терпковатый хвойный запах, струящийся от нескольких елей, придавал здешней атмосфере особенную чистоту. На фоне покачивающих гривами ив светилась береза. Здесь оказались и абрикосы, и яблони, и жасмин, и малина, даже туя... И всюду — цветы. Они стояли скученными группками у самого дома и в глубине, создавая южный огненный орнамент, незамкнутый, незавершенный, несимметричный и тем еще более притягивающий взгляд...

— Вот это мой сад,— коротко сказал Антипов и надолго замолчал, то ли оценивая наше впечатление, то ли не желая мешать этой нашей встрече с цветущей землей.

После хлипкой зимы и затяжной весны живая, язычески первородная красота растений рождала в наших городских душах почти детский восторг и чуть ли не стариковскую умиленность. Хмельной, настоянный на травах и цветочных ароматах воздух раскупоривал все клетки наших легких, мы блаженно улыбались, и Антипов понимающе щурился.

— Да вы не стесняйтесь, пожалуйста,— подбодрил он, прошагав по хрусткой траве в сторону тюльпанов.— Составляйте букеты, какие кому по душе... Смелее. Смелее! Или не любите цветов?

Мы наперебой завосхищались, залопотали, задвигались. А Петр Григорьевич, улыбаясь, протянул женщине, бывшей в нашей группе, стройный, бархатистый тюльпан:

— Собирайте ему товарищей. Вот так. Поувереннее. Не бойтесь — цветам от доброй руки не больно...

Мы уезжали в Ленинград с букетами нарциссов и тюльпанов и с молчаливым чувством влюбленности, какого-то нежного уважения к человеку, о котором еще три дня назад знали только понаслышке.

Дорогой я все вспоминал его фразу «цветам от доброй руки не больно». В голове вертелись спорные, а в чем-то и бесспорные сообщения последних лет о «чувствовании» растений, о сенсационных опытах Клива Бакстера, объявившего, что драцена (растение из семейства лилейных), стоявшая на его окне, буквально прочитала его мысли, скверные, надо сказать, мысли, и в момент, когда он только подумал поднести к листьям пламя зажигалки, послала через датчик на прибор отчаянный импульс; вспоминал я и не такую сенсационную, но не менее потрясающую информацию: ученые Ленинградского агрофизического института построили электрическую схему, которая, посредством датчиков, позволяла, кажется, фасоли либо включать, либо выключать искусственный свет,— как говорится, по потребности... Так больно все-таки цветам или не больно?

Я подпрыгивал на продавленном сиденье нашего «газика», повисал над ухабами в пыльном и тесном пространстве кабины, на секунду продавливая макушкой блеклый брезентовый верх, но букет держал на руках, словно на амортизаторах... Больно или нет? Может, они и в самом деле чувствуют? Но вопрос этот ворочался все меланхоличнее, становился все туманнее, а сквозь него проступал, брезжил ответ: для меня все-таки важнее чувства человека, сам человек, который догадывается или знает о «душе» растений... А ведь именно с таким человеком свела меня журналистская дорога, начавшаяся пасмурным летним днем...

Наша журналистская и литераторская группа отправлялась в Волхов... Небо было серым, тяжелым, неподвижным. То и дело накрапывал дождь. Только далекая светлая полоса над горизонтом вселяла надежду на то, что распогодится. Так и случилось, но лишь к вечеру. А тогда на фоне хмурого простора странно, фантастично светились деревья, опушенные молодой листвой, подступали с обеих сторон, как прозрачное зеленое пламя, и мы летели по узкому коридору, наполненному каким-то завораживающим свечением... Непросто это передать словами, да и кисть немногих художников смогла бы остановить это мгновение, перенести на холст юную праздничность листвы перед дождем или во время дождя...

В наших планах были встречи с тружениками Волховского района, выступления и знакомство с предприятиями — дорога подсказала еще один адрес: возникла мысль встретиться с кем-то из хозяев этой лесной красоты, скажем с лесничим. Кто-то вспомнил: так ведь здесь живет и работает в лесничестве человек очень трудной, во многом трагической, но и очень счастливой судьбы — Петр Григорьевич Антипов. Герой Социалистического Труда, первый в стране лесничий, удостоенный этого высокого звания. Заслуженный лесовод РСФСР. Почетный гражданин города Волхова.

Когда мы договаривались с Петром Григорьевичем о встрече, мы знали, что он — защитник Ленинграда и Сталинграда, кавалер многих боевых орденов, что его сегодняшние лесные владения занимают огромную площадь — 28 тысяч гектаров, что он человек чрезвычайно добрый и страстный в работе, что с ним знаком, считай, весь район. Знали мы немало, но открыли при встрече много больше..

«Газик» несся к одному из участков Волховстроевского лесничества. Лес то высился у самой дороги, то отступал вдруг на несколько километров, открывая поля.

— А это вот школа,— кивнул Антипов в сторону большого безлесного пространства.

— Школа? А где же она?

— А вы присмотритесь. Вот те маленькие елочки — видите? — посажены нашим лесничеством. Подрастут здесь, наберутся сил, ума-разума, как говорится, и пересадим в лес.

Непросто этим игрушечным елочкам, которые не выше сапог школьников, ухаживающих за ними, оттолкнуться от земли и потянуться в небо. Бурьян куда шустрее крохотного ростка, проклюнувшегося из семечка, высеянного лесной сеялкой... Дожди зачастят — вроде бы на пользу, но — трава в рост, а еловый росток задыхается в оплывшей глине, а если еще и заморозки следом придут — сожмется земля и вытолкнет ростки с неокрепшими корнями... Вот и холят — пропалывают, опрыскивают химикатами, подкармливают, рыхлят почву — школьники и техники-лесоводы своих питомцев...

— У них иголки еще как у новорожденных ежат — только с виду колючие,— говорю я.

— Ничего. Пока еще беззащитны, но поднимем, выведем в люди,— отвечает Петр Григорьевич.

— Были сомневающиеся в свое время, — продолжает он. — Мол, это вам не картошка — лес! Смеялся даже кое-кто над нашим начинанием — а первый питомник мы зало-

жили в 1953-м,—но жизнь оказалась на нашей стороне. Теперь не только ели — сосна и лиственница у нас вот в таких же школах «обучаются». А как иначе? Надо помогать лесу восстанавливаться, если уж в таких масштабах у нас потребность в древесине — шутка ли: ежегодно в стране вырубается столько леса...

— А новогодние порубки?

— Ну, это вопрос вопросов,— растягивая слова, сказал Антипов.— Я лично за сохранение древнего обычая, и все же, думаю, пора умерить нашу праздничную «кровожадность»... Не довольно ли в доме веточки еловой или сосновой в Новый год? И зелень, и запах лесной. Я, конечно, против этих ультрасовременных предложений — где-то слышал, на высоком, так сказать, уровне: мол, каждому по синтетической елке да по баллону хвойного дезодоранта, и — привет! Это перегибы — никакая синтетика не заменит ели. Но и рубить направо-налево давно уж не то что непозволительно — преступно. Все мы вроде о красоте радеем, а сами же ее и разрушаем. Ну зачем, скажите, у сосны верхушку ломать для зимнего букета? Встречал я таких. Зачем? Для красоты — отвечает. А дерево-то с отломанной вершиной уродиной вырастет! Отломи любую веточку боковую — и сосна не пострадает.

«Школа» осталась позади. Мимо пролетела низинка, поросшая густым лозняком, и глазам вдруг открылась такая картина: вповалку, переплетаясь корнями, застыло задирая кверху ветви, лежали вырванные из земли деревья — будь здесь еще и воронка, вполне можно было предположить падение гигантского метеорита, а то и фантастичнее картину представить.

— Мелиораторы «постарались»,— хмурясь, сказал Антипов.— Выкорчевали, а убрать забыли. Все сроки вышли — деревья гниют, площадь засоряется. Это еще цветочки... А вот ягодки вы еще увидите: на отдельных участках потравили деревья бутиловым эфиром, чтобы потом корчевать сухой лес — так легче, да и оставили — мол, давай, лесхоз, «выращивай» отравленное... Воюем с ними, да не всегда побеждаем.

Он старался говорить сдержанно, даже улыбался, но улыбка — напряженная, уголком рта — выдавала его, нет, не досаду, а скорее гнев, выдавала и характер: твердость при всей покладистости, настойчивость, упорство и готовность не пасовать ни перед чем, если речь идет о защите леса. Слушая его, я вспоминал слова, сказанные о Петре Григорьевиче в горкоме партии:

— Это удивительно добрый человек — сами увидите,— но ни разгильдяю-леснику — а такие еще, к сожалению, тоже есть,— ни нерадивому хозяйственнику, ни тем же уважаемым мелиораторам, когда они насорят тут, спуску не даст... У него авторитета и прав достаточно, чтобы бороться самостоятельно, но и нас не забывает — просит, требует, предлагает. Хозяин, словом...

Это стало ясно нам всем уже в первый же час нашего с ним знакомства. А были мы с ним не на каком-то показательном уроке, не на каком-то специально выбранном маршруте,— мы были рядом с ним в его каждодневном, будничном объезде лесного хозяйства. Вот он, отведя в сторону — лишь обрывки слов долетают до нас,— сдержанно, но жестко отчитывает одного из своих подчиненных за то, что лесной участок прочищен неравномерно. Вот останавливает машину у какого-то специального лесохозяйственного знака, разглядывает свежевытесанный шест, вбитый в землю, хмыкает недовольно, говорит водителю: «Напомни, пожалуйста, мне об этом вечером...» Вот, увлекаясь, рассказывает нам о деревьях и растениях: знаете, мол, что значит для земли все зеленое богатство? Ведь земные растения всего за шестьдесят лет перерабатывают — это же целые фабрики, гигантские комбинаты! — всю углекислоту атмосферы, это значит, что почти двести миллиардов тонн углерода в год они осваивают!

— По подсчетам советского ботаника,— уже не спеша, увидев наш интерес, говорит Антипов,— леса только одной Московской области выделяют лесных запахов, бесценного аромата на довольно конкретную сумму. Да что-то больше шестисот миллионов рублей...

И вот мы забрались в глушь. Тропок не видно. Птицы. Кабаньи следы. На поваленной осине — следы лосиных зубов. Шум смыкающихся крон. Ослепительные солнечные потоки, проливающиеся сквозь окошки в листве, делают траву почти флуоресцентной, и мотылек, попавший в такой поток, сверкает на фоне зелени как раскладное зеркальце. Стрекоза, от любопытства таращась, садится на плечо и тут же взмывает кверху, к вознесенным над землею кронам...

— Если какое чудо и создано природой, так это наш русский лес.— Петр Григорьевич подставил лицо солнцу и негромко, точно боясь помешать траве и деревьям, продолжил:

— Лес — и кормилец, и поилец, и воин... Сколько он на себя принял огня и металла... У Глеба Горбовского есть об этом стихи: «На военных дорогах, помимо людей, убивало

железо собак, лошадей. В реках рыб убивало. И птиц в небесах. А еще убивало деревья в лесах. Это очень печально — в эпоху чудес после боя войти в обезглавленный лес...» Радости, конечно, было мало здесь после войны... Это древние леса. Ими кормились и любовались еще наши предки, прадеды. А мы иногда рубим так, словно «после нас — хоть потоп»! Возьмите хотя бы сосну или елку — их же лесозаготовители могут брать только на сто первом году их роста. Да, сто лет они должны расти — только на сто первом они могут стать товарной древесиной. Скажем, лесничий должен проработать двадцать пять лет, чтоб на пенсию выйти, так? Вот и получается, что четверо лесничих должны пестовать одну ель или сосну! А иной раз видишь... Хотя бы и у вас, в Ленинграде: забор какой-нибудь стройки обшит отборной обрезной сосновой доской. А можно ведь было той же ольхой или осиной воспользоваться. Глаза бы мои не глядели на такую бесхозяйственность.

Тридцать три года уже, начиная с 1948-го, растит, охраняет, лечит лес Петр Григорьевич. И воюет — не щадит себя — и с бесхозяйственностью заготовителей, и с равнодушием администрации... Это его инициатива «оживить» волховские леса лиственницей, дубом, сделать эти лесные края богатыми самыми разными породами деревьев. На своем садовом участке он пробует даже приучить к северному климату аралию маньчжурскую, чтобы и она украсила лесные угодья. Это небольшое дерево, почти кустарник, летом похоже на пальму — ветки у нее собраны на вершине, а листья очень большие, в семьдесят — семьдесят пять сантиметров, ствол же очень стройный... Вполне могла бы расти в краю Северной Пальмиры такая акклиматизировавшаяся северная пальма. Да и маньчжурский орех, и бархат — дальневосточные породы — надеется Антипов «пригреть» в своих лесах.

Показывая нам небольшую лиственницу, он неожиданно вспомнил Некрасова:

— Помните его строчки: «Ель, сосна, осина — грустная картина...»? Что Некрасов имел в виду? — В глазах Антипова вспыхнула лукавинка.— Я это перевожу так на прозаический язык: надо в русский лес вводить экзотические породы, «экзоты», как мы, лесоводы, говорим. Вот мы и стараемся... Да не нужно забывать и о традиционных деревьях русского леса! О дубе, например. Вроде бы и привычен нам этот богатырь, а пойди его поищи! Маловато пока...

Давно сложилось традиционное мнение, и о нем знал еще в начале своей профессиональной биографии Петр Григорьевич, что в Ленинградской области дубу не житье — привык он к более плодородной, более влажной почве... Но уж больно привлекательно было увидеть на волховской земле этого долгожителя — дуб живет до тысячи лет; этого целителя — танин, содержащийся в молодой коре и желудях, используется в медицине; этого медоноса и щедрейшего кормильца птиц и зверей. К тому же древесина дуба — одна из самых ценных. Не случайно дубовые листья — один из символов на эмблеме лесоводов.

Антипов подобрал участки с плодородной, рыхлой почвой и вместе с энтузиастами, товарищами своими принялся за дело. Высадили желуди. Возились с первыми ростками, как с малыми детьми. Школьники и тут — спасибо им! — помогали вовсю. Всхожесть была до шестидесяти процентов... Это приободрило. И вот уже на новых участках, в новых лесных кварталах организовал Петр Григорьевич посадку дуба, но уже вместе с елью — естественным «лидером» дуба в его замедленном полете вверх, ель всегда его подгоняет, тянет за собой, как это бывает и в самом обыкновенном походе.

Народ давно заметил: дуб любит расти в шубе, но о открытой головой: то ли честолюбив больно, то ли солнца и влаги ему нужно больше. Вот и выходит, что ели вокруг него сплетаются в этакую зеленую игольчатую шубу, а он, с детства еще потянувшись за более стремительными еловыми ростками, перегоняет их и в конце концов, укрывая многолетних своих соперниц могучей гривой, торжествует на свету...

Сейчас уже несколько десятков гектаров лесных угодий занимают эти молодые деревца, пустившие здесь крепкие корни... Десятки и сотни лет расти им и набирать мощь и красоту, какую с юности определил волховский лесовод Антипов.

Всякий раз, когда я теперь вспоминаю Петра Григорьевича, в памяти возникают и образы других людей, во многом схожих с ним в любви ко всему, что есть живого на земле, в одержимости какой-то, в умении в настоящем видеть будущее, более того — будущее вершок за вершком, сажень за саженью строить уже сегодня...

Во Владимирской области, на Нерли, среди богатейших грибами, птицей и зверем лесов, в небольшом сельце я встретил старика, которого и дети и взрослые запросто называли Ферапонтычем — кто с какой-то снисходительной интонацией, кто с улыбочкой: чудак, мол, — кто и с

уважением, но некоторым недоумением. Ферапонтыч— подвижный, сухой, очень пожилой уже человек — сажал фруктовые деревья не на своем участке, а в лесу. Целыми днями приживлял черенки, воду таскал до изнеможения из колодца для своих питомцев, нянчился с ними, как с внуками, радовался вместе с ними и печалился... Старуха его давно уже умерла. Дети разлетелись по стране. Может, увлечение это его — да скорее и не увлечение, а образ, существо, смысл жизни — было своего рода компенсацией одиночества, забвением каким-то... Так некоторые и считают до сих пор. Может быть, это и правда. Но как светились его старческие глаза, когда мы — я да приятель, чужие, пришлые, случайные люди в этой глуши,— набрели на его яблоню и увидели и его самого, на ветхом пне, с дымящейся трубкой. Что-то было в нем от Пана. Но будь в его руках свирель — это было бы слишком, не красота, а красивость нас встретила бы... Позже, много позже узнали мы, что это именно его яблоня. А он встретил нас как такой же путник, который тоже случайно набрел на эту поляну... Мы грызли антоновку, удивлялись и восхищались, и лишь потом я понял причину, омолодившую глаза старика. Нет, не бегством от беды были эти его садоводческие бдения — он поднимал деревья для всех нас, пускай случайных прохожих, пускай в такой глуши. И он не памятник себе при жизни воздвигал, а радость после себя оставлял другим, которые придут к его деревьям обязательно... Обязательно придут.

Таких встреч в памяти каждого из нас немало накопилось, и вот, думая о Петре Григорьевиче Антипове, я невольно сопоставляю его образ с десятками других образов, и мне хорошо оттого, что я их ощущаю рядом с собой, и хочется в чем-то быть похожим на них, хотя бы в чем-то...

— А какое дерево вы больше всего любите, Петр Григорьевич?

— Любимое дерево? — Антипов рассмеялся.—Да все любимые. Но все-таки самое хорошее дерево в лесу, на мой взгляд,— липа. Вот когда города озеленяют тополями, говорят, мол, хорошее дерево, много углекислоты поглощает — это правильно, но я считаю, что это «липовое» озеленение. Надо липу сажать — пахучая, не подмерзает, красивая...

— А много вы в жизни посадили деревьев?

Кто-то из нас задал этот вопрос и тут же потупился. И все мы поняли почему... Вопрос был вполне бестактным по отношению к человеку, жестоко искалеченному войной...

Как посадишь дерево, не имея рук? И мало того — не имея ног?

Мы напряженно замолчали, оправдывая вопрос тем, что в течение всей нашей встречи, всей поездки Петр Григорьевич был настолько прост, естествен, подвижен и деятелен, что никто и не замечал последствий того давнего фронтового ранения...

Он, без сомнения, заметил наше неловкое топтание, опущенные глаза, но ответил легко, непринужденно:

— Когда я пришел сюда работать сразу после войны, высаживали по десять гектаров молоди, а теперь — больше ста гектаров в год. Так что у меня сейчас больше тысячи гектаров на счету.

Так и сказал: «У меня...» Им посажено! Сказал это по полному праву человека, защищавшего этот край, этот лес, а теперь передающего любовь свою, жизнь свою этим стройным деревьям, которым суждено вот так же кивать вознесшимися над землею кронами и правнукам, и праправнукам нашим, по праву человека, преодолевшего самые жестокие обстоятельства, самую жестокую боль, какую можно встретить в жизни, поднявшегося над ними, — а это оказалось куда труднее, чем ростку подняться над землей,— чтобы овладеть любимой работой, чтобы доказать возможность невозможного, чтобы снова любить, чтобы учить деревья стартовать в небо. Когда я вчитываюсь в трагические и героические строки биографии Петра Григорьевича Антипова, я догадываюсь, откуда он черпал силы для того, чтобы не просто выстоять, выжить, но и жить, работать наравне со всеми, без поблажек. Конечно, прежде всего — из этой былинной земли, которую он с детства хотел возделывать и богатства которой хотел умножить, вслед за дедом, который был лесником, вслед за отцом, работавшим объездчиком...

Петр Антипов окончил второй курс Тихвинского лесного техникума, когда началась война. Петр, как и многие его товарищи, рвался на фронт, но его, в числе других призывников, направили учиться. Курсант училища радиоспециалистов. Стрелок-радист танкового полка. Блокадный Ленинград. Подмосковье. Ржевское направление. Брянское... Сталинградский фронт. Белорусский... И снова — защита ленинградской земли. Карелия. Польша.. За этим пунктирным перечислением — неполные четыре года, в которые вполне вместились бы несколько жизней. Да так оно и было. Время спрессовалось до почти физической сверхплотности. Каждая минута, каждый миг таили в себе и смерть, и подвиг, и боль, и упоение победой. Четыре раза

за это время горел танк, в экипаже которого был Антипов. Рядом гибли его товарищи. Рядом в огненное крошево рассыпалась броня и над одичавшими, сожженными, истоптанными полями дымились факелы «тридцатьчетверок». Война до времени щадила Антипова, и он, словно осознавая эту отсрочку, дрался яростно и самоотверженно. Ордена Красного Знамени, Красной Звезды, Славы III степени светились на его груди. И жгли его сердце письма матери, из которых он узнал о гибели своих братьев Владимира и Федора...

15 января 1945 года в бою на польской реке Нарев от нескольких прямых попаданий вспыхнула боевая машина Антипова. Любая ситуация, повторяясь, может родить привычку, но в этот раз ситуация оказалась чрезвычайной: погиб весь экипаж, кроме Петра. Едкая гарь резанула глаза, забила легкие... Отшвырнув опустевший пулеметный диск, Антипов выпрыгнул из ставшего недвижной мишенью танка, и тут же автоматная очередь срубила его. Плотный огонь прижал раненого танкиста к земле. Пытаясь укрыться от него, Антипов поднялся с хриплым выдохом, словно выталкивая из себя всю боль, рванулся к какому-то блиндажу и рухнул в его узкий, тесный проход. Уже падая, понял, куда он угодил: блиндаж кишел фашистами. Было что-то тараканье в той поспешности, с которой гитлеровцы заметались и кинулись с прикладами на Антипова. На мгновение потеряв сознание от удара в голову, Антипов оказался под сапогами врагов. Очнувшись, он увидел еще несколько огненных вспышек — в него, уже вмятого в темную, сырую землю, один из фашистов разряжал парабеллум. В памяти остался еще разрыв гранаты. Когда это было? Тогда же? Или уже к вечеру, когда он, все-таки вырвавшись из цепкой смертной черноты, попытался выбраться наверх?

Пять дней темная яма не отпускала его. Пять дней он открывал глаза и слепо, почти бессознательно шарил руками по тесному периметру ловушки. И снова в глазах мелкими разрывами вспыхивала боль, и он застыло прикипал к липкому от сырости и от крови дну. И вот сперва зашелестел, зазвенел, а потом оглушительно пронесся над ним бой. Каким-то седьмым, десятым, двадцатым чувством Антипов понял, что рядом — свои. Попытался подать голос. Из горла вырвался немой хрип. Напружинив все нутро, он позвал, как мог. Сверху донеслось:

— Кто здесь?

— Раненый танкист,— неслышно выдохнул Антипов, но уже и без его отклика бойцы поняли, кто ждет их помощи.

Его поднимали на руках, высвобождая из могильного плена, но свет не принес ему облегчения.

Два с лишним года поджидала, подкарауливала его смерть у госпитальных дверей. Десятки недель и месяцев, минута за минутой, час за часом Антипов вместе с врачами старался уйти как можно дальше от того липкого, смертного кошмара в блиндаже на реке Нарев, но боль не отпускала, расползалась по всему телу, ожидая крика, запекалась раскаленным металлом в молодом еще, сопротивляющемся человеке... Он страстно хотел жить. Но чтобы выжить, нужно было лишиться рук. Чтобы жить — пришлось лишиться и ног. Настали тяжелые ночи с беспощадными снами. Ему снилась мать, Анна Кирилловна, он гладил ее, жалел, снова гладил, уже сквозь сон осознавал, что нечем... Просыпаться было страшно, но еще страшнее — видеть себя...

Шел 1947 год. Антипов вернулся в места, где прошла его юность, откуда он ушел защищать эту землю. Вернулся с твердым намерением заново овладеть жизнью, готовый к любым испытаниям, но много еще боли и разочарований ожидало его на избранной дороге. Было и меланхолическое безразличие ко всему, и отчаяние... Помогли люди. Особенно мать, которая смогла сколоть с его души скорлупу хандры и пробудить в нем снова желание выстоять, подняться.

Он начал с малого — хотя в его положении малым не было ничто,— стал учиться ходить, изнурял себя протезами до беспамятства, а чуть придя в себя, снова заставлял свое тело идти, идти, идти, выситься над землей. Осенью сам отправился в Тихвин. Началась учеба в том самом техникуме, из которого его вырвала война. Но то, что до войны он делал играючи, теперь приходилось преодолевать с кровью и стоном. Наверное, он выдюжил бы теперь и один. Но и здесь ему помогли люди, товарищи его, особенно Юрий Кошевой, еще довоенный его приятель, благодаря которому Петр Антипов смог учиться на очном отделении техникума: Кошевой многие бытовые заботы взял на себя, и во многом на двоих поделили они тяжесть груза, взваленного на Антипова.

Когда узнаешь в подробностях историю Антипова, понимаешь, что доброта его — не просто природная доброта: к ней приживлены черенки от доброты многих людей. Он это и сам знает. Есть ведь доброта разного масштаба. У одного — только для близких. У другого наоборот — лишь для чужих, случайных людей; это доброта, так сказать, одноразового пользования. Кто-то добр только на

беглый, поверхностный взгляд. Кто-то может изменить этому своему дару и естеству в трудную для себя минуту. Антипов верен своему чувству во всем. Есть в нем некая широта — не разбросанность, а широта, даже величие — во всех проявлениях, во всех добрых побуждениях. Может быть, это главное из того, что он вобрал в себя во время долгого и одному ему известно сколь тяжелого пути?

Его доброта того масштаба, который охватывает не только группу людей и клочок земли, а всех людей и всю землю. Может быть, это и несколько громко, может быть, и правда, что нельзя абстрактно любить всех, ведь все — это сумма индивидуальностей, и естественнее через конкретных людей ощущать свое родство со всеми остальными... Но в том-то и дело, что доброта и любовь Антипова не абстрактны, хотя и адресованы всем: у него есть лес, который связует для него не только землю с небом, не только настоящее с будущим, но и самое существо Антипова с современниками и грядущими потомками.

Один из ленинградских журналистов, много лет знающий Петра Григорьевича Антипова, часто встречающийся с ним, все хотел сфотографировать его у березы, пораненной осколками: часть осколков молодое в войну дерево смогло вытолкнуть из себя, часть осталась истлевать в глубине ствола, а один железный обломок так и разъедает каждой весной стареющее тело березы, и сочится всякий раз на землю влажная древесная душа... Может быть, снимок этот был бы несколько сентиментален, не в традициях, так сказать, нашего века. Может быть, параллель оказалась бы слишком прямой, лобовой, что ли... Но я увидел в этом несостоявшемся снимке прежде всего силу и человека, и природы, да еще, наверное, готовность человека не просто выстоять самому, но и защитить и спасти ту же березу...

«Газик» мчал нас к Ленинграду. Встреча с Антиповым была позади. Но она длилась еще, длилась... На ладонях моих лежали цветы из его сада. А память все крутила, как на кольце из магнитной пленки, его фразы, мысли, признания...

«...Цветам от доброй руки не больно...» Я разглядывал прожилки на бархатистых лепестках тюльпана, влажную поверхность срезанного стебля — где-то там, внутри светящегося тела цветка, быть может, таилась его душа, жизнь которой дала легкая и добрая рука Антипова... Я вздрогнул от этой мысли, но тут же понял, что лишиться рук вовсе не значит не иметь их,— разве нет их у Антипова, если целый сад смог он поднять над землей, если

целые леса шумят над Волховом, леса, которые он в полном праве называть своими?

«...Цветам от доброй руки...» Я взглянул на свои руки. Что источают они? Боль для кого-то или доброту? Попробуй ответь! Но каждому — так или иначе — приходится давать ответ, и тут уж не слукавишь, не обманешь себя: ничего невозможно выдать за доброту, она, как меченый атом, сразу обнаруживается людскими душами. Да, либо она есть, либо нет ее. Так же, как талант...

«Газик» выскочил наконец на ровную трассу. Теперь можно было положить цветы у заднего окна. Дорога убаюкивала, и в такт мерному покачиванию машины в моей памяти перелистывались страницы биографии Петра Григорьевича Антипова... Вот окончен техникум. Вот практика — еще одно жестокое испытание, которое недавний солдат тоже выдержал, исходив на своих протезах не один десяток километров по волховским лесам. Вот учеба во Всесоюзном лесотехническом институте... Вручение Золотой Звезды «за успешное выполнение семилетнего плана»... Это, так сказать, вехи. А между ними — работа, работа, работа. «За короткое время он привел в образцовый порядок леса, расположенные вокруг города Волхова...» — это цитата из рассказа о нем на ВДНХ... В восемь утра он выезжает на работу в лесничество. Целыми днями вышагивает, пробираясь уже без машины к самым глухим участкам. И снова дорога! Толковые, влюбленные в дело работники всегда ему рады, всегда ждут, нерадивые — побаиваются и молчаливо уважают... Работа. Работа. А дома его всегда ждали три Анны — мать, Анна Кирилловна, жена, Анна Тимофеевна, инженер-экономист Волховского алюминиевого завода, и Аня, его дочь. И конечно, сын...

Дорога убаюкивает меня вконец. Последнее, что я вижу, проваливаясь в дремоту,— высокий летний лес, весь в зеленых, солнечных веснушках. Среди деревьев появляется вдруг Антипов, наклоняется над крошечной елкой, что-то нашептывает ей, и она вдруг начинает плавно расти над землей, подниматься, словно космический корабль в первые секунды запуска, и вот уже ее верхушка высоко-высоко сливается с синевой солнечного неба. Но это мне уже снится.



ИНЖЕНЕР КАСОГИН

Александр Новиков

рассказ

Касогин чувствовал себя с утра неважно. Вставать каждый день в половине седьмого, чтобы поспевать на работу к восьми пятнадцати было все-таки тяжело. Хотя работал он в таком режиме уже почти десять лет, привычка все не вырабатывалась, он хронически недосыпал. Касогин причислял себя к разряду сов, а вел жизнь жаворонка. Обычно к вечеру у него появлялось настроение, он увлекался работой и забывал о времени.

Вот и вчера он допоздна засиделся над переводом с английского статьи какого-то Джонса об электромеханических распределителях. Делал он это не для себя, а для непосредственного начальника своего Савина, ведущего инженера.

Савин так лестно похваливал при всех его способности к языкам, что отказать ему Касогин не смог, хотя можно было посоветовать обратиться в бюро переводов, но там, конечно, было бы долго. На первый взгляд статья показалась небольшой: всего какие-то три с половиной страницы. Но потом обнаружилось, что хотя Джонс, вероятно, неплохой парень, но обожал жаргон; это, возможно, оживляло изложение, но по отношению к Касогину было даже непорядочно. Кроме того, с электромеханической терминологией Касогин мало имел дела, он почти без словаря читал художественный текст, даже переводил стихи, а здесь приходилось не вылезать из словарей. Да и шрифт был какой-то мелкий. В общем, работа затормозилась. Однако постепенно он втянулся, освоился, и дело пошло. Когда он добрался до раздела «Результаты и дискуссия», уже светало. Жена и дочь безмятежно спали.

Касогин сладко потянулся на стуле, осторожно, чтобы не скрипнуть половицей, пробрался к своей постели...

Теперь же сказывалась бессонная ночь: все было как-

то смутно, сонно, вяло. Он знал, что часа через два войдет в норму. А пока достал принесенный из дому новенький, с позолоченным срезом карандаш «Кох-и-ноор» и стал аккуратно и долго затачивать. Заточив до игольной остроты, полюбовался своей работой и с сожалением стряхнул розовые стружечки в корзину. Потом встал и отправился к табельщице Тане за бумагой, скрепками и прочей канцелярией — что дадут.

Вернувшись, Касогин разложил бумаги и начал составлять план-график изготовления оснастки в инструментальном цехе. Однако уже на втором пункте он застрял: не было данных о трудоемкости матриц, и надо было идти к технологам. Он еще потянул время, потом все же пересилил себя и пошел.

Касогин любил ходить по территории завода и нарочно выбирал путь подлиннее, чтобы растянуть удовольствие. Сегодня он решил обойти вокруг недавно возведенного испытательного корпуса. Корпус очень нравился Касогину: огромные стекла, в которых отражаются облака, оправлены в блестящий дюралюминий, а узкие простенки, согласно законам перспективы, создавали впечатление устремленности ввысь. Правда, работающие здесь жаловались на холод зимой и на жару летом. Но вся история искусства свидетельствовала о том, что польза и красота очень редко соединяются в одном произведении, если не иметь в виду декоративно-прикладное.

Фонтанчик в центре большой клумбы и обступившие ее кусты сирени и жимолости также очень нравились Касогину.

Как старым знакомым, улыбнулся он желтеньким цветочкам гулявника и дескурении, отметил для себя, что расцвел донник — и белый, и желтый, появился белоснежный, с зелеными почечками икотник... Травами Касогин увлекался еще со школьных лет, с ботанического кружка в Доме пионеров, и хранил в себе редкие для горожанина знания растений и любовь к ним. Вообще природу он очень любил, и если бы его воля... Но сейчас ему пришлось подавить желание присесть и полюбоваться: отдел кадров строго следил за соблюдением режима, а его обед начинался еще через два часа. Касогин на ходу тронул ветку сирени — из куста выпорхнули воробьи и две синички, да не простые, а голубенькие — синицы-лазоревки. Как их сюда занесло?!

Из окон штамповочного цеха доносилось размеренное, с мощным придыханием покашливание пневматического молота...

Касогин невольно прибавил шаг: в стеклянных дверях заводоуправления появился Нечипоров — директор завода. Энергичной походкой он направился в сторону испытательного корпуса. Как всегда при встрече с начальством, Касогина охватывали сомнения: здороваться или нет. Конечно, поздороваться полагалось бы, и, конечно, ему первому, но он боялся быть незамеченным, а когда с тобой не здороваются, хотя бы и очень занятые люди, чувствуешь себя как-то глупо. С другой стороны, не хочется будто бы заискивать перед директором своим приветствием. Когда между ними осталось несколько шагов, Касогин сделал неопределенный полупоклон и сказал не очень громко: «Здравствуйте!..» Тот, конечно, не заметил и не услышал. Касогин, уже для себя, кашлянул, проглатывая свое «здравствуйте», вздохнул и повернул в технологическое бюро.

* * *

Петру Васильевичу Нечипорову сегодня можно было извинить его рассеянность: дела с самого утра как-то не заладились. В начале рабочего дня он проводил планерку с начальниками цехов и служб. Начальники цехов отмалчивались, прятали глаза. Он знал, в чем дело: контрагенты опять сорвали поставки комплектующих, разумеется, по каким-то уважительным причинам. Но главк — причины поставщиков не волнуют, им нужен от него, Нечипорова, план полугодия, а не чужие причины, пусть и уважительные. Конечно, план — это закон, так считал Нечипоров, а законы надо уважать...

Был, конечно, как из любого положения, выход: вместо непоставленных комплектующих монтировать в блоки распределители собственного изготовления. Но для этого их нужно как минимум изготовить. А до изготовления — составить технологические карты и прочую документацию. А главное — утвердить ТУ. Кто и когда будет все это делать? Снова на трудовом энтузиазме? Или за сверхурочные и аккордные? Главбух и так через день устраивает перед ним демарши, и его можно понять.

На совещании не молчали только главный инженер Сизов и начальник производства Лукин. Они сердито, нервно доказывали ему, Нечипорову, то, что он знал лучше их: дезорганизует, разлагает, выбивает из колеи эта затея, снижает качество, вредит самому существованию их завода и так далее и тому подобное. Нечипоров резко осадил того и другого,— кажется, обиделись, но ничего, переживут,— и отдал распоряжения подразделениям начать под-

готовку к выпуску распределителей. Пускай пока раскручивают, а там видно будет.

Но это было не все, директора ждал сегодня еще один удар. Сразу после обеда позвонил Мастаков, директор Глушаковского совхоза. Но лучше бы он его не слышал: тому, как всегда, нужны люди, как всегда, много людей, и, как всегда, техника, много техники.

— Ты что, с ума сошел? — стараясь сдерживаться, поинтересовался Нечипоров.— Пятьсот человеко-дней и десять самосвалов — это мне завод закрывать нужно. По договору мы должны...

— Газеты не читаешь, переутомляешься,— перебил его Мастаков, — а в них между прочим постановление о кормах напечатано. Может, для вас, интеллигентов, это не закон? Или металлической стружкой коров кормить будем?

Нечипоров терпеть не мог зубоскальства в серьезных делах, а сегодня, когда создалась такая напряженка,— тем более. Хоть Мастаков и неплохой мужик, но сегодня Нечипоров не сдержался и вскипел:

— Про законы заговорил? Так вот, слушай: у меня один закон — государственный план, а ты мне его срываешь! — закричал он в трубку, не слушая Мастакова.— Это вам на природе под пение птичек кажется, что нам тут делать нечего. А ты не хочешь мне десяток-другой подсобников на строительство прислать? Есть, говоришь, что будем? А еду на чем возить будем, подумал? Самосвалы тебе подавай!.. Двадцать человек на десять дней — и разговор весь!

Нечипоров покраснел, кровь ударила ему в голову. Он швырнул трубку, посидел немного. Потом достал пробирочку с валидолом, откинулся на спинку кресла и несколько минут безучастно глядел в окно, ожидая, пока успокоится сердце.

Он был уверен: Мастаков сейчас уже соединился с областным начальством и капает на него. Дать, конечно, придется сполна, может быть и больше. Но сегодня, по крайней мере, он высказался от души.

* * *

Когда Касогин вернулся на рабочее место, конструкторско-технологический отдел — КТО — бурлил. Ведущий инженер Савин кричал, брызгая слюной:

— Что за дела! Когда это кончится? Сегодня дают срочнейшее задание на проектирование, а завтра весь от-

дел в село отправляют! Как отчет, так у них находятся слова людей жучить, а как трудовую повинность от них отвести, так все слова пропадают...

Раскрылась дверь, все кинулись по своим местам, в комнате появился начальник отдела Крестовский. Он окинул всех строгим взглядом свысока и прошествовал к столу ведущего инженера Савина:

— Виталий Николаевич, я жду списки отъезжающих в совхоз...

— Они готовы, Андрей Маркович,— услужливо привстал со стула ведущий.

Касогина всегда приводила в изумление эта способность Савина в мгновение ока переориентироваться на 180 градусов. Но что до Касогина, вылазке в совхоз он был даже очень рад. Работа в КТО хоть и не была вовсе противна ему, но все же приносила мало удовлетворения. Эти бесконечные планы-графики, калькуляции, технологические карты. Одни и те же люди с одними и теми же реакциями, эмоциями и сентенциями... Впрочем, свою работу Касогин выполнял хорошо, даже творчески, как часто отмечал Крестовский и даже ставил его в пример другим. Но творчество — Касогин отчетливо сознавал это — состояло лишь в том, что ему было скучно прямо переносить готовые схемы и формулировки из одной разработки в другую, как это делали прочие сотрудники. Он легко замечал технические недочеты прежних разработок, несуразицы и ошибки в документации — логические, стилистические и орфографические — и прилежно исправлял их.

Кроме того, он умел и любил читать реферативные журналы, каждую неделю просматривал в библиотеке новые поступления литературы, в том числе иностранной. Помимо специальных сведений он находил там еще немало занятного. И порой, увлекшись сочинением инструкции, он ловил себя на том, что ему доставляет удовольствие сам процесс сочинения строгих технических формулировок, построения системы разделов, пунктов, подпунктов, их нумерации и перекрестных ссылок. Завершение очередной инструкции наполняло его тайной радостью, и он только что не подмигивал своему детищу.

Выполняя такую будничную работу, он мог одновременно размышлять о смысле затруднительной английской фразы или рифмовать стихотворную строфу.

Словом, часы на работе летели незаметно. Неприятно было только то, что к концу дня все тело, особенно ноги, затекали, и их приходилось долго разминать. И вдобавок

он чувствовал, что начинает полнеть. Гиподинамия, видимо, все же не вздор.

Во всем отделе, наверное, один Касогин радовался возможности поразмяться на свежем воздухе. А план-график и инструкция от него не уйдут: в крайнем случае, напишет как-нибудь ночью.

В список Савина он попал вторым, первым был сам «старшой». За безотказность, за его готовность ехать хоть в совхоз, хоть в командировку, идти в рейд дружины или на уборку листьев Касогина особенно ценили в отделе. Он даже попросил Савина записать его еще и на четверг, тот, конечно, с восторгом поддержал этот почин, только с согласия Касогина фиктивно вписал фамилию обремененного недугами Алексея Кузьмича, чтобы к нему не придирались. Сосед от души поблагодарил Касогина, даже назвал его благороднейшим человеком в отделе.

Жена, правда, поворчит, думал Касогин, но ведь на то она и жена...

Нет, жаловаться на нее Касогин не мог. Рая считала его талантливым, но несобранным человеком и относилась спокойно, даже снисходительно к его странностям и причудам; их, впрочем, было немного. В общем, Касогин был непритязателен, всегда спокоен и отзывчив. Он умел находить удовольствие и в домашних делах: размышляя о своем, стоял в очередях в магазинах, мыл посуду, чинил утюг, стирал. Так что Рая даже гордилась своим мужем, хотя и раздражалась порой его наивностью в житейских вопросах.

Дочка Нина заканчивала восьмой класс, училась неплохо и особых хлопот родителям пока не доставляла. Отец и дочь выработали шутливый, непринужденный тон общения, и мать иногда выговаривала отцу, что он идет на поводу у дочери. Он действительно охотно ей помогал, даже писал сочинения, решал трудные задачки, если она его очень просила. Нина, однако, знала меру и даже сейчас, в пору экзаменов, не злоупотребляла его помощью, делала все сама...

Конечно, Рая поворчит: вечно, мол, на тебе выезжают, постоять за себя не умеешь...

Касогин на нее не обижался: у других мыслителей (он улыбнулся, вспомнив Сократа) жены были еще энергичнее.

* * *

У Петра Мастакова не было в запасе такого утешения, как примеры сварливости древнегреческих жен. Ему при-

ходилось испытывать на себе сварливость современных и — увы! — мириться с ней.

Перед его столом размахивала руками и заходилась визгом на всю усадьбу бригадир овощеводов Марина Рогатова. Собственно, имя ее было Мария, но она требовала, чтобы ее называли Мариной. Марья, Маша, Маня — казалось ей неблагородно, а вот Марина...

По долгому опыту работы с ней — лет уж, почитай, с десяток — он знал: пока у нее не кончится завод, остановить ее невозможно. Поэтому он сидел, перебирал бумаги и спокойно, даже как-то грустно поглядывал и слушал, как разоряется эта худая, небольшого росточка баба,— и откуда только силы берутся? А разговор был все тот же на протяжении всех десяти лет: он, директор Мастаков, руководить не умеет — зачем так мало дает ей людей? Пусть бы сам шел убирать редис и морковь. Ивановой вон, своей орденоносице, все валит и валит, а Марина, мол, и так обойдется. Нет, шалишь! В креслах, за бумажками спина не болит. За что он срезал им по десятке в тот месяц? Как план отгрузки, так давай-давай. Жене своей говори, а их не трожь... Уедет она, Марина, с мужем, трактористом, в райцентр жить, — надоело, к чертям собачьим. Понасажали тут пней на ровном месте...

Это было уже слишком. Петр Мастаков грохнул тяжелой ладонью по столу, так что толстый сборник сельхознормативов подпрыгнул, а ручки и карандаши попадали на пол.

— Заткнись! — заорал он, багровея. — Распустила хайло! Помене болтай, поболе дело делай! Уезжай, ежели совесть с маслом съела. Зажрались и всё тянут, тянут!..

Марина как-то осела, закрыла рот и, глядя в пол, глухо спросила:

— Сколько на завтра даешь?

— С завода двадцать человек получишь, но чтоб у меня на базу отгрузила не меньше ста центнеров с га!

Марина повернулась и, прилипая каждым шагом к недавно выкрашенному полу, вышла.

Директор малость поостыл. Конечно, ему было б жаль потерять сразу двоих работников: Михаил Рогатов хоть временами и запивал, но так-то мужик справный и машину содержит в порядке. И ведь не удержать, коли надумают: дом-то у них не совхозный — свой. Мастаков постучал кулаком в стену за собой и крикнул к себе главбуха:

— Ты, Николай Семенович, закрой этой дуре Рогатовой в июне, чтоб побольше вышло.

Главбух покачал желтой лысой головой, что-то буркнул и вышел. Мастаков потер седеющие виски, вынул из ящика синюю общую тетрадку, в которую записывал приходящие ему в голову хорошие идеи — для памяти и дальнейшего обмозгования. Он выбрал из стоящего на столе дареного трехцветного прибора зеленую ручку и записал очередное предложение:

«Для повышения ответственности за выращиваемый урожай необходимо закрепить за каждым заводом или даже цехом свою определенную делянку, на которой бы горожане сперва сеяли, потом пололи и прореживали, а потом снимали урожай и сами сдавали его совхозу. И если сдадут мало, пусть пеняют на себя. Нужно бить рублем!»

* * *

Касогин по натуре своей был бродяга. Прежде, когда он мог свободнее распоряжаться временем, он обошел и объездил чуть не пол-России. Теперь же оставался лишь отпуск да субботы с воскресеньями, и то их приходилось отдавать семейным делам. Им часто овладевало, выражаясь слогом великого поэта, «беспокойство, охота к перемене мест». Даже такое недалекое путешествие, как поездка в совхоз, в какой-то мере утоляло эту охоту.

Он устроился в заводском автобусе на своем любимом месте — слева на последнем сиденье — и отключился от остальной публики: болтающей, напевающей, шелестящей обертками завтраков и свежими газетами. И автобус помчал его по утреннему городу.

Касогин схватывал пролетающие за окнами куски чужой жизни и примерял их к себе...

Каково бы жилось ему в этой квартире с лоджиями? Много света, отдельная комнатушка для работы, где бы он мог сидеть хоть до утра, не мешая своей лампой домочадцам. В лоджию можно выставить Нинкин вéлик...

А мог бы он, как этот верзила в белых штанах, сидеть за рулем собственного автомобиля и поплевывать в окошко, не выпуская изо рта сигареты, не иначе—«Филип-Морис»? Нет, такого плебейского тщеславия Касогин был начисто лишен. В отличие от большинства мужчин он не мечтал о собственных «Жигулях», и вовсе не потому, что не имел денег. Он был убежден, что транспорт должен быть сугубо общественным, коллективным средством передвижения. Он отвел взгляд от автомобиля и его владельца...

А будет ли он когда-нибудь таким же внушительным, уверенным в себе и в почтении окружающих, как этот пол-

неющий гражданин в шляпе, чем-то похожий на директора завода Нечипорова? Судя по тому, как ему удавалась до сих пор его карьера, — никогда. На мгновение Касогин омрачился: жена Рая в чем-то, пожалуй, права...

Надо же, какая симпатичная женщина!..

Слева от дороги мелькнула ажурная решетка, а на ней — объемными позолоченными литерами название города. Бетонные подножия знака укрыты кустами кизильника. Касогин много раз пересекал эту границу, но только сейчас он задумался: а почему, собственно, знак поставили именно здесь, а не на соседней такой же лужайке, или вот — у километрового столба, если уж граница задается в целых километрах от почтамта?

Живая жизнь точных границ не знает, а разум человеческий все пытается уловить живое течение жизни, накинув на нее сетку, расчертив ее клетками классификаций, систем, подразделений. Может быть, великие систематики Линней, Ламарк, Турнефор имели перед собой ложную цель и естественная система растений и животных — фикция? В природе все плавно взаимно превращается... Хотя вот ведь. Периодическая система Менделеева; правда, к концу ее — тоже размывание периодичности...

А в тех домишках — он обернулся туда, где проходила эта невидимая граница,— горожане живут или сельские жители? А сам он, Касогин, кто? Да, он, его отец, мать живут в городе, но дед с бабкой как жили, так до смерти не покинули свою деревню. И сейчас он, Касогин, едет из города работать на поле и поедет еще и еще. С другой стороны, вон навстречу идет рейсовый автобус, битком набитый жителями, не попавшими в черту города, они едут на свои заводы и фабрики, в город. Кто же они все и он в том числе?

А ведь это и есть, обрадовался он, стирание границ между городом и деревней! Он вспомнил свое недавнее выступление на экономическом семинаре в отделе и пожалел, что эта хорошая мысль не пришла тогда ему в голову...

Он оставил размышления о границах на другое время и начал на ходу определять растения: ледвенец, чихотная трава, сныть, василек фригийский, а там — ого, уже вербейник зацветает!..

Он мог бы ехать так хоть целый день, но, как известно, все хорошее быстро кончается. Автобус развернулся и затормозил на асфальтовой площадке у двухэтажного, серого кирпича здания.

Касогин, как человек опытный, не стал выпрыгивать из автобуса вслед за другими, он знал, что «старшой» отпра-

вился выписывать наряд и сейчас вернется. От его хватки зависит, когда они возвратятся сегодня домой. Во всяком случае, было еще минут двадцать для прекрасного ничегонеделания, и Касогин предался ему.

Сотрудники растянулись на полкилометра и нога за ногу плелись по разбитой, в глубоких лужах, глинистой дороге среди нескончаемых полей капусты, моркови, турнепса, Касогин шел среди первых и раздражался на бредущих сзади за их лень.

Наконец дошли до своего поля, достали ножи, перчатки. Касогин выдергивал редис, стараясь браться поближе к корню: черешки были ломкие. С утра физическая работа была в охотку, и он скоро насыпал три кучи — три бурта — и присел к женщинам обрезать и сортировать. Почти все уже хрустели редиской и сетовали, что не взяли, как всегда, соли. Касогин тоже выбрал себе покруглее, очистил и отведал сочной, горьковатой, хрупкой плоти.

— Строителей Хеопса тоже кормили редисом, луком и чесноком — и результат налицо, — сообщил он.

Женщины засмеялись. Он поискал еще съедобную редиску среди неровных, волокнистых, вероятно прихваченных жарою. Что ж, такую и будут продавать в овощных магазинах ему, или его жене, или вот этим женщинам?

Женщины его поддержали. Решили сортировать так, чтобы в магазин попадала только ровненькая, хорошая, а на корм — длинная, корявая. Касогин перетаскивал полные ящики: кондицию — в одну сторону, некондицию — в другую. Дело пошлó, штабеля ящиков росли.

Откуда ни возьмись, появилась бригадирша. Еще с дороги она принялась кричать и кричала так, что Касогин удивился: интенсивность звука, издаваемого ею, была не меньше шестидесяти пяти децибел, но разобрать что-нибудь в этом потоке звуков не удавалось. Когда бригадирша приблизилась, стало ясно: она недовольна тем, что присылают всяких бездельников, дармоедов, которые у нее уже вот где. И работают они медленно, и наряд она им не закроет, вот они поездят у нее, пока сто центнеров с га не выдадут. Она прошагала к касогинским ящикам, поворошила сверху.

— А где кормовая?

— Так вот она и есть.

— Вы что, из меня ваньку строите?! — взвилась бригадирша. — Хороший редис — на корм? Всё — в магазин! Сейчас перебрать. Вот эта вся хорошая,— она вынула несколько длинных узловатых корней. — А эта,— она пока-

зала уже совсем гнилую,— на корм. И, не умолкая, пошла к другим ящикам. — Тоже грамотные, институты пооканчивали, а редис перебрать не могут, зажрались там в городе и всё тянут и тянут...

Касогин был человек выдержанный, но такое махровое хамство вывело его из себя. Он встал, взял длинный волокнистый корнеплод, на ходу очистил его и догнал попрежнему звучащую на самых высоких нотах бригадиршу.

— Я прошу вас попробовать этот хороший редис и сказать, можно ли его есть.

Она обернулась, уставилась на него светлыми на загорелом лице глазками. Он только теперь заметил, что лицо в мелких морщинках и лет ей, верно, около сорока.

— Что?!

— Попробуйте, я говорю...

Она поколебалась, потом решительно взяла редис и впилась в него зубами. Корнеплод не поддался, она попыталась откусить пониже, оторвала, наконец, горький кусок, но разжевать не сумела, выплюнула и разозлилась еще больше:

— Ты что здесь дурочку валяешь? Думаешь, ученый, так и оскорблять можно? Я не погляжу, что ты ученый, я на завод напишу. У меня план, а тут бездельники не работают, еще изгаляются!..

Касогин хотел еще что-то возразить, но Лина Кравчук и табельщица Таня оттащили его:

— Оставь, не связывайся. Еще в самом деле напишет — доказывай потом, что не верблюд.

— Тьфу на нее, редиска она — вот кто!..

Касогин омрачился, снова сел к куче. Настроение было испорчено.

* * *

Марина по привычке быстро шла по серой глинистой дороге, глядя вперед, но ничего не видя, поглощенная своими мыслями. Зря она набросилась на заводских: редис, конечно, нынче неважный уродился: в начале мая, едва посеяли, жара ударила, с поливкой замешкались — насос изломался,— а Мастакову и дела мало. Мишке своему говорила-говорила, а он в то время после майских не просыхал. Да и «Московский парниковый» она больше не будет сеять, возьмет «Нет подобных» или «Полукрасный-полубелый».

Ничего, переживут, утешала она себя, переживут, брань на вороту не виснет. Что до редиса, то на терочке потереть можно. В крайнем случае поболе в магазине возьмут и выберут что надо... Им жрать, снова поднялась в ней

злость, а у меня план: не выполнишь — в получку недосчитаешься. А детям в школу обратно форму и обувку и другое что. На Мишку надежды мало... У них-то, небось, все есть. Она прикусила губу, нахмурилась. Воображение нарисовало ей богатую городскую семью, не какую-то определенную, а вообще — богатую, очень богатую, у которой все есть: они едут разнаряженные в пух и прах на своей машине, а дома — цветной телевизор, белая кухня, горячая вода, газ не из баллонов, ковры... Дети на музыку ходят... А сами-то в своих институтах в белых рубашечках посиживают. Тыщи огребают... Еще в нос редиской тычут...

От обиды и негодования слезы брызнули у нее из глаз. Она сошла с дороги, повалилась под вербу и в голос заревела, благо никто не видит — не слышит. Горько было на сердце за нескладную свою жизнь, за пьяницу-мужа, за первенца своего — Митрия, который тоже зашибать начал, за вечное это ковыряние в земле, как и мать ее, как и бабка. Всю-то жизнь, всю-то жизнь старалась она вырваться из этой петли, и все напрасно... Но ничего-ничего, она понемногу остывала, всё ж таки она уедет в город. Деньжата будут: дом продаст тыщ за семь, а там еще овцы, два хряка — на кооператив хватит, да и на книжке уже две тысячи шестьсот двадцать лежат. У нее была своя, отдельная от мужа книжка. Митрий в армию уйдет, авось перевоспитают... Ладно, поживем еще не хуже других. Она вздохнула уже совсем легко. Встала, перевязала платок и, успокоенная, пошла прямо через турнепс в сторону центральной усадьбы.

Она перешагивала через гряды и, улыбаясь, представляла себе прекрасное свое будущее: в большой комнате городской квартиры она поставит заграничную полированную стенку с металлическими планочками, на лакированный пол бросит ковер три на четыре, а один — за пятьсот семьдесят — повесит здесь же на стену, другой — за триста девяносто — в комнату к детям... На окнах будут голубые плюшевые портьеры и занавеси из цветного немецкого тюля. А на кухне — белая польская кухня с посудомойкой...

— Как они там работают? — окликнул ее Мастаков.

От неожиданности она вздрогнула.

— Работают,— не глядя на него, ответила бригадирша Марина Рогатова.

* * *

Касогин сильно обиделся на бригадиршу: какое она имеет право кричать на него? Он честно и хорошо рабо-

тал на поле, убирал чисто, разбраковывал правильно. Это любому понятно... Вот еще одно свидетельство несовершенства этого мира: добродетель наказуется — порок торжествует. И странное явление, на него Касогин все чаще обращал внимание: с победами женской эмансипации агрессивность, грубость, резкость делались все больше свойственны женщинам. Эту бригадиршу еще можно понять: турнепс, морковь, заезжие помощники... обрыдло ей все, но ведь и городские, образованные тоже...

Понять — значит простить. У Касогина была добрая душа, и к концу дня он успокоился — и простил. Но при этом все же проявил последовательность и продолжал сортировать, как считал нужным.

Перед посадкой в автобус у ящиков с отборной касогинской редиской собрались сотрудницы с полиэтиленовыми мешками и сумками. Касогин возмутился. Но ему и рта не дали раскрыть:

— Что? Мы работали и взять себе не можем?

— Совхозные небось тоннами гребут.

— Вам не надо — не берите, а нам нужно!

Касогин махнул рукой и отступил.

Наряд им, конечно, закрыли, голосистая бригадирша больше на их поле не появлялась, но на душе было все-таки неспокойно.

Как же так, вдумывался он, ведь всем лучше, если соберут хороший урожай той же редиски, например, всем лучше, если в магазин поступит полноценный продукт. Но вот, поди ж ты, оказывается, своим честным трудом он срывает план поставок этой хмурой бригадирше, а значит — всему Глушаковскому совхозу, а значит — всей области и так далее? Это при том, что их выездом в совхоз поставлен под удар план завода. Что же, не надо было всем им, и конкретно ему, Касогину, ездить сюда? Но тогда совхоз не сумел бы убрать своими силами урожай. Ездить нужно! И это прекрасно, что люди погнутся на поле, прежде чем вкусят плодов земных...

Он потер ноющую поясницу и вытянул ноги.

Плохо только, продолжал он размышлять, что на пути плодов земли, начиная от рук, добывающих эти плоды, как они сегодня, и кончая ртами и желудками потребляющих их, как они же завтра, что на всем этом длинном пути бывают расставлены какие-то неминуемые фильтры: что-то, конечно, возьмут себе живущие здесь, что-то отберут на базе, что-то прихватит шофер, что-то выберут себе на складе в магазине, что-то продавщица оставит своей знакомой из промтоварного, что-то испортится по дороге...

«Да какое они имеют право обирать покупателей, именно их, которые сегодня своими руками!..» — возмутился Касогин.

Но тут его взгляд упал на мешки, сумки, набитые редиской, в руках товарищей, за которых он так переживал, и он смутился. Простейшая логика приводила его к заключению, что сидящие рядом женщины и мужчины сегодня на деле поддержали существующий порядок, а вернее — непорядок. И значит, они заслужили ту участь, которая им досталась.

Самое неприятное то, что и он, Касогин, отступив, тоже сейчас катится с ними по одной дорожке, и в прямом, и в переносном смысле.

* * *

В четверг их поставили на прополку моркови.

Касогин, не разгибаясь, полол, машинально определяя так называемые сорные растения, и мучился все теми же неразрешимыми вопросами. Снова пришагала звучная Марина Сергеевна, выбранила работающих за то, что нечисто полют и что морковку и осот вместе выдергивают. Она потрясла над головами работающих вещественными доказательствами их огрехов, грозила не подписать наряд... Касогин отметил, что осотом она назвала дикий салат, но в остальном брань ее уже проходила как-то мимо него: бригадирша уже не могла его ничем задеть, он был поглощен своей работой и мыслями...

Конечно же, сотрудники и сотрудницы пололи неважно. Вряд ли кто из них уверенно отличал листья моркови от побегов полыни, например. Кроме того, прополка утомительно однообразна и результат не так нагляден, как при уборке, а еще, догадался Касогин, сегодня с поля нечего унести.

Касогин энергично работал, не отвечая на иронические замечания товарищей, пропуская мимо ушей намеки на памятник, который ему все равно не поставят.

Настало время обеда. От водки Касогин отказался, без аппетита проглотил Раины бутерброды с котлетами, сгрыз два огурца, запил из термоса и снова пошел полоть. Один.

Никто, впрочем, не обратил внимания, ему прощали маленькие странности.

Спина и ноги уже не болели, Касогин понял, что он теперь мог бы работать на поле хоть каждый день. А мог бы он и вправду? Нет, не наезжать, а постоянно работать и жить здесь? По некотором размышлении он решил, что

мог бы, будь он один. Но у него семья: жена, дочка. Нинка должна ходить в английскую школу и на гимнастику. Рае нельзя поднимать тяжелого.

Сравнивая свою работу на заводе и работу здесь, Касогин не мог не признать эту работу в поле более важной для всех людей и для него лично. Если его завод перестанет выпускать блоки, в худшем случае им всем придется ходить пешком, а если совхозная земля перестанет родить, то очень скоро некому будет не только ездить на чем-либо, но и ходить по земле. Он, конечно, знал, что не все так просто, но вдруг озарило его: для нас всех просто жизненно необходимо, чтобы каждый, именно каждый склонялся к этой кормящей всех нас земле и отдавал ей часть своих сил, своего времени, своего пота. Именно не все силы, не все время, иначе опустишься до уровня бригадирши Марины,— а часть. Самое удивительное, Касогин даже рассмеялся, что решение, которого он так мучительно искал, было ему, и не только ему, давным-давно известно: Сергий Радонежский, Лев Толстой, Антон Павлович Чехов, Пришвин, Бернс, Кольцов, Фет, Иван Петрович Павлов, да и наши живые писатели, ученые добрую часть своего золотого времени отдавали и отдают работе на земле.

На мгновение Касогин омрачился, он вспомнил о цепких владельцах дач и участков, среди его знакомых и сослуживцев было немало таких, но, конечно, не их он имел в виду. Теперь он знал, что имел в виду.

* * *

— Что они у вас там, с ума посходили? Каждый день в совхоз! — ворчала Рая, намазывая мужу бутерброды.— На такого рохлю, как ты, все садятся и едут. Отгулы тебе все равно не использовать, только на дороги и на завтраки расход.

Касогин отмалчивался. Не мог же он признаться ей, что в субботу и в воскресенье его никто не посылает, а ездит он в Глушаковский совхоз по собственной воле в свободное время без всяких отгулов. Потому что каждый человек, и он лично, обязан работать на земле своими руками, иначе нельзя.

В совхозе сначала посмеивались между собой, а потом привыкли к чудаку с завода, который несколько раз в неделю своим ходом приезжает в совхоз, делает любую работу в поле и даже домой ничего не увозит.



Антонин Петрович Карасев неспешно возился со стареньким тракторным мотором, с любовью поглядывая на своего внука Антошку, который тоже был занят мужским делом. Антошка сидел в лужице апрельского солнца и заталкивал в карманы пальтеца гайки да болты, разный металл, какой находил вокруг. Так они и работали на пару.

Прервался Карасев только тогда, когда увидел вдалеке унылую, будто сгорбленную фигуру сына. Тот возвращался из конторы — почему-то дальней дорогой, хотя через лесок у залива было короче.

Карасев снял задубевшие от ржавчины и застарелого солидола рукавицы. Руки у него дрожали, словно в них неожиданно завелся и загудел этот мотор, который он пестовал с раннего утра, готовясь к посевной. Сын подошел, и Карасев, скрывая волнение, спросил:

— Ну чо? Отдали трудовую-то? Ага? — Спросил, как выдохнул, с надеждой, что директор совхоза уговорил сына остаться.

Валерка нарочито беспечно вынул из кармана серую книжечку и еще какую-то бумажку, сказал, некрасиво осклабившись:

— Куды денутся! Отдали, как миленькие! Не старые времена, чтобы насильно держать! И тебя не забыли. Вот повестку принес! Читай пока!

— Это что ж за повестка? — удивился Карасев.

— Повестка, чтобы ты свой орден получил,— объяснил Валерка и присвистнул: — Это же надо, как совпало! Тебе за орденом завтра, а мне за новой жизнью!

Антошка невесть от чего заплакал, стал подниматься с земли, но почему-то не смог. Только на корточки встал, будто какая-то сила держала его. Не понимая, почему ноги не слушаются, малыш заревел во всю мочь.

Валерка опередил отца. Ухватив племянника за бока, стал заботливо опорожнять карманы.

— Ну, батя, хоть и с наградой ты, а воспитатель из тебя керзовый! Гляди-ко, сколько всякой дряни насовал! Во — ляльки-игрушки!

Карасев только теперь понял, что внук не мог подняться из-за железок, оттянувших ему карманы.

— Во-во, так бы и ползал всю жизнь возле трактора! — продолжал Валерка, зацепив отца за живое.— И не поднялся бы! Железки — они, брат, гнут! Не дают пбпу поднять!

— Ага! — сказал Карасев.— Тебя железки не гнут? Ты уже поднялся?

— Выходит, что поднялся! — ответил Валерка басисто через Антошкин рев, утишая племянника.

Так забавны они были: серьезный взъерошенный Валерка и плачущий на его руках красногубый малыш, что Карасев не сдержался, улыбнулся. Хотел было сказать: «А тебя-то кто поднял с земли? Поставил на ноги? А теперь вон ты навострился куда подальше. За сестрой Варькой, что умотала в Ленинград. Что там, булки в городском саду на деревьях растут? А не от этой легкой жизни Антошку пришлось забрать в деревню? Ага?»

Но вместо этого Карасев почти заискивающе произнес:

— Может, передумаешь ехать-то? Вон щука пошла! Еще больше, чем в прошлом годе. Я ж тебе и сапоги рыбацкие починил. Думал, ловить будем... Мать бы нам рыбы нажарила... До осени остался бы... Да и куды ехать? Ага...

Валерка поставил успокоившегося племянника на землю, удерживая за ворот, чтобы тот опять не шлепнулся, деловито поправил сбившиеся байковые штанишки, искоса взглянул в окно. Мать, отодвинув занавеску, махала рукой, звала обедать, Мария Андреевна еще не знала, что Валерка решил уехать не откладывая, завтра... Но Карасев заметил, что лицо у нее жалкое, будто она уже простилась с сыном.

— Куды ехать? — переспросил Валерка, как бы размышляя.— А куды все... Вон я шел из конторы не напрямую, а деревнями, дай, думаю, последний раз погляжу на свои родные места... Когда еще увижу... Прошел Пенье, Хомутово, потом Яблонево. Пусто, батя, кругом, собаки и те не брешут. Что же мне, до конца жизни среди пустых деревень ходить да позаброшенную землю пахать вместе с тобой? Так что попрощался я с родными местами... Нечего мне здесь делать... Я еще молодой!

Карасев взглянул на сына. Лицо у Валерки стало злое и некрасивое. Неужто это родная кровь говорит Антонину Петровичу такое? И как язык повернулся!

Валерка ответа не стал ждать, хлопнул дверью. Да и нужны ли ему теперь отцовские увещевания? Будто намыленный готов бежать из отцовского дома.

Карасев привычно постоял на порожке, посмотрел, как отогревается земля и снег садится, усыхает прямо на глазах. Оттаявшие бугры казались черными лупами. И сквозь них кто-то древний и мудрый глядел на Карасева и хотел подсказать слова, каких ему не хватило в споре с сыном... «Во как совпало!» — Карасев вспомнил вдруг о бумажке, которую сунул ему Валерка. В бумажке значилось, что он, Антонин Петрович Карасев, приглашается на торжественное собрание сельских тружеников для вручения ему ордена Трудового Красного Знамени по Указу Президиума Верховного Совета СССР.

Конечно, Карасев знал об Указе. Радио об этом трубило. Директор недели две назад говорил, чтоб готовился ехать в областной центр.

— Видишь, какая поддержка Нечерноземью от государства пошла! — сказал тогда директор Карасеву, который приехал разживиться запчастями.— Мы теперь горы свернем, мост через реку построим, чтобы к нам удобрения и новая техника валом шли...

Но глядел руководитель хозяйства задумчиво, словно никак не мог поверить, что его механизатора так высоко отметили. А мост через реку был, конечно, мечтой... Хорошо бы хоть один раз завезти удобрений вдоволь. Посмотреть, что будет. Да и техника...

Когда Карасев-старший вошел в избу, Валерка с Антошкой уже хлебали щи расписными деревянными ложками. Эти ложки Валерка от нечего делать вырезал сам, когда-то Карасев научил его этому ремеслу. Мария Андреевна вытерла чистым полотенцем и положила на стол самую большую ложку, смастеренную Валеркой для отца. Ели молча. Мать суетливо подвигала к сыну тарелки с розовым салом и крепкими огурцами, будто хотела накормить его на всю неуютную городскую жизнь. Чтобы разрядить обстановку, отец попросил добавки и сказал Валерке:

— Разве ж тебе такие щи в городе нальют? Ага?

Щи были наваристые. Со свежей бараниной, истолченной картошкой, забеленные густой сметаной. Такие щи умели готовить только мать да Варька.

— Похлебаем с Варькиным мужем-лимитчиком тех же щей в городе! — ответил Валерка, косо взглянув на отца.

— Городские-то пожиже будут! — гнул свое Антонин Петрович.

— Придется в карманы налить густых! — пробасил сын.

Где только научился так разговаривать! Но все же Антонин Петрович сказал откровенно-примирительно, переходя на другое:

— Что за алимитщик? Он что ж, алименты плотит?

— Что ты, что ты! — ввязалась в разговор Мария Андреевна.— Это говорят про того, у кого прописка короткая в городе. А Варькин — алименты не плотит, хоть и второй он у нее...

— Короткая прописка — лимит,— объяснил Валерка.— Понял? Варька наша и муж ее — лимитчики. И я тоже стану лимитчиком. Эх ты, батя... Темный ты человек!

Карасев только вздохнул. Навыдумывают в городах разного. И существуют по-выдуманному. И это вместо того, чтобы жить в родных деревнях по-человечески, как отцы и деды. Побросали свои дома, позарились на городские квартиры... Надо же, как все повернулось. Никто и не думал, что такое может случиться. И Карасев, опять вздохнув, погладил Антошку по голове, будто он был последней надеждой в пошатнувшемся мире, где его дочь живет по какой-то короткой прописке, а его сын завтра уходит из родного дома.

Когда поели картошки с мясом, приступили к чаю. Мария Андреевна принесла трехлитровую банку с малиновым вареньем. Варенье горело в стеклянной посуде, источая алый свет прошлогоднего лета, когда и мать, и отец, и Валерка мирно собирали лесную ягоду на первой тамушке[1], за картофельным полем. Варенья наварили прорву. Кому только есть?

— Гляди-тко, что нашла в сундуке, где банки стояли! — сказала мать, положив на стол какую-то тряпочку. Она развернула ее. И блеснул кружочек.— Фронтовая медаль моя. Сбереглась. Так что не один ты награжденный!

— Ишь ты! — удивился Карасев, вглядываясь в знакомый горбоносый профиль, вчеканенный в медаль.— В сундуке, говоришь? Может быть, там и мои завалялись? Ага?

Антошка, обрадовавшись новой игрушке, стиснул розовыми пальчиками медаль. Валерка едва успел прочесть: «За оборону Ленинграда!»

---

[1] Тамушка — от слова «там». Первая тамушка — ближнее место.

— Это мне за звездный налет досталась,— объяснила Мария Андреевна.— Немцы со всех пяти углов самолетами заходили. Звездный налет по-ихнему! Ух страшно! Бомбы вокруг рвутся. А мне бояться нельзя... Я лучше всех помнила таблицы упреждения. На какой высоте летит, надо особое упреждение... Вот мне и дали медаль...

Валерка, углубленный в свои завтрашние планы, брякнул:

— Ну дали, так и оставалась бы в городе. Медаль бы на людях носила. А так хорошо еще, что нашла в сундуке среди банок. Вот мне, к примеру, дали бы сейчас медаль или орден, перед кем тут хвастать?

Улыбка сошла с материнского лица.

— Никто тебе не даст медаль, тем более орден! — сказал, багровея, Карасев и отодвинул стакан.— Сначала мать да отца научись уважать, а потом о наградах мечтай...

Валерка смутился, но остановиться уж не мог:

— Не я завел этот разговор. А раз начали, скажи: за что тебе-то дали? Матери — понятно, там звездный налет. Геройство. Бомбы вокруг рвутся. А тебе за что? У тебя каждый год: «Не прогадал. Что посеял, то и снял!» Курам на смех твои урожаи. Разве на Кубани столько убирают? Там и надо раздавать ордена. А тебя-то за что?

— Правительству виднее! — ответил Карасев твердо.— Вот не дам картошки да зерна разок, все городские поделаетесь деревенскими. И Варька прибежит со своим мужем. И ты вернешься с полпути... Думаешь, ленинградцев только кубанские земли кормят?

— Понятно, что не только,— сказал Валерка, сообразив, что загнул лишнего.

— Благодарствуем и на том,— сказал отец, утихая.— А еще спасибо, что не ты ордена да медали раздаешь... Нам бы с матерью от тебя не дождаться... Ага.

На этот раз выручил Антошка. Он старательно начал засовывать медаль в банку с вареньем. Мать охнула и, не раздумывая, хлестнула внука по ручонке. Шлепок получился звонкий, но не больный. Антошка криво разинул красный ротик, раздумывая, плакать ему или облизывать измазанные вареньем пальцы.

— Еще одному поделом досталось! — сказал батя, вставая из-за стола.

Валерка допивал чай, посматривая на мать так, будто ее рассказ только что дошел до него.

После обеда Карасев продолжал ремонтировать трактор. Выяснилось, что еще дроссельная заслонка барахлит:

Валерка, балбес, ездил на тракторе последний раз. За трудовой книжкой отец не дал ему ехать. А на танцы в прошлую субботу Валерка гонял, как барин. Вот и расстроил дроссель. Не надо было потакать. Потакали ему все. И мать, и отец, и директор. А что вышло?

Карасев видел, как жена, уложив Антошку спать, занялась переборкой картошки. Она числилась бригадиром. Когда в первый раз шефы на подмогу приезжали, она за голову взялась. Как расставить прорву народа, чтобы от них польза была? Пока думала — разбрелись кто куда. А сейчас научилась... Конечно, основная работа ложилась на них — отца, мать, сына. Разве на шефах далеко уедешь? Семейная бригада у них получалась. Так бы до конца жизни и работать. Вот бы и Варьку с ее мужем припрячь к хорошему делу. Да приспичило им в Ленинград... А там таких Варек... Вот Антошка и остался без отца...

«Валерка, Валерка! — думал про себя Антонин Петрович.— Какими наградами оставить тебя дома, чтобы ты жил при отце и матери?.. Какими словами? Эх, сынок...»

— Может, поедешь со мной — свой орден получишь? — Валерка бросил в лодку раздутый рюкзак, собранный матерью. Дно лодки блестело рыбьей чешуей. Вчера Валерка успел пошастать в поливе за щуками.

— Куды ехать? — вздохнул отец, глядя, как разлилась река. Вровень с горизонтом стояла вода. Только напротив чернели ветлы, где-то за ними была дорога на железнодорожную станцию.— Пахать надо. Земля теплеет. Не сегодня завтра сеять, картошку садить...

— А как же орден?

— А что орден? Пришлют с оказней. Мать в сундук положит... Ага.

— Ты, батя, не обижайся насчет вчерашнего...— сказал Валерка, вычерпывая воду из лодки смятой жестянкой.— Знаешь, обидно показалось. Директор мне трудовую отдал и сам твоим орденом стал корить. Мол, батя у тебя такой. А ты уже сякой. Вот я и обозлился!

— Сапоги не домыл! — сказал Карасев. Верхи Валеркиных сапог были извазганы в глине. — Сядешь, пальто замараешь. А кто тебе новое пальто сразу купит? Ага.

— И то! — спохватился Валерка и переступил борт. На мелководье стал отмывать задники.

— Родна земля не сразу отмывается! — пошутил батя, глядя, как сын сердито отскабливает въедливую глину.

— От нее не отмоешься, как ни скребись! — ответил ему в тон Валерка.

— Лодку под углом правь! К деревне и вынесет! Весенняя вода — полоумная!

— Знаю, батя! — сказал Валерка, оценивающе посмотрев на водное расстояние, которое ему нужно преодолеть. Над головой просвистела стая чернети. Валерка, побледнев, резко повернул голову, будто плетью обожгли его.

«Вернется...— подумал Карасев, заметив это.— Затоскует по охоте, рыбалке, по привычной работе... Вернется. Не смыть ему эту землю. И Варьке не отскрестись. Поэтому и мучается там, в городе. И оба будут мучаться, пока не вернутся».

— Моторку у Егора оставь. Да подальше от воды... Чтобы не смыло... Вода спадет, я сам съезжу. И напиши, как приедешь. Не бери с Варьки моду. Она пишет раз в год — к морковкиному заговенью. Хотя бы с наградой поздравила. Небось, газеты читает!

— Поздравит еще! — невесть чему улыбнулся Валерка и дернул заводной шнур.

Карасев махнул рукой и, отметив, что лодка поплыла в правильном направлении, пошел не оглядываясь. Он шел сначала через Пенье, потом Хомутово, затем Яблонево. И ему казалось, что в Пенье поют голосисто и светло. В Хомутове скрипят новые хомуты, сделанные на продажу. А в Яблоневе пронзительно и сладко пахнет яблоками, как это было давно, в годы молодости Карасева. И еще раньше. Сколько жил его род на этой земле.

УРОКИ ЖИЗНИ — УРОКИ МАСТЕРСТВА

Итак, перед нами очередной, ставший традиционным, сборник молодых ленинградских прозаиков. Среди авторов этого сборника есть уже знакомые читателям имена — Дина Макарова, Анатолий Степанов, Евгений Туинов, Захар Оскотский, Александр Скоков, а есть и те, кто впервые публикуется в «Точке опоры» — Владимир Рекшан, Анатолий Стерликов, Олег Носов, Акмурат Широв... Это люди самых разных профессий, разного жизненного опыта, однако всех авторов, невзирая на их профессиональную подготовку, на их литературные пристрастия и приверженность к той или иной литературной «школе», объединяет общее стремление рассказать о нашем современнике, созидателе новой жизни, стремление разобраться в сложнейших взаимоотношениях людей, в проблемах, которые решают реальные прототипы героев повестей и рассказов.

Иначе говоря, произведения молодых прозаиков, представленные в сборнике, суть живая действительность, запечатленная в слове и художественном образе, суть сама жизнь со всеми ее взлетами и падениями, жизнь, которая всегда была и остается не только материалом для писателя, художника, но и единственным источником вдохновения. Наше время — богатейший источник, надо лишь уметь видеть и слышать, уметь соотнести настоящее с прошлым и будущим, правильно понять и оценить глобальные процессы, происходящие в жизни, те социальные сдвиги, которые определяют развитие общества в целом и бытие каждого человека в отдельности.

* * *

Не все равноценно в этом сборнике. Не все одинаково глубоко, интересно написано. Кому-то из авторов пока еще недостает профессионального опыта, умения реализовать замысел в художественно полноценный образ. Кто-то, боясь опоздать на «литературный поезд», слишком поспешает высказать «вслух» то, что требует от литератора долгих, порой нелегких раздумий наедине с собой. Кто-то, быть может, «открывает» давно открытое другими, не замечая, что это уже не учеба

у мастеров, но повторение пройденного. Ну что ж, подобные издержки неизбежны в период ученичества, они, точно скрытые рябью рифы, поджидают всякого, ступившего на литературную стезю, и с этим обстоятельством нельзя не считаться. Однако это вовсе не означает, что для начинающего автора существуют некие особые, льготные критерии. Нет. Критерий в литературе есть один для всех — правда жизни. Иное дело, что не каждому дано достигнуть идеала, вершины: кто-то покорит ее, кто-то едва дотянет до середины, а кто-то и вовсе будет топтаться у подножия. Талант, как известно, не вычислишь загодя ни на какой ЭВМ, не взвесишь ни на каких весах. Только Время расставит всех по своим местам, кого-то обвенчав со славой, а кого-то, увы, оставив в безвестности.

К счастью, не с надеждами на выгодный брак со славой, не с мыслями о популярности вступают в литературу авторы сборника. Не тщеславие движет ими, но истинная, бескорыстная любовь к литературе, желание рассказать о своем современнике, о своем времени, и рассказать от имени своего поколения.

Неодолимо стремление человека познать окружающий его мир («прекрасный и яростный мир», как сказал Андрей Платонов), познать себя и определиться в этом мире. Литература наряду с другими видами искусства, наряду с наукой — дитя этого жадного познания, этого любопытства, она способна ответить на многие вопросы, волнующие людей, способна открывать прекрасное, незаурядное в будничном, незаметном, способна воспитывать, формировать личность, сопереживать и сострадать. А без этого она мертва, безжизненна, сколь бы изящной ни была. Так же мертва, как дистиллированная вода.

Спору нет, некоторым авторам сборника не хватает как раз изящества, стилистической отточенности, гармонического соотношения формы и содержания, а порой и умения выстроить четкий сюжет повествования. Все это так, и в этом смысле сборник может представить удобную — именно удобную, не более того,— мишень для скептически настроенного читателя. Однако все это наживное, приходящее вместе с опытом — осмеливаюсь утверждать, рискуя навлечь на себя гнев ревнителей стерильной литературы,— зато искренность, способность к состраданию, способность любить и ненавидеть вместе со своими героями и откликаться на всякую несправедливость не приобретешь, не выпестуешь. Эта способность или есть, или ее нет. Она основа таланта, его питательная среда.

И тут дóлжно сказать, что проза молодых именно совестлива, она обращена не только к разуму и сознанию читателей, но и к их душам и сердцам. Она в высшей степени духовна, нравственна и осуждает порок либо благословляет добродетель с позиций нашей морали, нашего мировоззрения.

Вообще говоря, традиция эта давняя в русской литературе, но в молодой прозе еще совсем недавно была во многом утрачена, предана

забвению. Тем приятнее сознавать, что ныне она возрождается на новом витке литературного процесса. Героем молодой прозы, как и прежде, остается человек-труженик, человек-созидатель, но все же это и качественно новый герой. В самом деле, еще совсем недавно за пределами повестей и рассказов начинающих авторов (за редким исключением) оставался скромный, честный труженик, изо дня в день, из года в год — всю свою жизнь — делающий полезное, необходимое дело. Герой, не «мчащийся за запахом тайги» и прочими атрибутами не всегда правильно понимаемой романтики, если и оказывался в поле зрения молодой прозы, то едва ли не априорно объявлялся обывателем, мещанином. Как будто само по себе стремление куда-то ехать, куда-то мчаться есть добродетель, а нелюбовь к перемене мест — порок. Вероятно, этот литературный феномен отвечал в какой-то мере запросам читателей, отвечал правде жизни, хотя, несомненно, здесь сказался односторонний, поверхностный взгляд на действительность, ложный посыл в ее отображении, ибо схема остается схемой, сколь бы она ни была прикрашена занимательным сюжетом. Героям тех повестей и рассказов недоставало духовной, нравственной основы, чуткости, внимания (впрочем, эти герои были чуткими и повышенно внимательными к себе), умения, а зачастую и желания соотнести личное с общественным, часть с целым. Рефлектирующий молодой человек, склонный к демагогии, отрицающий свою связь с прошлым, не признающий ни авторитетов, ни традиций, ни опыта предшествующих поколений, бодро шагал по страницам книг в поисках некоей абстрактной, лишенной жизненного фундамента истины. Несколько затянулись эти поиски... А все-таки и этот молодой герой должен был рано или поздно куда-то прийти-приехать, должен был повзрослеть и помудреть — такова диалектика бытия, а повзрослевши, оглянуться окрест и — заодно — пристально приглядеться к себе.

И он огляделся, молодой «ниспровергатель» опыта отцов, и неожиданно увидел огромный мир, населенный людьми, мир, в котором всем и всему хватает места. И понял, что мир этот все еще не вполне благоустроен, хотя нашему герою и казалось, что уж он-то быстренько, не в пример «дремучим предкам», его переоборудует. Увы, увы, строить-то оказалось потруднее, чем ниспровергать.

Вот герой рассказа А. Скокова «Всем памятники» тоже из породы бывших ниспровергателей, он тоже некогда, одержимый жаждой романтики и небрежением к «скучной жизни предков», покинул родные места. Теперь в блеске будто бы достигнутого им успеха (именно будто бы, потому что и летная форма надета на нем не по праву) он возвращается в родные места. Он одержим нынче совсем иной идеей — поставить памятники всем близким, которых давно нет в живых, и тем как бы искупить свою вину перед ними, очиститься, успокоить пробудившуюся совесть, перешагнуть тот невидимый, но реально существующий порог, который разделяет нравственность с безнравственностью. Пожалуй, он еще не вполне осознал это, однако уже близок к осо-

знанию. Он не сомневается, что идея его благородна, возвышенна и прекрасна, а если он вдруг еще решит и навсегда остаться там, на родной земле, которую из поколения в поколение пахали и лелеяли его предки и в которой нашли свой последний приют, если... Он вдохновенно повествует об этом Василисе Корнеевне, уборщице аэропортовского буфета, давшей ему ночлег в бедном своем, неустроенном доме, повествует так, словно ожидает, что памятник за его щедрость поставят именно ему, и вдруг:

«— Пустая твоя затея, лучше бы и не летал... Поставишь сейчас памятники и не вспомнишь никогда... А так нет-нет да кольнет сердце, нехороший, мол, я человек...»

Суровые, жестокие слова, прозвучавшие как приговор. Но приговор-то справедлив, ибо произнесен с позиций высокой нравственности, ибо в нем — горечь и мудрость человеческого сердца. И хотя памятник и память имеют общий корень, но память, в отличие от памятника, не купишь за деньги, не закажешь ни в какой конторе. Она — единственный мостик, соединяющий нас с прошлым, и, разрушив его, человек обрекает себя на одиночество и, может быть, на собственное забвение в памяти потомков своих...

Конечно же, в литературе, как и в жизни, не все так просто и очевидно, а перемещающийся во времени и пространстве герой, в особенности молодой герой, и сегодня отнюдь не лишен естественной тяги к романтике. Но оказывается, совсем даже не обязательно забираться на край света, чтобы найти свое подлинное призвание, свое место в жизни, чтобы утвердить себя как личность, как гражданина.

Герой рассказа А. Новикова «Инженер Касогин» до поры до времени ведет довольно скучный, однообразный образ жизни. Он эрудит и умница, этот тихий и, быть может, излишне скромный инженер Касогин, безотказен (чем, кстати, беззастенчиво пользуются его коллеги), непривередлив и начисто лишен всякого тщеславия. Создается даже впечатление какой-то безысходности, оскудения личности. Ни дать ни взять этакий знакомый русской литературе «маленький» человек, который по причине своей слабости не смеет и помышлять о служебной карьере, хотя — заметим — все предпосылки в общем-то у него для этого есть. Но все это на поверхности, в открытом слое его характера, именно «до поры до времени», покуда жизнь не предъявляет ему тех требований, в которых может проявиться подлинная сущность героя. Но вот обстоятельства складываются таким образом, что Касогин должен сделать выбор между действием и бездействием, и он как бы очнулся, пробудился — или пробудилась его гражданская совесть — и выбрал действие, показав себя борцом за справедливость, за правду. И борцом не на словах, а на деле. Он осознал себя ответственным за все, что происходит вокруг. И мы безусловно верим, что поездки Касогина в совхоз по субботам и воскресеньям не поза, не стремление выделиться, отличиться, за что, быть может, он получит благодарность либо его повысят наконец по службе, вовсе нет: он ездит, будучи

убежден, что так надо, что это его святой долг. И, обманывая жену, говоря ей, что *всех* посылают в совхоз по выходным, Касогин отнюдь не боится конфликта в семье — *уже* не боится,— просто он остался тем же скромным инженером, однако скромность его приобрела качественно иной оттенок, ибо он уверен, что выполняет свой гражданский долг.

В отличие от Касогина герои рассказов Анатолия Степанова «Мой завхоз, или Щит из ничего» и Захара Оскотского «Взрыв» ничего такого реального, конкретного еще не сделали, они на пути к *поступку*, к самоутверждению, но на пути верном, который несомненно приведет их в ряды борцов. При всем том герои этих рассказов очень разные. У Степанова — молодой рабочий, столяр, которому попросту надоело бездельничать на работе, надоело получать зарплату «просто так, за красивые глаза», надоел и его непосредственный начальник — завхоз, человек в общем-то неплохой, но для которого превыше всего на свете — чистота и порядок, причем порядок завхоз понимает весьма своеобразно: лишь бы в мастерской не было мусора, стружки. (Тут уместно заметить, что образ завхоза — несомненная удача автора.) Степанов ироничен, наблюдателен, проза его динамична, герои и ситуации легко узнаваемы. Это не случайно: он сам рабочий и хорошо знает материал.

Инженер Шавров из рассказа З. Оскотского — человек иного плана, иных жизненных позиций. Он гораздо ближе по характеру своему «коллеге» Касогину. Он перестал замечать, что его затянула рутина, смирился с нею и со своим более чем скромным положением. К тому же и работает-то в общем не по специальности. Строго говоря, он даже и не работает, а именно *служит*, всего лишь выполняет какие-то немудрящие обязанности. Но если Касогину, чтобы очнуться, хватило в общем-то обычной житейской ситуации, если герою Степанова просто опостылело ничегонеделание, поскольку трудолюбие, уважение к полезному труду в нем было всегда, то Шаврову, чтобы пробудилась его совесть, его человеческое достоинство, нужен был... взрыв. И вовсе не в переносном, метафорическом смысле, а в прямом: он откомандирован, как бывший сапер-взрывник, в комиссию, которой предстоит установить причину взрыва, случившегося на химкомбинате, в результате которого погибли две женщины-работницы. И Шавров находит эту причину. То есть он убежден, что находит. Однако доказать свою правоту не может, не умеет. И потому, что его позиция, его «особое мнение» не устраивает других членов комиссии (по разным причинам) — ведь все *уже* решено, всем все *ясно*, выполняются лишь досадные, обременительные формальности,— но главным-то образом потому, что не привык отстаивать собственную точку зрения, не привык бороться за справедливость (точнее сказать, отвык, погрузившись как-то незаметно в рутинное бытие), забыл, что существует такое понятие, как принципиальность. Он и вообще-то промолчал бы, сделал бы вид, что ничего не увидел, когда бы ему позволила совесть. А совесть не позво-

ляет, она требует действия, поступка, и эта боль инженера Шаврова вселяет надежду, что он станет самим собой, даже если для этого придется все начинать сызнова...

Итак, человек обретает уверенность в себе, осознает себя собственно Человеком, гражданином не только в ситуациях крайних, экстремальных?.. Тут все зависит от душевных, нравственных качеств, от совестливости и, если хотите, интеллигентности, которая не выдается вместе с дипломом о высшем образовании в качестве непременного приложения.

Герои А. Новикова и А. Степанова, к примеру, пришли к этому и без столкновения с человеческой трагедией. А вот главный инженер химкомбината и он же председатель комиссии Смирновский так же, как и Булавин, и Литвинов, ничего не поняли или не захотели понять, ничего не осознали. Они остались равнодушными даже перед лицом трагедии, и равнодушие их есть не что иное, как воинствующая безнравственность. Да ведь и взрыв-то понадобился Оскотскому не столько для того, чтобы п р о я в и т ь Шаврова, вывести его из состояния некоего анабиоза — рано или поздно он проявился бы и без этого,— сколько для того, чтобы сорвать маски и показать подлинные лица смирновских. Ведь безнравственность, аморальность не просто пороки отдельной личности, но огромное зло, огромное и страшное тем более, что, в отличие от добродетели, оно никогда не бывает пассивным, беззащитным. Зло умеет постоять за себя, и это начинает понимать инженер Шавров.

Об этом размышляет и герой повести Евгения Туинова «Прикосновение» Колмаков, и другие герои — члены съемочной группы, приехавшей в Среднюю Азию снимать документальный фильм о нефтяниках. Понимание приходит к ним отнюдь не безболезненно, но в столкновении с делягой и приспособленцем ассистентом режиссера Задолжанским. (Опять сделаю оговорку: автор до недавнего времени работал кинооператором и знает материал буквально «из первых рук».)

И тут мы вправе говорить уже о тенденциях становления молодой прозы вообще и о прозе, представленной в этом сборнике, в частности.

Кто же он, автор, наш современник, какие принципы исповедует, за что борется, во имя чего страдает, болеет и радуется вместе со своими героями? Ведь именно через призму его мировоззрения, его восприятия происходит преломление реальной действительности, окружающих нас жизненных проблем. И читателю небезразлична его жизненная позиция, небезразличен его личный опыт.

Читатель хочет иметь собеседника активного, принципиального, умного, сознающего свою ответственность за все происходящее, собеседника, с которым мог бы и поспорить, если взгляды на какие-то вещи и явления окажутся различными. Ведь совсем не случайно и не только любопытства ради интерес читающей публики к личности писателя всегда был велик.

Безусловно, читатель может соглашаться или не соглашаться с позицией автора, с его интерпретацией событий, описываемых в конкретном рассказе, повести, романе, и поступков героев, но само по себе право иметь определенную позицию и отстаивать ее доступными автору средствами (не выходящими, разумеется, за границы собственно литературы) — неоспоримое право писателя. Более того, писателем «без позиции» стать вообще невозможно, невозможно в принципе, ибо литература, как и всякий иной род искусства,— составная часть идеологии, что бы там ни говорили поборники «чистого искусства». Литература не бывает внесоциальной, аполитичной.

Никто не станет требовать от писателя прямолинейного, однозначного ответа на вопросы, которые задает жизнь, либо комментария «по поводу», читателю отнюдь не нужно, чтобы автор, хотя бы в сносках, выставлял своим героям оценки по пятибалльной системе, однако акценты должны быть расставлены, авторская позиция должна быть четкой и недвусмысленной.

Все это настолько очевидно, что можно было бы и не повторяться, если бы нет-нет и не высказывалась противоположная точка зрения. В том числе — и даже как правило — молодыми, начинающими писателями. К счастью, литературный процесс последнего времени опровергает опасения, что нашей литературе грозит безыдейность, внесоциальность конфликтов, некий отстраненный взгляд на действительность. Тому подтверждение и настоящий сборник. Уж в чем, в чем, а в безыдейности, в отсутствии гражданской позиции, в равнодушии или в стилистических изысках ради самих изысков авторов «Точки опоры» никак упрекнуть нельзя. И это в полной мере относится и к произведениям, упомянутым выше, и к повестям и рассказам В. Харченко, Н. Шумакова, О. Носова, А. Плахова, А. Стерликова да и всех остальных.

Взять хотя бы маленький рассказ Виктора Харченко «Родная земля».

Сюжет вроде бы ставший традиционным, апробированным: уходит из деревни в город сын крестьянина старика Карасева. Еще раньше ушла на поиски «интересной» жизни дочь Варька. Карасев, человек мудрый, проживший долгую и трудную жизнь, в общем-то понимает, что дети покидают отчий дом не потому, что они лодыри и ищут легкой, беззаботной жизни, вовсе нет. Но отчего же, отчего так болезненно, так остро переживает старик Карасев?..

Да оттого, что, как бы ни был прекрасен и огромен этот мир, все-таки у каждого человека на этой о б щ е й для всех людей Земле есть место, которое зовется родиной. Для кого-то это всего лишь точка на крупномасштабной карте, то есть понятие сугубо географическое, для Карасева — земля отцов и дедов, источник радости и печали, живая память о прошлом, нерасторжимая связь с ним. Как можно, думает старик Карасев, бросить р о д н у ю землю, как можно жить «по лимиту», когда именно здесь, на этом куске земли, испокон веку жил и трудился весь их род... Он остается все-таки с надеждой, что дети его,

и Варька и Валерка, вернутся в свой дом и не оборвется навсегда род Карасевых, пахарей, хлеборобов.

Это главное — чтоб не обрывалась «связь времен»...

Так или иначе, тема любви к родной земле, уважительного, бережного отношения к опыту и традициям старших поколений, к памяти отцов звучит в произведениях русского Анатолия Стерликова, родившегося и выросшего в Казахстане, и туркмена Акмурата Широва. Обе эти вещи во многом автобиографичны, в чем-то и схожи — что обусловлено материалом: и Стерликов, и Широв пишут о детстве,— но очень различны по исполнению, по своей стилистике. Применительно к произведениям этих авторов можно и нужно говорить еще и об интернациональной теме, о проверенной самой жизнью, испытанной временем дружбе народов нашей страны.

Вчитайтесь в лирическое повествование Анатолия Стерликова, и вы почувствуете, как ему дорогá казахская земля, как ему близки и дóроги сами казахи, их традиции, обычаи. Детство его совпало с войной, и разве не казахи помогли ему и его сверстникам пережить это тяжкое, голодное время, и не просто пережить, но, пожалуй, и выжить. Стерликов и сегодня не порывает связей с Казахстаном, много и глубоко пишет о его народе и земле. Проза его по-настоящему публицистична, и это придает произведениям своеобразный колорит, а подчас и значимость документа, она современна. Впрочем, здесь нужно сделать оговорку: именно о современности, даже обращаясь памятью к своему детству или отрочеству, пишут все без исключения авторы сборника, и это несомненно показатель их гражданской, социальной активности, их неравнодушия к тем проблемам и свершениям, которыми живет наша страна.

А. Широв в повести «Горсть бабушкиных дней» тоже обращается к теме малой родины, к теме детства. А. Широв — туркмен, и проза его впитала в себя лучшие традиции восточной культуры, ее «экзотический» колорит, ее иносказательность, сугубо восточную орнаментальность, философичность. Но вместе с тем проза Акмурата Широва не чужда и традициям русской литературы (кстати, он пишет на русском языке). Это слияние, взаимообогащение двух очень разных традиций делает произведения А. Широва особенно привлекательными, нередко неожиданными, одновременно графически строгими и живописными, в высшей степени интернациональными.

Не могу не сказать хотя бы несколько слов о повести Олега Носова «Ах, Титов, Титов...». Это очень теплое, трогательное, психологически тонкое и точное повествование о старой ленинградской учительнице. Кажется, все знала о своих учениках Варвара Алексеевна, «Пчелка», как нежно зовут ее близкие. А учеников у нее было несколько поколений. И все же это были именно ее ученики, в смысле учащиеся школы, не более того. Однако это обстоятельство никогда не смущало Варвару Алексеевну (или она не задумывалась об этом?..), как теперь не смущает и ее дочь, тоже учительницу. Варвару Алексеевну по-на-

стоящему не волновали взаимоотношения с ребятами — они же дети! — и потому она, замкнутая в своем устоявшемся мирке, как-то не заметила, что жизнь вокруг изменилась, изменились и дети, и их требования к ней, Варваре Алексеевне, и теперь она выглядит наивной, пожалуй, даже смешной в глазах тех, кого учит... Это неожиданное открытие ошеломляет старую учительницу, заставляет о многом задуматься, многое переосмыслить, переоценить, она понимает, что, значит, что-то было не так, что-то было упущено, то есть оборвалась та самая «связь времен», без которой теряется смысл жизни, оборвалась живая нить, связывающая ее с ребятами, и Варвара Алексеевна принимает решение выйти на пенсию. Ибо все, что она знала и что умела, уже отдано...

Конечно, повесть О. Носова не только об этом. Она и о любви, и о равной ответственности человека и перед прошлым, и перед будущим, это, если хотите, повесть-назидание, повесть-урок, и в этом смысле форма ее — свободная композиция, внутренний монолог — предельно точно соответствует содержанию. Это повесть еще и о Ленинграде. И если бы даже не было обозначено «место действия», мы все равно не обманулись бы на этот счет.

Очень «ленинградскую» прозу пишет и Владимир Рекшан, один из самых молодых авторов сборника. Его повесть «Пока не выпал снег» — о молодежи, о поисках призвания и места в жизни (вот, можно ведь и не «засылать» своих героев на край света за смыслом жизни!), о чистой, светлой любви... Однако в число главных действующих лиц повести я бы включил город, Ленинград.

Всего два примера:

«На Невском сумерки. А сумерки на Невском — это желтый, голубой, шумный гвинейский полдень во время пламенного праздника...»

«По улочкам носился ветер — мимо роскошных ансамблей города, обгоняя желтоглазые троллейбусы. Он тащил по небу бледные облака, которые обволакивали предновогоднюю игрушку луны и звезды...»

Наверное, автор злоупотребляет «красивостями», более опытный писатель обошелся бы и без «гвинейского пламенного праздника», и без «игрушки луны», но те, кто прочел повесть В. Рекшана, несомненно согласятся, что в ней присутствует именно ленинградский колорит. Городской пейзаж у Рекшана — это не акварель, не масло, это — графика, которая наиболее точно и емко отражает суть Ленинграда, его характер, его торжественную, немножко надменную, классическую строгость...

* * *

Зададимся вопросом: что нового на «литературном горизонте», с чем сегодняшние начинающие писатели идут к читателям?..

Новое есть. Заметно возросла гражданская, общественная активность и авторов, и их героев. Прозу молодых, на мой взгляд, отлича-

ет широта воззрений, глубина мысли. Не внешние приметы (которые также налицо) в конечном счете определяют эпоху, а человек, созидатель, труженик, с его нравственно-социальными проблемами, с его оптимизмом, с его тревогой за день завтрашний. Человек, который приходит в этот мир не разрушать, а строить.

Русская и советская литература всегда отличалась гражданственностью, не чуралась она и открытой публицистичности, проблемности, оставаясь глубоко человечной, доброй. Она оптимистична, жизнеутверждающа по своей сути, ибо напрасно было бы ожидать доброго урожая, если брошено в землю гнилое зерно.

Молодые прозаики Ленинграда, представленные в этом сборнике, продолжают эти замечательные традиции. И это вселяет уверенность, что будущее ленинградской прозы в целом в хороших, надежных руках.

Евгений **КУТУЗОВ**

СОДЕРЖАНИЕ

Составитель
Евгений Васильевич Кутузов

«ТОЧКА ОПОРЫ»

Повести и рассказы

Заведующий редакцией Н. П. Утехин. Редактор С. В. Молева. Художник В. И. Коломейцев. Художественный редактор А. К. Тимошевский. Технический редактор С. Б. Матвеева. Корректор И. В. Левтонова

ИБ № 2172

Сдано в набор 09.04.82. Подписано к печати 11.11.82. М-17722. Формат 84×108[1]/32. Бумага тип. № 2. Гарн. литерат. Печать высокая. Усл. печ. л. 18,48. Усл. кр.-отт. 19,06. Уч.-изд. л. 20,88. Тираж 15 000 экз. Заказ № 512. Цена 1 р. 40 к.

Ордена Трудового Красного Знамени Лениздат, 191023, Ленинград, Фонтанка, 59.
Ордена Трудового Красного Знамени типография им. Володарского Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57